Библиотека Всемирной Литературы

Александр Твардовский

Василий Теркин
Стихотворения. Поэмы

Annotation

«Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого слова!» – писал И. А. Бунин о поэме «Василий Теркин» Александра Твардовского – выдающегося русского поэта с драматической судьбой. Поэма «Василий Теркин» стала одной из вершин творчества поэта, в которой во всей полноте ожила народная душа. В книгу также включены поэмы «Страна Муравия» («высокую культуру стиха» уже в этой поэме отмечали Б. Пастернак и Н. Асеев), «Дом у дороги», «За далью – даль», «Теркин на том свете», «По праву памяти» (опубликована только в 1987-м), в которой описана трагическая судьба отца Твардовского – раскулаченного и сосланного крестьянина-кузнеца; пейзажная лирика, военные стихотворения и стихотворения последних лет, рассказы и очерки.

-
- Александр Твардовский
- Строка Твардовского
- Стихотворения
- Родная картина
- Яблоки
- Снег стает, отойдет земля
- Разлив Днепра
- Лес осенью
- Рожь отволновалась
- Усадьба
- Тревожно-грустное ржанье коня
- Утро
- Смоленщина
- Ледоход
- Шумит, пробираясь кустами
- Столбы, селенья, перекрестки
- Дождь надвигается внезапный
- Не стареет твоя красота
- Дорога
- Перед дождем
- Ивушка
- Сельское утро
- Звезды, звезды, как мне быть
- Друзьям
- Рожь, рожь… Дорога полевая
- Братья
- Песня
- Как Данила помирал
- Матери
- Не дым домашний над поселком
- Ноябрь
- Две строчки

- Я убит подо Ржевом
- В тот день, когда окончилась война
- О прописке
- Перед дорогой
- Мне памятно, как умирал мой дед
- Ни ночи нету мне, ни дня
- Снега потемнеют синие
- Час рассветный подъема
- Не много надобно труда
- Вся суть в одном-единственном завете
- Космонавту
- Все сроки кратки в этом мире
- А ты самих послушай хлеборобов
- Памяти матери
- Береза
- Такою отмечен я долей бедовой
- Я сам дознаюсь, доищусь
- На дне моей жизни
- Допустим, ты свое уже оттопал
- Время, скорое на расправу
- К обидам горьким собственной персоны
- В случае главной утопии
- Всему свой ряд, и лад, и срок
- Нет ничего, что раз и навсегда
- Что нужно, чтобы жить с умом?
- Ты дура, смерть: грозишься людям
- О сущем
- Поэмы
- Страна Муравия
-
-
- Василий Теркин Книга про бойца
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Дом у дороги Лирическая хроника
-
- За далью – даль

- Теркин на том свете
- По праву памяти
- Рассказы, очерки
- Автобиография
- О Родине большой и малой
- Из книги «Родина и чужбина»
- Послевоенные рассказы и очерки

Librs.net

Благодарим Вас за использование нашей библиотеки Librs.net.

Александр Твардовский
Василий Теркин. Стихотворения. Поэмы

Строка Твардовского

Последнее воспоминание о нем: сидит, страшно исхудавший, возле большого дачного окна…

Незадолго до этого, в феврале 1970 года, многолетнее грубое давление всевозможных «руководящих инстанций» – ЦК КПСС, Главлита (а попросту сказать – цензуры), секретариата Союза писателей – вынудило Александра Твардовского покинуть журнал «Новый мир», главным редактором которого он был больше десяти лет и который за это время приобрел огромную популярность в нашей стране и даже за ее пределами.

В прошлом веке, испытав потерю такого же своего любимого детища – журнала «Отечественные записки», закрытого правительством, Салтыков-Щедрин горестно писал, что отныне «лишился употребления языка». Но то, что для великого сатирика было метафорой, гиперболой, для Твардовского стало реальностью. Лишившись журнала, не сумев опубликовать свою последнюю поэму «По праву памяти», он смертельно заболел и почти потерял речь.

Его окружали родные, навещали друзья, и все же на долгие часы он оставался наедине со смотрящей в окно поздней осенью, безлистыми деревьями, пожухлой травой, покуда в стекло не застучались, не заскреблись первые метели. (И не звучали ли в памяти последней декабрьской ночью строки из трагической главы «Василия Теркина»: «Смерть склонилась к изголовью: – Ну, солдат, пойдем со мной»?)

Вся жизнь, наверное, проходила в те дни перед глазами Твардовского, и он мог сказать о себе словами своего любимого героя:

Я загнул такого крюку,
Я прошел такую даль,
И видал такую муку,
И такую знал печаль…
«Василий Теркин»

…Ах, каким простым все казалось подростку, росшему на Смоленщине, как он напишет позже: «в захолустье, потрясенном всемирным чудом новых дней». Немало обязанный отцу, сельскому кузнецу, первыми задатками любви к книге, к чтению, он, став комсомольцем, теперь судил об «отсталых» взглядах Трифона Гордеевича со всей страстью и категоричностью юности.

Среди стихов «поэта-селькора», как именовали своего юного сотрудника смоленские газеты, были и такие, как «Отцу-богатею», а в одной из его первых поэм «отрицательным» персонажем был… кузнец Гордеич!

Много лет пройдет, прежде чем отцовская судьба предстанет перед Твардовским во всей сложности. Долгие годы он вынашивал замысел романа об отце, который, к сожалению, так и не удалось осуществить. Он и название придумал – «Пан». Так прозвали Трифона Гордеевича земляки за то, что тот всячески, весьма наивно и недальновидно подчеркивал свою особость, независимость, отличный от обычного деревенского склад жизни.

Но уже в поэме «За далью – даль» будут запечатлены и реальная картина «скудного выручкою» трудового дня мифического «богатея», и беглые портреты его бедных «клиентов». А в очерке «Заметки с Ангары», рассказывая о повстречавшемся выходце со Смоленщины, Твардовский писал, что, глядя на него, «невольно вспомнил затылок покойного отца, такой знакомый до последней морщинки и черточки…». При всем лаконизме этого упоминания за ним ощутимо сильное душевное движение, всколыхнувшаяся память о человеке, с которым в

юности шла такая непримиримая война.

На первых жизненных верстах отцовский образ сделался воплощением того обихода и уклада, от которых начинающий поэт стремился оттолкнуться, как отталкиваются от берега, отправляясь в плавание. Этот конфликт завершился уходом юноши из дома и началом самостоятельного существования как газетчика и литератора.

Готовы были мы к походу.
Что проще может быть:
Не лгать,
Не трусить,
Верным быть народу,
Любить родную землю-мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду,
А если —
То и жизнь отдать.

Так вспоминал Твардовский в своей последней поэме давнее умонастроение – свое и друзей-ровесников. И, умудренный всем пережитым, прибавлял:

Что проще!
В целости оставим
Таким завет начальных дней.
Лишь от себя теперь добавим:
Что проще – да.
Но что сложней?

«Сложность» дала себя знать немедля. В пору начавшейся коллективизации в числе миллионов других несправедливо пострадала и «панская» семья, высланная на Север. Почти тридцать лет спустя, в 1957 году, набрасывая план пьесы о раскулачивании, Твардовский припомнил слова, сказанные ему в ту давнюю пору секретарем Смоленского обкома партии: «Бывают такие времена, когда нужно выбирать между папой-мамой и революцией». В тех же набросках запечатлена и дилемма, вставшая перед «младшим братом», в котором угадывается сам автор: «Он должен порвать с семьей, отказаться от нее, проклясть ее – тогда, может быть, он еще останется «на этом берегу», а нет – хочешь не хочешь – будешь «врагом», кулаком, которому никогда и ничем не отмолить себе прощенья у советской власти».

Происшедшее оставило в душе поэта тяжелейшую, незаживающую рану и в то же время положило начало долгому, мучительному, противоречивому отрезвлению от прежних наивных иллюзий. И уже совсем по-иному вспоминалась жизнь на отцовском хуторе в стихотворении «Братья», завершавшемся пронзительными строками:

Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?..

Заметно отличалась по тону от тогдашней литературы с ее упрощенным и приукрашенным изображением коллективизации и поэма Твардовского «Страна Муравия». В описании скитаний Никиты Моргунка, который «бросил… семью и дом», не желая вступать в колхоз (как поступил

и отец поэта), в его тревожных раздумьях и многочисленных дорожных встречах слышны явственные отголоски трагических событий тех лет. Выразительна, например, услышанная Моргунком сказка про деда и бабу, которые «жили век в своей избе», покуда «небывало высокая» вешняя вода не «подняла… избушку» и, «как кораблик, понесла» совсем на новое место: «Тут и стой». Сам автор впоследствии ценил драматизм этой поэмы, достигавший особой силы в черновых вариантах:

Дома гниют, дворы гниют,
По трубам галки гнезда вьют,
Зарос хозяйский след.
Кто сам сбежал, кого свезли,
Как говорят, на край земли,
Где и земли-то нет.

Тем не менее герой поэмы в конце концов отказывался от поисков легендарной страны «единоличного» крестьянского счастья, где «никакой, ни боже мой, – коммунии, колхозии», и смирялся с необходимостью вступить в артель. Многие стихотворения, вошедшие в сборники «Дорога», «Сельская хроника» и «Загорье», красноречиво свидетельствуют о том, как старательно искал Твардовский светлые стороны тогдашней деревенской жизни, исходя из сознания, что так нужно. Нужно «иметь мужество видеть положительное», – с горечью напишет он впоследствии.

По дороге, зеркально блестящей,
Мимо отчего еду крыльца…

Эти строки, задуманные как одическое восславление новой жизни, обернулись, однако, едкой и горькой оценкой происходившего тогда с самим поэтом. Еще недавно объявлявшийся в смоленской печати «кулацким подголоском» и даже «классовым врагом», он после «Страны Муравии», которую критики сочли прославлением коллективизации, оказался в фаворе у власти: был принят в партию, награжден орденом Ленина в числе известных писателей и даже получил Сталинскую премию.

Счастье, что «зеркально блестящая дорога» не ослепила Твардовского. Он понимал, что в расхваленных критиками произведениях «едет мимо» многого, что есть в реальной жизни. В конце тридцатых годов в письме к родичу, тоже взявшемуся за перо, Александр Трифонович не столько поучал адресата, сколько размышлял о своем: «…нужно выработать в себе прямо-таки отвращение к «легкости», «занятности», ко всему тому, что упрощает и «закругляет» сложнейшие явления жизни… будь смелей, исходи не из соображения о том, что будто бы требуется, а из своего самовнутреннего убеждения, что это, о чем пишешь, так, а не иначе, что это ты твердо знаешь, что ты так хочешь». А ставшему близким другом С. Я. Маршаку признавался: «…давно хочу писать иначе, но все еще не могу…»

Впрочем, «иначе» писать он все же пробовал – и в «Братьях», и в элегической предвоенной «Поездке в Загорье», и в полном затаенной боли стихотворении «Матери» (Мария Митрофановна вместе с семьей еще находилась в ссылке):

И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,

И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо —
Мне всякий раз тебя напоминают.

Истинное же рождение Твардовского как великого русского поэта произошло в трагическую пору народной истории – в затяжную и кровавую зимнюю кампанию в Финляндии и Великую Отечественную войну. Он был фронтовым корреспондентом, испытал горечь страшных поражений и потерь, попадал в окружение, сталкивался с множеством людей – когда надолго, когда на краткий, но навсегда запомнившийся миг. Позже он сказал об этом в своей «Книге про бойца», ставшей поэмой «Василий Теркин»:

Вспомним с нами отступавших,
Воевавших год иль час,
Павших, без вести пропавших,
С кем видались мы хоть раз,
Провожавших, вновь встречавших,
Нам попить воды подавших,
Помолившихся за нас.

Замечательна и парадоксальна судьба этой книги! Написанная в пору, когда для автора, как и для множества современников, Сталин был величайшим авторитетом, она понравилась вождю. Свидетельство тому – и новая Сталинская премия, присужденная поэту, и то, что, по воспоминаниям Хрущева, «Сталин с умилением смотрел на картину с Василием Теркиным» (написанную художником Решетниковым). Он видел в герое книги бравого, исполнительного солдата, безотказный «винтик» (по известному выражению вождя) армейского и даже государственного механизма.

Но вот что знаменательно. Первые же главы «Василия Теркина» появились в печати в трагические месяцы 1942 года почти одновременно со знаменитым сталинским приказом № 227 и фактически дерзко противоречили ему. Сталин клеймил солдат отступавшей армии, якобы «покрывших свои знамена позором», обвинял их в «позорном поведении» и даже в «преступлениях перед Родиной». Твардовский же болел душой и за своего главного героя – рядового «в просоленной гимнастерке», и за всех других «наших стриженых ребят», принявших в войну величайшие муки:

Шел наш брат, худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шел поротно и повзводно,
И компанией свободной,
И один, как перст, подчас.
Шел он, серый, бородатый,
И, цепляясь за порог,
Заходил в любую хату,
Словно чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог?

Еще только задумывая книгу, Твардовский размышлял: «Начало может быть полулубочным. А там этот парень пойдет все сложней и сложней». Так оно и оказалось. Какой там «винтик»!

Какой там недалекий весельчак и балагур, каким его порой аттестовали в критике! В Теркине зажила, заиграла всеми красками сама народная душа – ее ширь и размах, лиризм и ум, лукавство и чуткость к чужому горю.

У Салтыкова-Щедрина, кстати, одного из любимейших писателей Твардовского, есть превосходные слова о том, как важно художнику, изображающему типы из «народной среды», разглядеть «нравственное изящество, которое они в себе заключают». Это нравственное изящество многообразно проявляется в Теркине. Оно и в органичности для него чувства патриотизма, в готовности к подвигу без фразы и позы («Не затем на смерть идешь, чтобы кто-нибудь увидел. Хорошо б. А нет – ну что ж…»). Оно и в той чуткости, которую проявляет он в истории с «осиротевшей» гармонью, и в готовности уступить свою славу однофамильцу, и в том, как рассказывает Теркин «про солдата-сироту», и в его разговоре-поединке со Смертью:

– Я не худший и не лучший,
Что погибну на войне.
Но в конце ее, послушай,
Дашь ты на день отпуск мне?
Дашь ты мне в тот день последний,
В праздник славы мировой,
Услыхать салют победный,
Что раздастся над Москвой?
Дашь ты мне в тот день немножко
Погулять среди живых?
Дашь ты мне в одно окошко
Постучать в краях родных
И, как выйдут на крылечко, —
Смерть, а Смерть, еще мне там
Дашь сказать одно словечко?
Полсловечка?..

«Какая свобода, какая чудесная удаль, – писал, прочитав эту книгу, И. А. Бунин, – какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!»

Если уже в «Стране Муравии» такие взыскательные ценители, как Борис Пастернак и Николай Асеев, отмечали высокую культуру стиха, то в «Василии Теркине» мастерство поэта достигло расцвета. Твардовский испытал, по собственному выражению, «чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме изложения».

Разнообразный по строфике, интонационно-гибкий стих поэмы замечательно соответствует ее содержанию, сохраняя живую естественность речи персонажей, их многоголосье, все богатство чувств и переживаний героя и самого автора:

Полдень раннего июня
Был в лесу, и каждый лист,
Полный, радостный и юный,
Был горяч, но свеж и чист.
Лист к листу, листом прикрытый,
В сборе лиственном густом

Пересчитанный, промытый
Первым за лето дождем.
И в глуши родной, ветвистой,
И в тиши дневной, лесной
Молодой, густой, смолистый,
Золотой держался зной.
И в спокойной чаще хвойной
У земли мешался он
С муравьиным духом винным
И пьянил, склоняя в сон.

Каждая строка здесь перекликается с другими. В первой строфе одинаково звучат и начало строк (*полдень – полный*), и в известной мере середина (*раннего – радостный*). Во второй – тоже есть своя инструментовка. В заключение же возникает целый поток созвучий: *глуши – тиши, родной – дневной – лесной, молодой – густой – золотой, спокойной – хвойной, муравьиным – винным* .

В «Теркине» берут начало мотивы, предвещавшие следующую поэму Твардовского – о краткой побывке дома отступающего бойца, о солдате-сироте, нашедшем на месте родного села пепелище, о возвращающейся из полона «труженице-матери».

В начале поэмы «Дом у дороги» говорится, что эта тема, эта песня «жила, кипела, ныла» в душе автора всю войну – о судьбе крестьянской семьи, о великих людских муках и многоликости народного подвига, будь то стойкость мужа-солдата или самоотверженность жены и матери, сберегавшей детей в пучине лишений и бед.

Мысленный разговор Анны Сивцовой на чужбине с крохотным сыном принадлежит к самым проникновенным страницам, когда-либо написанным Твардовским, и смело может быть причислен к шедеврам мировой поэзии.

Мы так и не узнаем, дождется ли своей хозяйки дом, возведенный Андреем Сивцовым на месте пожарища, наполнится ли он детскими голосами. Ведь конец у подобных историй был неодинаков! И эта томительная незавершенность судеб героев поэмы придавала ей особенный драматизм.

О том, что «счастье – не в забвенье» пережитой народом трагедии, говорит и лирика Твардовского военных и мирных лет – «Две строчки», «Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…». В стихотворении «Я убит подо Ржевом» строгая, напоминающая стиль похоронок военной поры обстоятельность рассказа о гибели солдата (в «пятой роте, на левом при жестоком налете») сменяется сильнейшим эмоциональным взрывом:

Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе…

Повторяющаяся «запевка» («Я – где…»), внутренние созвучия (*корни – корма; заре – росе*),

звукопись («ваШи маШины… Шоссе» – как бы шорох шин) – все это придает монологу убитого воина редкую выразительность, певучесть, и голос героя сливается с дыханием мира, где как бы рассеялся, растворился павший боец.

Напрасно власти старались приручить и заласкать Твардовского, ставшего после «Теркина» народным любимцем. Писать в прежнем духе о деревне, разоренной не только войной, но и новыми жестокими поборами, он больше не мог. Продолжать «Книгу про бойца», как требовали многие наивные читатели, придумать ее герою беспечное житье-бытье тоже совесть не позволяла, тем более что получал автор и совсем другие «подсказки»:

Поэт Твардовский, извините,
Не забывайте и задворки,
Хоть мимолетно посмотрите,
Где умирает Вася Теркин,
Который воевал, учился,
Заводы строил, сеял рожь.
В тюрьме, бедняга, истомился,
Погиб в которой ни за грош…
Прошу мне верить, я Вам верю.
Прощайте! Больше нету слов.
Я теркиных нутром измерил,
Я Теркин, хоть пишусь
Попов

Дожил ли автор этих трогательных и неумелых стихов до появления поэмы «Теркин на том свете», где Твардовский, по собственному выражению, хотел воплотить «суд народа над бюрократией и аппаратчиной»? Критика «того света», в котором без труда угадывалась вполне реальная партийно-государственная махина, временами достигала в этой книге, опубликованной лишь через десять лет после ее создания, чрезвычайной остроты. Так, узнав о загробном пайке («Обозначено в меню, а в натуре нету»), Теркин простодушно спрашивает: «Вроде, значит, трудодня?» Читатель же мог в свою очередь подумать и о других вещах, существовавших лишь на бумаге, например, о свободе слова, печати, собраний, «обозначенной» в тогдашней конституции.

В сущности, это уже был суд над сталинизмом, но он не сразу и нелегко давался Твардовскому, который еще недавно в одной из глав книги «За далью – даль» писал о смерти Сталина как о «большом нашем горе». И хотя позднее эта глава была автором кардинально переделана, следы известной непоследовательности, нерешительности в суждениях о пережитой эпохе ощутимы в этой книге, даже в таких сыгравших определенную роль в общественной жизни главах, как «Друг детства» (о встрече с безвинно осужденным при Сталине человеком) и «Так это было», непосредственно посвященной размышлениям о вожде.

Замечательны, однако, многие лирические фрагменты книги – о Волге, о родной Смоленщине, об отцовской кузнице и острый «литературный разговор», возникавший не только в одноименной главе. Отдельные места поэмы по искренности и силе соперничают с самыми лучшими стихотворениями поэта:

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было

В дорогу – света и тепла.
И сказок в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.
…Чтоб жил и был всегда с народом,
Чтоб ведал все, что станет с ним,
Не обошла тридцатым годом.
И сорок первым.
И иным…
Из главы «С самим собой»

Последний этап жизни Твардовского тесно связан с его деятельностью как главного редактора журнала «Новый мир». Ныне нет недостатка в обвинениях тогдашней литературы, не щадят и «Новый мир», который, дескать, был недостаточно смел и последователен в критике режима и не мог отрешиться от многих ошибочных представлений. Но тут вспоминаются слова Герцена об отношении молодого поколения к предшественникам, «выбивавшимся из сил, усиливаясь стащить с мели глубоко вре́завшуюся в песок барку нашу»: «Оно их не знает, забыло, не любит, отрекается от них, как от людей менее практических, дельных, менее знавших, куда идут; оно на них сердится и огулом отбрасывает их, как отсталых… Мне ужасно хотелось бы спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от исторической ошибки».

Еще в сталинские времена Твардовский-редактор опубликовал в «Новом мире» острокритический очерк В. Овечкина «Районные будни», а в пору оттепели – повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Даже в «застойные» годы журнал продолжал печатать правдивые, говорившие о глубоком неблагополучии в нашей общественной жизни произведения Ф. Абрамова, В. Быкова, Б. Можаева, Ю. Трифонова, Ю. Домбровского и ряда других писателей. Недаром в зарубежной, а позже и в отечественной печати высказывалась справедливая мысль, что журнал превращался в неофициальную оппозицию существующему режиму. Думается, что в истории русской литературы и общественной мысли «Новый мир» Твардовского занимает не меньшее место, нежели «Современник» и «Отечественные записки».

Неотделима от этой деятельности Твардовского и его последняя поэма «По праву памяти», в которой он произвел окончательный расчет со сталинизмом, «добивая» его в собственной душе, покаянно пересматривая пережитое и восстанавливая историческую правду.

Опаляющим автобиографизмом дышит центральная глава поэмы – «Сын за отца не отвечает». Вынесенные в заглавие широко известные слова Сталина в пору их произнесения выглядели для многих, в том числе и для Твардовского, неожиданным счастьем, своеобразной амнистией (хотя не раз еще «кулацкое» происхождение ставилось «в строку» поэту – вплоть до самых последних лет жизни). Теперь же Твардовский беспощадно обнажает безнравственную суть этого лживого «афоризма» (лживого – ибо, как напоминается в поэме, «…званье *сын врага народа* еще при них вошло в права»): понуждение к разрыву естественных человеческих связей, оправдание отступничества от них, от всяких нравственных обязательств перед близкими. Горько и гневно пишет поэт о поощряемой «свыше» моральной вседозволенности:

Ясна задача, дело свято, —
С тем – к высшей цели – прямиком.
Предай в пути родного брата
И друга лучшего тайком.

И душу чувствами людскими
Не отягчай, себя щадя.
И лжесвидетельствуй во имя,
И зверствуй именем вождя.

Всей своей поэмой, в особенности заключительной главой «О памяти», Твардовский восставал против попыток скрыть, обелить, приукрасить трагический опыт минувших десятилетий – в «забвенье утопить живую боль»:

Но все, что было, не забыто,
Не шито-крыто на миру.
Одна неправда нам в убыток,
И только правда ко двору!

Не его вина, что не был он услышан и что строки поэмы: «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу», – оказались пророчеством.

Как ни горьки и ни тяжелы были обстоятельства последних месяцев жизни Твардовского (уход из «Нового мира», запрет на публикацию поэмы «По праву памяти», новая опала на «Теркина на том свете», исключавшегося из сборников поэта и не упоминавшегося в печати), он уходил из жизни с сознанием, что «честно… тянул свой воз».

Его поздняя лирика проникнута мыслью о долге художника быть верным правде, безбоязненно идти избранной дорогой – и «с тропы своей ни в чем не соступая, не отступая – быть самим собой».

Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете —
Живых и мертвых, – знаю только я.
Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить.
За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

Есть в этой лирике Твардовского победительная и, как доказало будущее время, вполне оправдавшаяся уверенность, что «все минется, а правда останется», уверенность, высказанная им однажды с почти мудрым лукавством, что «время, скорое на расправу… не в силах сладить с чем, подумаешь! – со стишком»:

Уж оно его так и этак
Норовит забвенью предать
И о том объявить в газетах
И по радио…
Глядь-поглядь,
За каким-то минучим сроком —
И у времени с языка

Вдруг срывается ненароком
Из того же стишка —
Строка.

«Одним Теркиным я не выговорюсь», – писал Твардовский в годы войны. Однако не «выговорился» он, по собственному ощущению, даже всей своей поэзией. «За этими ямбами и хореями, – сказано в статье «Как был написан «Василий Теркин» (1951), – оставалась где-то втуне, существовала только для меня – и своеобразная живая манера речи кузнеца Пулькина (из одноименного стихотворения. – *А. Турков*) или летчика Трусова, и шутки, и повадки, и ухватки других героев в натуре».

Александр Трифонович не раз шутливо уверял, что он, в сущности, прозаик, и с ранних лет пробовал себя в очерках.

И вот так же, как было с «Теркиным», стремление передать то, что «оставалось втуне», показать все «варево» жизни, породило и в его прозе «книгу без начала, без конца», без особого сюжета, впрочем, правде не во вред – «Родина и чужбина».

Она состоит не только из вполне оконченных очерков и рассказов, но и из часто небольших, но весьма примечательных записей «тоже, как сказано в «Книге про бойца», «заносил в свою тетрадку строки, жившие вразброс»!

Мало того, что здесь порой возникали «зерна» сюжетных линий: «Теркина» и «Дома у дороги» (сравните, к примеру, историю новой худолеевской избы в очерке «В родных местах» с главой о возвращении Андрея Синцова домой). Проза поэта драгоценна сама по себе.

Почти в каждой из самых немногословных записей проявились свойственные автору глубина и обостренность восприятия жизни в любых ее проявлениях. Порой какое-нибудь лицо выхвачено, высвечено буквально на миг, и такое лицо, что уже не забудешь.

В бою за деревню на родной поэту Смоленщине «с десяток наших бойцов отбивали контратаки, уже многие ранены… бабы и дети в голос ревут, прощаясь с жизнью». И вот «молоденький лейтенант, весь в поту, в саже и в крови, без пилотки, то и дело повторял с предупредительностью человека, который отвечает за наведение порядка: – Минуточку, мамаша, сейчас освободим, одну минуточку…»

У партизанки по прозвищу Костя «на счету» шесть взорванных вражеских эшелонов, а в награду за подвиги… поцелуй неизвестного командиршей, усталой и сонной (сладостно томящее девушку воспоминание…).

Освобожденные из немецкой неволи и возвращающиеся домой люди, по горестным словам автора, бредут к обгорелый трубам, к пепелищам, к незажитому горю, которого многие из них еще целиком и не представляют себе, какое оно там ждет их». И как это снова близко и к главе «Про солдата-сироту, и к «Дому у дороги»!

Но даже переживший войну в родном селе старик «сидел возле избушки, срубленной из бревен, на которых еще видна была окопная глина (какого же труда стоило ему это «строительство»?!). И при всей поразительной безунывности в чудаковатой обаятельности этого «мирового деда» (как окрестил его проезжий шофер), до «чего же он обездолен, на что ни глянь: «На нем были солдатский ватник и штаны из маскировочной материи с зелено-желтыми разводами. Он сосал трубку, чашечка которой представляла собой срез патрона от крупнокалиберного пулемета».

Бесконечно жаль, что Александру Трифоновичу не суждено было осуществить свои новые «прозаические» замыслы. А ведь кроме «Пана» были и другие чрезвычайно интересные в рабочей тетради; «…Совершу кругосветное путешествие по воде, – говорится в рабочей тетради 1966 года, – и запишу всё по-манновски со всякими отвлечениями» и т. п.

То есть в духе любимого немецкого писателя Томаса Манна, многочисленные выписки из чьих книг и чье имя неоднократно встречается в этих тетрадях.

«В нее смотрелось пол-России…» – сказал однажды Твардовский о Волге, чьи волны как бы несут «краев несчетных отраженье».

И не справедливы ли эти слова по отношению к его собственному творчеству, запечатлевшему столько лиц, событий и судеб?

Андрей Турков

Стихотворения

Родная картина

Куда ни глянь – открытые для взора,
Бегут поля в полосках межевых…
Серебряными блюдами – озера
Расставлены в прогалинах сырых…
Ничуть не подрастающий сосонник
Засыпал редко луговую даль…
Здесь, словно резвые и молодые кони,
Промчались детские мои года…
У кладбища, сгущаясь синим бором,
Сосонник говорлив и жутко тих…
Болота…
И болотные озера
Серебряными блюдами на них.

<1927>

Яблоки

Спать и слышать яблока паденье
Сторожу садовому наказ.
Сторожу за ревность платят деньги,
Говоря об этом всякий раз.
Сторожа, укрывшись в шалаши,
Ожидают воровской души.
По малейшему ночному звуку,
Захватив тотчас берданку в руку,
В темноту бегут по одному,
Наклонясь от сучьев, как в дыму.
Днем они осматривают сад.
Может, яблоки считают: все ли?
Может, смотрят – так ли все висят,
Как вчера на веточках висели.
Сад смотреть – заняться больше нечем,
Кроме разговоров и махорки.
Вот и смотрят, пробуют подпорки,
Словно в церкви поправляют свечи.
Да, по осени бывает случай —
Груза не выдерживают сучья.
И тогда, понятно, сторожа
За увечье дерева дрожат.
Строго отвечают перед каждым
Из артельщиков – своих же граждан.
Настрого блюдутся сторожами
Яблок дорогие урожаи.
…Каждый год – который год подряд —
Открывается на праздник сад.
Со знаменами, с толпой нарядной,
С духовою музыкой парадной.
Председатель говорит, а рядом
Появляется второй оратор.
Это – представитель городской,
Машет он уверенно рукой.
И рукою этою берет
Только что упавший плод.
Яблоко ворочает рука.
И внимателен оратор так,
Словно хочет видеть червяка,
Что бывает в яблоке червяк.
За оратором в одном порядке
Все берут какой угодно сорт:
Хочешь сладких, хочешь кисло-сладких,
Можешь бабушкино и апорт.

Кое-кто вздыхает огорченно,
Думая о яблоках печеных…
Все едят на месте, но любой
При желанье может взять с собой.
…Хочется представить напоследки,
Что, возможно, в этот час в саду
На виду,
Облегченные, приподнимались ветки.

1929

Снег стает, отойдет земля

Снег стает, отойдет земля,
Прокатится громок густой.
Дождь теплый хлынет на поля
И смоет клочья пены снеговой.
Запахнет тополем волнующе.
Вздыхаешь, говоришь:
– Весна… —
Но ждешь, но думаешь,
Что пережил не всю еще
Весну, какая быть должна.

1932

Разлив Днепра

Широко разлился Днепр.
Ни конца, ни края нет.
Затопил берега,
Заливные луга.
Затопил Приднепровье,
Низкорослые кусты.
И пошли, пошли с верховья
На Смоленск – плоты.

1933

Лес осенью

Меж редеющих верхушек
Показалась синева.
Зашумела у опушек
Ярко-желтая листва.
Птиц не слышно. Треснет мелкий
Обломившийся сучок,
И, хвостом мелькая, белка
Легкий делает прыжок.
Стала ель в лесу заметней —
Бережет густую тень.
Подосиновик последний
Сдвинул шляпу набекрень.

1933

Рожь отволновалась

Рожь отволновалась.
Дым прошел.
Налило зерно до половины.
Колос мягок, но уже тяжел,
И уже в нем запах есть овинный…

1933

Усадьба

Над белым лесом – край зари багровой.
Восходит дым все гуще и синей.
И сразу оглушает скрип здоровый
Дверей, шагов, колодцев и саней.
На водопой проходят кони цугом.
Морозный пар клубится над водой,
И воробьи, взлетая полукругом,
Отряхивают иней с проводов.
И словно на строительной площадке —
На доски, на леса – легла зима.
И в не заполненном еще порядке
Стоят большие новые дома.
Они выглядывают незнакомо
На улице огромного села,
Где только дом попа и назывался домом,
А церковь главным зданием была;
Где шли к воде поодиночке клячи
И, постояв, отказывались пить;
Где журавель и тот скрипел иначе,
Совсем не так, как он теперь скрипит…
Надолго лег венцами лес сосновый.
И лес хорош,
И каждый дом хорош.
…Стоишь, приехав, на усадьбе новой
И, как Москву,
Ее не узнаешь.

1934

Тревожно-грустное ржанье коня

Тревожно-грустное ржанье коня,
Неясная близость спящего дома…
Здесь и собаки не помнят меня
И петухи поют незнакомо.
Но пахнет, как в детстве, – вишневой корой,
Хлевами, задворками и погребами,
Болотцем, лягушечьей икрой,
Пеньковой кострой
И простывшей баней…

1934

Утро

Кружась легко и неумело,
Снежинка села на стекло.
Шел ночью снег густой и белый —
От снега в комнате светло.
Чуть порошит пушок летучий,
И солнце зимнее встает.
Как каждый день – полней и лучше,
Да будет лучше новый год.
И дней, что отмечают люди,
Часов таких, как этот час, —
При нас с тобою много будет
И много-много – после нас…

1935

Смоленщина

Жизнью ни голодною, ни сытой,
Как другие многие края,
Чем еще была ты знаменита,
Старая Смоленщина моя?
Бросовыми землями пустыми,
Непроезжей каторгой дорог,
Хуторской столыпинской пустыней,
Межами и вдоль и поперек…
Помню, в детстве, некий дядя Тихон, —
Хмурый, враспояску, босиком, —
Говорил с безжалостностью тихой:
– Запустить бы все… под лес… кругом…
Да, земля была, как говорят.
Что посеешь, – не вернешь назад…
И лежали мхи непроходимые,
Золотые залежи тая,
Черт тебя возьми, моя родимая,
Старая Смоленщина моя!..
Край мой деревянный, шитый лыком,
Ты дивишься на свои дела.
Слава революции великой
Стороной тебя не обошла.
Деревушки бывшие и села,
Хуторские бывшие края
Славны жизнью сытой и веселой, —
Новая Смоленщина моя.
Хлеб прекрасный на земле родится,
На поля твои издалека —
С юга к северу идет пшеница,
Приучает к булке мужика.
Расстоянья сделались короче,
Стали ближе дальние места.
Грузовик из Рибшева грохочет
По настилу нового моста.
Еду незабытыми местами,
Новые поселки вижу я.
Знаешь ли сама, какой ты стала,
Родина смоленская моя?
Глубоко вдыхаю запах дыма я.
Сколько лет прошло? Немного лет…
Здравствуй, сторона моя родимая!..
Дядя Тихон, жив ты или нет?!

1935

Ледоход

Лед идет, большой, громоздкий,
Ночью движется и днем.
Все заметнее полоска
Между берегом и льдом.
Утром ранним, утром дымным
Разглядел я вдалеке,
Как куски дороги зимней
Уплывали по реке.
Поперек реки широкой
Был проложен путь прямой.
Той дорогой, той дорогой
Я ходил к тебе зимой…
Выйду, выйду напоследки,
Ой, как воды высоки,
Лед идет цепочкой редкой
Серединою реки.
Высоки и вольны воды.
Вот пройдет еще два дня —
С первым, с первым пароходом
Ты уедешь от меня.

1936

Шумит, пробираясь кустами

Шумит, пробираясь кустами,
Усталое, сытое стадо.
Пастух повстречался нестарый
С насмешливо-ласковым взглядом.
Табак предлагает отменный,
Радушною радует речью.
Спасибо, товарищ почтенный,
За добрую встречу.
Парнишка идет босоногий,
Он вежлив, серьезен и важен.
Приметы вернейшей дороги
С готовностью тотчас укажет.
И следует дальше, влекомый
Своею особой задачей.
Спасибо, дружок незнакомый,
Желаю удачи!
Девчонка стоит у колодца,
Она обернется, я знаю,
И через плечо улыбнется,
Гребенку слегка поправляя.
Другая мне девушка снится,
Но я не боюсь порицанья:
Спасибо и вам, озорница,
За ваше вниманье.

1936

Столбы, селенья, перекрестки

Столбы, селенья, перекрестки.
Хлеба, ольховые кусты,
Посадки нынешней березки,
Крутые новые мосты.
Поля бегут широким кругом,
Поют протяжно провода,
А ветер прет в стекло с натугой,
Густой и сильный, как вода.

1936

Дождь надвигается внезапный

Дождь надвигается внезапный,
Ты выбегаешь на дорожку,
Чтоб воротиться с первой каплей,
Зажатой в смуглую ладошку.
В игре, в забавах хлопотливых,
Моя веселая, родная,
Растешь ты шумно и счастливо,
О том не думая, не зная.
Ты по траве гоняешь мячик,
На плечи мне влезаешь ловко.
И пахнет солнышком горячим
Светловолосая головка.
О детстве горьком, захолустном
Я вспоминаю потихоньку
И чуть завистливо, чуть грустно
Смотрю на милую девчонку.
Целую русую без счета,
Запорошенную песочком.
И все хочу тебе я что-то
Сказать, но не умею, дочка.

<1936>

Не стареет твоя красота

Не стареет твоя красота,
Разгорается только сильней.
Пролетают неслышно над ней,
Словно легкие птицы, лета.
Не стареет твоя красота.
А росла ты на жесткой земле,
У людей, не в родимой семье,
На хлебах, на тычках, сирота.
Не стареет твоя красота,
И глаза не померкли от слез.
И копна темно-русых волос
У тебя тяжела и густа.
Все ты горькие муки прошла,
Все ты вынесла беды свои.
И живешь и поешь, весела
От большой, от хорошей любви.
На своих ты посмотришь ребят,
Радость матери нежной проста:
Все в тебя, все красавцы стоят,
Как один, как орехи с куста.
Честь великая рядом с тобой
В поле девушке стать молодой.
Всюду славят тебя неспроста, —
Не стареет твоя красота.
Ты идешь по земле молодой —
Зеленеет трава за тобой.
По полям, по дорогам идешь —
Расступается, кланяясь, рожь.
Молодая береза в лесу
Поднялась и ровна и бела.
На твою она глядя красу,
Горделиво и вольно росла.
Не стареет твоя красота.
Слышно ль, женщины в поле поют, —
Голос памятный все узнают —
Без него будто песня не та.
Окна все пооткроют дома,
Стихнет листьев шумливая дрожь.
Ты поешь! Потому так поешь,
Что ты песня сама.

1937

Дорога

Вдоль дороги, широкой и гладкой,
Протянувшейся вдаль без конца,
Молодые, весенней посадки,
Шелестят на ветру деревца.
А дорога, сверкая, струится
Меж столбов, прорываясь вперед,
От великой советской столицы
И до самой границы ведет.
Тени косо бегут за столбами,
И столбы пропадают вдали.
Еду вровень с густыми хлебами
Серединой родимой земли.
Ветер, пой, ветер, вой на просторе!
Я дорогою сказочной мчусь.
Всю от моря тебя и до моря
Вижу я, узнаю тебя, Русь!
Русь! Леса твои, степи и воды
На моем развернулись пути.
Города, рудники и заводы
И селенья – рукой обвести.
Замелькал перелесок знакомый,
Где-то здесь, где-то здесь в стороне
Я бы крышу родимого дома
Увидал. Или кажется мне?
Где-то близко у этой дороги, —
Только не было вовсе дорог, —
Я таскался за стадом убогим,
Босоногий, худой паренек.
Детство бедное. Хутор далекий.
Ястреб медленно в небе кружит.
Где-то здесь, на горе невысокой,
Дед Гордей под сосенкой лежит…
Рвется ветер, стекло прогибая,
Чуть столбы поспевают за мной.
Паровоз через мост пробегает
Высоко над моей головой.
По дороге, зеркально блестящей,
Мимо отчего еду крыльца.
Сквозь тоннель пролетаю гудящий,
Освещенный, как зала дворца.
И пройдут еще годы и годы,
Будет так же он ровно гудеть.
Мой потомок на эти же своды
С уважением будет глядеть.

И дорога, что смело и прямо
Пролегла в героический срок,
Так и будет одною из самых
На земле величайших дорог.
Все, что мы возведем, что проложим, —
Все столетиям славу несет…
Дед, совсем ты немного не дожил,
Чтоб века пережить наперед.

1937

Перед дождем

У дороги дуб зеленый
Зашумел листвой каляной.
Над землею истомленной
Дождь собрался долгожданный.
Из-за моря поспешая,
Грозным движима подпором,
Туча темная, большая
Поднималась точно в гору.
Добрый гром далеко где-то
Прокатился краем неба.
Потянуло полным летом,
Свежим сеном, новым хлебом.
Наползая шире, шире,
Туча землю затеняла.
Капли первые большие
Обронились где попало.
Стало тише и тревожней
На земле похолоделой…
Грузовик рванул порожний
По дороге опустелой.

1937

Ивушка

Умер Ивушка-печник,
Крепкий был еще старик…
Вечно трубочкой дымил он,
Говорун и весельчак.
Пить и есть не так любил он,
Как любил курить табак.
И махоркою добротной
Угощал меня охотно.
– На-ко, – просит, – удружи,
Закури, не откажи.
Закури-ка моего,
Мой не хуже твоего.
И при каждом угощенье
Мог любому подарить
Столько ласки и почтенья,
Что нельзя не закурить.
Умер Ива, балагур,
Знаменитый табакур.
Правда ль, нет – слова такие
Перед смертью говорил:
Мол, прощайте, дорогие,
Дескать, хватит, покурил…
Будто тем одним и славен,
Будто, прожив столько лет,
По себе печник оставил
Только трубку да кисет.
Нет, недаром прожил Ива
И не все курил табак,
Только скромно, не хвастливо
Жил печник и помер так.
Золотые были руки,
Мастер честью дорожил.
Сколько есть печей в округе —
Это Ивушка сложил.
И, с ухваткою привычной
Затопив на пробу печь,
Он к хозяевам обычно
Обращал такую речь:
– Ну, топите, хлеб пеките,
Дружно, весело живите.
А за печку мой ответ:
Без ремонта двадцать лет.
На полях трудитесь честно,
За столом садитесь тесно.

А за печку мой ответ:
Без ремонта двадцать лет.
Жизнью полной, доброй славой
Славьтесь вы на всю державу.
А за печку мой ответ:
Без ремонта двадцать лет.
И на каждой печке новой,
Ровно выложив чело,
Выводил старик бедовый
Год, и месяц, и число.
И никто не ждал, не думал…
Взял старик да вдруг и умер,
Умер Ива, балагур,
Знаменитый табакур.
Умер скромно, торопливо,
Так и кажется теперь,
Что, как был, остался Ива,
Только вышел он за дверь.
Люди Иву поминают,
Люди часто повторяют:
Закури-ка моего,
Мой не хуже твоего.
А морозными утрами
Над веселыми дворами
Дым за дымом тянет ввысь.
Снег блестит все злей и ярче,
Печки топятся пожарче,
И идет, как надо, жизнь.

1938

Сельское утро

Звон из кузницы несется,
Звон по улице идет.
Отдается у колодца,
У заборов, у ворот.
Дружный, утренний, здоровый
Звон по улице идет.
Звонко стукнула подкова,
Под подковой хрустнул лед;
Подо льдом ручей забулькал,
Зазвенело все кругом;
Тонко дзинькнула сосулька,
Разбиваясь под окном;
Молоко звонит в посуду,
Бьет рогами в стену скот, —
Звон несется отовсюду —
Наковальня тон дает.

1938

Звезды, звезды, как мне быть

Звезды, звезды, как мне быть,
Звезды, что мне делать,
Чтобы так ее любить,
Как она велела?
Вот прошло уже три дня,
Как она сказала:
– Полюбите так меня,
Чтоб вам трудно стало.
Чтобы не было для вас
Все на свете просто,
Чтоб хотелось вам подчас
Прыгнуть в воду с моста.
Чтоб ни дыма, ни огня
Вам не страшно было.
Полюбите так меня,
Чтоб я вас любила.

1938

Друзьям

Друзья, с кем я коров стерег,
Костры палил, картошку пек,
С кем я сорочьи гнезда рыл,
Тайком ольховый лист курил, —
Друзья, когда кому-нибудь
Еще случится заглянуть
В Загорье наше, – это я
Все наши обошел края,
По старым стежкам я бродил,
За всех вас гостем я здесь был.
Пойду в поля – хлеба стеной,
Во ржи не виден верховой.
Гречихи, льны, овсы – по грудь,
Трава – косы не протянуть.
Земля в цвету – и все по ней:
В домах – светлей, народ – добрей.
А нынче, в самый сенокос,
На гармониста всюду спрос.
Как вечер – танцы при луне,
Как вечер, братцы, грустно мне —
В своих местах, в родных кустах
Без вас, друзей, гулять в гостях.
Я даже думал в эти дни:
А вдруг как съедутся они
Со всех концов, краев, столиц,
С военных кораблей, с границ.
И сядем мы за стол в кружок
И за вином пошлем в ларек.
И выпьем мы, как долг велит,
Без лишних споров и обид,
Друг перед дружкою гордясь,
На ордена свои косясь.
Но вы, друзья, кто там, кто там,
У дела, по своим постам.
Вы в одиночку, как и я,
В родные ездите края.
Наш год, наш возраст самый тот,
Что службу главную несет.
И быть на месте в должный час
Покамест некому за нас…
Друзья, в отцовской стороне,
Не знаю что: не спится мне.
Так зори летние близки,
Так вкрадчиво поют сверчки,

Так пахнут липы от росы.
И в сене тикают часы,
А щели залиты луной,
А за бревенчатой стеной,
Во сне, как много лет назад,
Считает листья старый сад.
Глухой, на ощупь, робкий счет —
Все тот, а все-таки не тот…
И всяк из вас, кто вслед за мной
Свой угол посетит родной,
Такую ж, может быть, точь-в-точь
Здесь проведет однажды ночь.
Наверно, так же будет он
Взволнован за день, возбужден,
Лежать, курить, как я сейчас,
О детстве думая, о нас,
О давних днях, о старине,
О наших детях, о войне,
О множестве людских путей,
О славе родины своей.

1939

Рожь, рожь… Дорога полевая

Рожь, рожь… Дорога полевая
Ведет неведомо куда.
Над полем низко провисая,
Лениво стонут провода.
Рожь, рожь – до свода голубого,
Чуть видишь где-нибудь вдали,
Ныряет шапка верхового,
Грузовичок плывет в пыли.
Рожь уходилась. Близки сроки,
Отяжелела и на край
Всем полем подалась к дороге,
Нависнула – хоть подпирай.
Знать, колос, туго начиненный,
Четырехгранный, золотой,
Устал держать пуды, вагоны,
Составы хлеба над землей.

1939

Братья

Лет семнадцать тому назад
Были малые мы ребятишки.
Мы любили свой хутор,
Свой сад.
Свой колодец,
Свой ельник и шишки.
Нас отец, за ухватку любя,
Называл не детьми, а сынами.
Он сажал нас обапол себя
И о жизни беседовал с нами.
– Ну, сыны?
Что, сыны?
Как, сыны? —
И сидели мы, выпятив груди, —
Я с одной стороны,
Брат с другой стороны,
Как большие, женатые люди.
Но в сарае своем по ночам
Мы вдвоем засыпали несмело.
Одинокий кузнечик сверчал,
И горячее сено шумело…
Мы, бывало, корзинки грибов,
От дождя побелевших, носили.
Ели желуди с наших дубов —
В детстве вкусные желуди были!..
Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?

1933

Песня

Сам не помню и не знаю
Этой старой песни я.
Ну-ка, слушай, мать родная,
Митрофановна моя.
Под иголкой на пластинке
Вырастает песня вдруг,
Как ходили на зажинки
Девки, бабы через луг.
Вот и вздрогнула ты, гостья,
Вижу, песню узнаешь…
Над межой висят колосья,
Тихо в поле ходит рожь.
В знойном поле сиротливо
День ты кланяешься, мать.
Нужно всю по горстке ниву
По былинке перебрать.
Бабья песня. Бабье дело.
Тяжелеет серп в руке.
И ребенка плач несмелый
Еле слышен вдалеке.
Ты присела, молодая,
Под горячею копной.
Ты забылась, напевая
Эту песню надо мной.
В поле глухо, сонно, жарко.
Рожь стоит, – не перестой.
…Что ж ты плачешь? Песни ль жалко
Или горькой жизни той?
Или выросшего сына,
Что нельзя к груди прижать?..
На столе поет машина,
И молчит старуха мать.

1936

Как Данила помирал

Жил на свете дед Данила
Сто годов да пять.
Видит, сто шестой ударил, —
Время помирать.
Вволю хлеба, вволю сала,
Сыт, обут, одет.
Если б совесть позволяла,
Жил бы двести лет.
Но невесело Даниле,
Жизнь сошла на край:
Не дают работать деду,
Говорят: – Гуляй.
А гулять беспеременно —
Разве это жизнь?
Говорили б откровенно:
Помирать ложись.
Потихоньку дед Данила
Натаскал досок.
Достает пилу, рубанок,
Гвозди, молоток.
Тешет, пилит – любо-мило,
Доски те, что звон!
Все, что делал дед Данила, —
Делал крепко он.
Сколотил он гроб надежный,
Щитный, что ладья.
Отправляется Данила
В дальние края.
И в своем гробу сосновом
Навзничь дед лежит.
В пиджаке, рубахе новой,
Саваном прикрыт.
Что в селе народу было —
Все пришли сполна.
– Вот и помер дед Данила.
– Вот тебе и на…
Рассуждают: – Потрудился
На своем веку. —
И весьма приятно слышать
Это старику.
– Ох и ветох был, однако, —
Кто-то говорит.
«Ох, и брешешь ты, собака», —
Думает старик.

– Сыновей зато оставил —
Хлопцам равных нет.
«Вот что правда, то и правда», —
Чуть не молвил дед.
Постоял народ пристойно
И решает так:
– Выпить надо. Был покойник
Выпить не дурак.
И такое заключенье
Дед услышать рад:
Не в упрек, не в осужденье
Люди говорят.
Говорят: – Прощай, Данила,
Не посетуй, брат,
Дело ждет, по бревнам наши
Топоры торчат.
Говорят: – У нас ребята
Плотники – орлы.
Ты их сам учил когда-то
Вырубать углы.
Как зачешут топорами
Вперебой и в лад,
Басовито, громовито
Бревна загудят.
Эх, Данила, эх, Данила,
Был ты молодым!
С молодым бы в пору было
Потягаться им.
Не обижен был ты силой,
Мы признать должны…
– Ах вы, – крикнул дед Данила, —
Сукины сыны!
Не желаю ваш постылый
Слушать разговор.
На леса! – кричит Данила. —
Где он, мой топор?!

1937

Матери

И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо —
Мне всякий раз тебя напоминают.

1937

Не дым домашний над поселком

Не дым домашний над поселком,
Не скрип веселого крыльца,
Не запах утренний сенца
На молодом морозце колком, —
А дым костра, землянки тьма,
А день, ползущий в лес по лыжням,
Звон пули в воздухе недвижном,
Остекленевшем – вот зима…

1940

Ноябрь

В лесу заметней стала елка,
Он прибран засветло и пуст.
И, оголенный, как метелка,
Забитый грязью у проселка,
Обдутый изморозью золкой,
Дрожит, свистит лозовый куст.

1943

Две строчки

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал…
Среди большой войны жестокой,
С чего – ума не приложу, —
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.

1943

Я убит подо Ржевом

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.
Неужели до осени
Был за ним уже Дон,
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?
Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому – как?

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она – спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – все это, живые.
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.
Это грозное право
Нам навеки дано, —
И за нами оно —
Это горькое право.
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.
Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.
Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.
Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять

Ногу некуда ставить.
Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.
И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть… Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.
Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —
О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.
В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.
Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.
Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.
Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне.
И никто перед нами
Из живых не в долгу,

Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.
Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жить завещаю, —
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать – горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать – не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.

1945–1946

В тот день, когда окончилась война

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.
В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что́ погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.
До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.
Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока.
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалеку.
И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделились навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.
Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег.
И, чуя там сквозь толщу дней и лет,
Как нас уносят этих залпов волны,
Они рукой махнуть не смеют вслед,
Не смеют слова вымолвить. Безмолвны.
Вот так, судьбой своею смущены,
Прощались мы на празднике с друзьями
И с теми, что в последний день войны
Еще в строю стояли вместе с нами;
И с теми, что ее великий путь
Пройти смогли едва наполовину;
И с теми, чьи могилы где-нибудь
Еще у Волги обтекали глиной;
И с теми, что под самою Москвой,
В снегах глубоких заняли постели,
В ее предместьях на передовой
Зимою сорок первого; и с теми,
Что, умирая, даже не могли
Рассчитывать на святость их покоя
Последнего, под холмиком земли,
Насыпанным не чуждою рукою.

Со всеми – пусть не равен их удел, —
Кто перед смертью вышел в генералы,
А кто в сержанты выйти не успел:
Такой был срок ему отпущен малый.
Со всеми, отошедшими от нас,
Причастными одной великой сени
Знамен, склоненных, как велит приказ, —
Со всеми, до единого со всеми
Простились мы. И смолкнул гул пальбы,
И время шло. И с той поры над ними
Березы, вербы, клены и дубы
В который раз листву свою сменили.
Но вновь и вновь появится листва,
И наши дети вырастут и внуки,
А гром пальбы в любые торжества
Напомнит нам о той большой разлуке.
И не затем, что уговор храним,
Что память полагается такая,
И не затем, нет, не затем одним,
Что ветры войн шумят, не утихая,
И нам уроки мужества даны
В бессмертье тех, что стали горсткой пыли.
Нет, даже если б жертвы той войны
Последними на этом свете были, —
Смогли б ли мы, оставив их вдали,
Прожить без них в своем отдельном счастье,
Глазами их не видеть их земли
И слухом их не слышать мир отчасти?
И, жизнь пройдя по выпавшей тропе,
В конце концов, у смертного порога,
В себе самих не угадать себе
Их одобренья или их упрека?
Что ж, мы – трава? Что ж, и они – трава?
Нет, не избыть нам связи обоюдной.
Не мертвых власть, а власть того родства,
Что даже смерти стало неподсудно.
К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.
Вам не услышать их и не прочесть.
Строка в строку они лежат немыми.
Но вы – мои, вы были с нами здесь,
Вы слышали меня и знали имя.
В безгласный край, в глухой покой земли,
Откуда нет пришедших из разведки,
Вы часть меня с собою унесли

С листка армейской маленькой газетки.
Я ваш, друзья, – и я у вас в долгу,
Как у живых, – я так же вам обязан.
И если я, по слабости, солгу,
Вступлю в тот след, который мне заказан,
Скажу слова без прежней веры в них,
То, не успев их выдать повсеместно,
Еще не зная отклика живых,
Я ваш укор услышу бессловесный.
Суда живых не меньше павших суд.
И пусть в душе до дней моих скончанья
Живет, гремит торжественный салют
Победы и великого прощанья.

1948

О прописке

По всему Советскому Союзу,
Только б та задача по плечу,
Я мою уживчивую Музу
Прописать на жительство хочу.
Чтобы мне не ведать той печали,
Как ответят у иных ворот:
– Нет, не проживает. Не слыхали.
Номер дома, может быть, не тот.
Чтоб везде по селам и столицам
Отвечали на вопрос о ней:
– Как же, есть. Давнишняя жилица, —
И улыбки были б у людей.
Чтоб глаза у стариков яснели,
Чтобы к слову вставил не один:
– Мы еще на фронте были с нею,
Вместе помним Вязьму и Берлин.
Чтоб детишки из любого дома,
Если к ним случайно обращусь,
Говорили б:
– Как же, мы знакомы
И немножко знаем наизусть.
Чтобы не с почтеньем, а с любовью
Отзывалось каждое жилье:
– Здесь она. На доброе здоровье
Здесь живет. А как же без нее?
Вот тогда, как отзыв тот желанный,
Прозвучит о ней, моей родной,
Я и сам пропиской постоянной
Обеспечен буду под луной.

1951

Перед дорогой

Что-то я начал болеть о порядке
В пыльном, лежалом хозяйстве стола:
Лишнее рву, а иное в тетрадки
Переношу, подшиваю в «дела».
Что ж, или все уж подходит к итогу
И затруднять я друзей не хочу?
Или опять я собрался в дорогу,
Выбрал маршрут, но покамест молчу?
Или гадаю, вступив на развилок:
Где меня ждет озаренье и свет
Радости той, что, быть может, я в силах
Вам принести, а быть может, и нет?..
Все я приму поученья, внушенья,
Все наставленья в дорогу возьму.
Только за мной остается решенье,
Что не принять за меня никому.
Я его принял с волненьем безвестным
И на себя, что ни будет, беру.
Дайте расчистить рабочее место
С толком, с любовью – и сразу к перу.
Но за работой, упорной, бессрочной,
Я моей главной нужды не таю:
Будьте со мною, хотя бы заочно,
Верьте со мною в удачу мою.

1951

Мне памятно, как умирал мой дед

Мне памятно, как умирал мой дед,
В своем запечье лежа терпеливо,
И освещал дорогу на тот свет
Свечой, уже в руке стоявшей криво.
Мы с ним дружили. Он любил меня.
Я тосковал, когда он был в отлучке,
И пряничного ждал себе коня,
Что он обычно приносил с получки.
И вот он умер, и в гробу своем,
Накрытом крышкой, унесен куда-то.
И нет его, а мы себе живем, —
То первая была моя утрата…
И словно вдруг за некоей чертой
Осталось детства моего начало.
Я видел смерть, и доля смерти той
Мне на душу мою ребячью пала.
И с той поры в глухую глубь земли,
Как будто путь туда открыт был дедом,
Поодиночке от меня ушли
Уже другие проторенным следом…
В январский холод, в летнюю жару,
В туман и дождь, с оркестром,
без оркестра —
Одних моих собратьев по перу
Я стольких проводил уже до места.
И всякий раз, как я кого терял,
Мне годы ближе к сердцу подступали,
И я какой-то частью умирал,
С любым из них как будто числясь в паре.
И если б так же было на войне,
Где счет потерям более суровый,
Наверно б, жизни не хватило мне
И всем, что ныне живы и здоровы.
Но речь о том, что неизбежный час,
Как мне расстаться – малой части —
с целым,
Как этот мир мне потерять из глаз, —
Не может быть моим лишь частным делом.
Я полагаю, что и мой уход,
Назначенный на завтра иль на старость,
Живых друзей участье призовет —
И я один со смертью не останусь.

1951

Ни ночи нету мне, ни дня

Ни ночи нету мне, ни дня,
Ни отдыха, ни срока:
Моя задолженность меня
Преследует жестоко.
У стольких душ людских в долгу,
Живу, бедой объятый:
А вдруг сквитаться не смогу
За все, что было взято!
За то добро, за то тепло,
Участье и пристрастье,
Что в душу мне от них вошло,
Дало изведать счастье.
Сдается часом: заплачу,
Покрою все до строчки;
А часом: нет, не по плечу,
И вновь прошу отсрочки.
И вновь становятся в черед
Сомненье, сил упадок.
Беда! А выйду на народ:
– Ну как? – Бодрюсь: – Порядок…
И устаю от той игры,
От горького секрета,
Как будто еду до поры
В вагоне без билета.
Как будто я какой злодей,
Под страхом постоянным,
Как будто лучших из друзей
К себе привлек обманом.
От мысли той невмоготу
И тяжелей усталость.
Вот подведут они черту,
И – вдруг – один останусь.
И буду, сам себе ровня
Один, в тоске глубокой.
Ни ночи нету мне, ни дня,
Ни отдыха, ни срока.
За что же мне такой удел,
Вся жизнь – из суток в сутки?..
…А что ж ты, собственно, хотел?
Ты думал: счастье – шутки?

1955

Снега потемнеют синие

Снега потемнеют синие
Вдоль загородных дорог,
И воды зайдут низинами
В прозрачный еще лесок.
Недвижной гладью прикинутся,
И разом – в сырой ночи́
В поход отовсюду ринутся,
Из русел выбив ручьи.
И, сонная, талая,
Земля обвянет едва,
Листву прошивая старую,
Пойдет строчить трава.
И с ветром нежно-зеленая
Ольховая пыльца,
Из детских лет донесенная,
Как тень, коснется лица.
И сердце почует за́ново,
Что свежесть поры любой
Не только была да канула,
А есть и будет с тобой.

1955

Час рассветный подъема

Час рассветный подъема,
Час мой ранний люблю.
Ни в дороге, ни дома
Никогда не просплю.
Для меня в этом часе
Суток лучшая часть:
Непочатый в запасе
День, а жизнь началась.
Все под силу задачи,
Всех яснее одна.
Я хитер, я богаче
Тех, что спят допоздна.
Но грустнее начало
Дня уже самого.
Мне все кажется, мало
Остается его.
Он поспешно убудет,
Вот и на бок пора.
Это молодость любит
Подлинней вечера.
А потом, хоть из пушки
Громыхай под окном.
Со слюной на подушке
Спать готова и днем.
Что, мол, счастье дневное —
Не уйдет, подождет.
Наше дело иное,
Наш скупее расчет.
И другой распорядок
Тех же суток у нас.
Так он дорог, так сладок,
Ранней бодрости час.

1955

Не много надобно труда

Не много надобно труда,
Уменья и отваги,
Чтоб строчки в рифму, хоть куда,
Составить на бумаге.
То в виде елочки густой,
Хотя и однобокой,
То в виде лесенки крутой,
Хотя и невысокой.
Но бьешься, бьешься так и сяк —
Им не сойти с бумаги.
Как говорит старик Маршак:
– Голубчик, мало тяги…
Дрова как будто и сухи,
Да не играет печка.
Стихи как будто и стихи,
Да правды ни словечка.
Пеняешь ты на неуспех,
На козни в этом мире:
– Чем не стихи? Не хуже тех
Стихов, что в «Новом мире».
Но совесть, та исподтишка
Тебе подскажет вскоре:
Не хуже – честь невелика,
Не лучше – вот что горе.
Покамест молод, малый спрос:
Играй. Но Бог избави,
Чтоб до седых дожить волос,
Служа пустой забаве.

1955

Вся суть в одном-единственном завете

Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете —
Живых и мертвых, – знаю только я.
Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому —
Нельзя. Не скажет – пусть себе он Бог,
А я лишь смертный. За свое в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

1958

Космонавту

Когда аэродромы отступленья
Под Ельней, Вязьмой иль самой Москвой
Впервые новичкам из пополненья
Давали старт на вылет боевой, —
Прости меня, разведчик мирозданья,
Чьим подвигом в веках отмечен век, —
Там тоже, отправляясь на заданье,
В свой космос хлопцы делали разбег.
И пусть они взлетали не в ракете
И не сравнить с твоею высоту,
Но и в своем фанерном драндулете
За ту же вырывался черту.
За ту черту земного притяженья,
Что ведает солдат перед броском,
За грань того особого мгновенья,
Что жизнь и смерть вмещают целиком.
И может быть, не меньшею отвагой
Бывали их сердца наделены,
Хоть ни оркестров, ни цветов, ни флагов
Не стоил подвиг в будний день войны.
Но не затем той памяти кровавой
Я нынче вновь разматываю нить,
Чтоб долею твоей всемирной славы
И тех героев как бы оделить.
Они горды, они своей причастны
Особой славе, принятой в бою,
И той одной, суровой и безгласной,
Не променяли б даже на твою.
Но кровь одна, и вы – родные братья,
И не в долгу у старших младший брат.
Я лишь к тому, что всей своею статью
Ты так похож на тех моих ребят.
И выправкой, и складкой губ, и взглядом,
И этой прядкой на вспотевшем лбу…
Как будто миру – со своею рядом —
Их молодость представил и судьбу.
Так сохранилась ясной и нетленной,
Так отразилась в доблести твоей
И доблесть тех, чей день погас бесценный
Во имя наших и грядущих дней.

1961

Все сроки кратки в этом мире

Все сроки кратки в этом мире,
Все превращенья – на лету.
Сирень в году дня три-четыре,
От силы пять кипит в цвету.
Но побуревшее соцветье
Сменяя кистью семенной,
Она, сирень, еще весной —
Уже в своем дремотном лете.
И даже свежий блеск в росе
Листвы, еще не запыленной,
Сродни той мертвенной красе,
Что у листвы вечнозеленой.
Она в свою уходит тень.
И только, пета-перепета,
В иных стихах она все лето
Бушует будто бы, сирень.

1965

А ты самих послушай хлеборобов

А ты самих послушай хлеборобов,
Что свековали век свой у земли,
И врать им нынче нет нужды особой, —
Все превзошли,
А с поля не ушли.
Дивиться надо: при Советской власти —
И время это не в далекой мгле, —
Какие только странности и страсти
Не объявлялись на родной земле.
Доподлинно, что в самой той России,
Где рожь была святыней от веков,
Ее на корм, зеленую, косили,
Не успевая выкосить лугов.
Наука будто все дела вершила.
Велит, и точка – выполнять спеши:
То – плугом пласт
Ворочай в пол-аршина,
То – в полвершка,
То – вовсе не паши.
И нынешняя заповедь вчерашней,
Такой же строгой, шла наперерез:
Вдруг – сад корчуй
Для расширенья пашни,
Вдруг – клеверище
Запускай под лес…
Бывало так, что опускались руки,
Когда осенний подведен итог:
Казалось бы —
Ни шагу без науки,
А в зиму снова —
Зубы на полок.
И распорядок жизни деревенской,
Где дождь ли, ведро – не бери
в расчет, —
Какою был он мукою-мученской, —
Кто любит землю, знает только тот…
Науку мы оспаривать не будем,
Науке всякой —
По заслугам честь,
Но пусть она
Почтенным сельским людям
Не указует,
С чем им кашу есть.

1965

Памяти матери

Прощаемся мы с матерями

Прощаемся мы с матерями
Задолго до крайнего срока —
Еще в нашей юности ранней,
Еще у родного порога,
Когда нам платочки, носочки
Уложат их добрые руки,
А мы, опасаясь отсрочки,
К назначенной рвемся разлуке.
Разлука еще безусловней
Для них наступает попозже,
Когда мы о воле сыновней
Спешим известить их по почте.
И карточки им посылая
Каких-то девчонок безвестных,
От щедрой души позволяем
Заочно любить их невесток.
А там – за невестками – внуки…
И вдруг назовет телеграмма
Для самой последней разлуки
Ту старую бабушку мамой.

В краю, куда их вывезли гуртом

В краю, куда их вывезли гуртом,
Где ни села вблизи, не то что города,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было – холода и голода.
Но непременно вспоминала мать,
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,
Как не хотелось там ей помирать, —
Уж очень было кладбище немилое.
Кругом леса без края и конца —
Что видит глаз – глухие, нелюдимые.
А на погосте том – ни деревца,
Ни даже тебе прутика единого.
Так-сяк, не в ряд нарытая земля
Меж вековыми пнями да корягами,
И хоть бы где подальше от жилья,
А то – могилки сразу за бараками.
И ей, бывало, виделись во сне
Не столько дом и двор со всеми справами,
А взгорок тот в родимой стороне
С крестами под березами кудрявыми.

Такая то краса и благодать,
Вдали большак, дымит пыльца дорожная.
– Проснусь, проснусь, – рассказывала мать, —
А за стеною – кладбище таежное…
Теперь над ней березы, хоть не те,
Что снились за тайгою чужедальнею.
Досталось прописаться в тесноте
На вечную квартиру коммунальную.
И не в обиде. И не все ль равно,
Какою метой вечность сверху мечена.
А тех берез кудрявых – их давно
На свете нету. Сниться больше нечему.

Как не спеша садовники орудуют

Как не спеша садовники орудуют
Над ямой, заготовленной для дерева:
На корни грунт не сваливают грудою,
По горсточке отмеривают.
Как будто птицам корм из рук,
Крошат его для яблони.
И обойдут приствольный круг
Вслед за лопатой граблями…
Но как могильщики – рывком —
Давай, давай без передышки, —
Едва свалился первый ком,
И вот уже не слышно крышки.
Они минутой дорожат,
У них иной пожарный на́вык:
Как будто откопать спешат,
А не закапывают навек.
Спешат, – меж двух затяжек строк, —
Песок, гнилушки, битый камень
Кой-как содвинуть в бугорок,
Чтоб завалить его венками…
Но ту сноровку не порочь, —
Оправдан этот спех рабочий:
Ведь ты им сам готов помочь,
Чтоб только все – еще короче.

– Ты откуда эту песню

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону – домой…

Из песни

– Ты откуда эту песню,
Мать, на старость запасла?
– Не откуда – все оттуда,
Где у матери росла.
Все из той своей родимой
Приднепровской стороны,
Из далекой-предалекой,
Деревенской старины.
Там считалось, что прощалась
Навек с матерью родной,
Если замуж выходила
Девка на берег другой.
Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону – домой…
Давней молодости слезы.
Не до тех девичьих слез,
Как иные перевозы
В жизни видеть привелось.
Как с земли родного края
Вдаль спровадила пора.
Там текла река другая —
Шире нашего Днепра.
В том краю леса темнее,
Зимы дольше и лютей,
Даже снег визжал больнее
Под полозьями саней.
Но была, пускай не пета,
Песня в памяти жива.
Были эти на край света
Завезенные слова.
Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону – домой…
Отжитое – пережито,
А с кого какой же спрос?
Да уже неподалеку
И последний перевоз.
Перевозчик-водогребщик,
Старичок седой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону – домой…

1965

В самый угол шалаша

В самый угол шалаша,
Где остывшая солома,
Забирается душа,
Чтоб одной побыть ей дома;
Отдышаться от затей
И обязанностей ложных,
От пустых речей, статей
И хлопот пустопорожних;
И не видеть их лица —
Резвых слуг любой эпохи:
Краснобая-подлеца,
Молчаливого пройдохи;
Полномочного скота,
Групповода-обормота,
Прикрепленного шута
И внештатного сексота…
Дайте, дайте в шалаше,
Удрученной злым недугом,
Отдохнуть живой душе
И хотя б собраться с духом…

1966

День прошел, и в неполном покое

День прошел, и в неполном покое
Стихнул город, вдыхая сквозь сон
Запах свежей натоптанной хвои —
Запах праздников и похорон.
Сумрак полночи мартовской серый.
Что за ним – за рассветной чертой —
Просто день или целая эра
Заступает уже на постой?

1966

Июль – макушка лета

Июль – макушка лета, —
Напомнила газета,
Но прежде всех газет —
Дневного убыль света;
Но прежде малой этой,
Скрытнейшей из примет, —
Ку-ку, ку-ку – макушка —
Отстукала кукушка
Прощальный свой привет.

А с липового цвета,
Считай, что песня спета,
Считай, пол-лета нет, —
Июль – макушка лета.

1966

Просыпаюсь по-летнему

Просыпаюсь по-летнему
Ради доброго дня.
Только день все заметнее
Отстает от меня.
За неясными окнами,
Словно тот, да не тот,
Он над елками мокрыми
Неохотно встает.
Медлит высветить мглистую
Дымку – сам не богат.
И со мною не выстоит,
Первым канет в закат.
Приготовься заранее
До конца претерпеть
Все его отставания,
Что размечены впредь.

1966

Есть имена и есть такие даты

Есть имена и есть такие даты, —
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты, —
Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.

1966

Листва отпылала

Листва отпылала,
опала, и запахом поздним
Настоян осинник —
гарькавым и легкоморозным.
Последними пали
неблеклые листья сирени.
И садики стали
беднее, светлей и смиренней.

Как пот,
остывает горячего лета усталость.
Ах, добрая осень,
такую бы добрую старость:
Чтоб вовсе она
не казалась досрочной, случайной
И все завершалось,
как нынешний год урожайный;
Чтоб малые только
ее возвещали недуги
И шла бы она
под уклон безо всякой натуги.
Но только в забвенье
тревоги и боли насущной
Доступны утехи
и этой мечты простодушной.

1966

Я знаю, никакой моей вины

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же…

1966

Стой, говорю: всему помеха

Стой, говорю: всему помеха —
То, что, к перу садясь за стол,
Ты страсти мелочной успеха
На этот раз не поборол.
Ты не свободен был. И даже
Стремился славу подкрепить,
Чтоб не стоять у ней на страже,
Как за жену, спокойным быть.
Прочь этот прах, расчет порочный,
Не надо платы никакой —
Ни той, посмертной, ни построчной, —
А только б сладить со строкой.
А только б некий луч словесный
Узреть, не зримый никому,
Извлечь его из тьмы безвестной
И удивиться самому.
И вздрогнуть, веря и не веря

Внезапной радости своей,
Боясь находки, как потери,
Что с каждым разом все больней.

<1966>

Береза

На выезде с кремлевского двора,
За выступом надвратной башни Спасской,
Сорочьей черно-белою раскраской
Рябеет – вдруг – прогиб ее ствола.
Должно быть, здесь пробилась самосевом,
Прогнулась, отклоняясь от стены,
Угадывая, где тут юг, где север,
Высвобождая крону из тени…
Ее не видно по пути к царь-пушке
За краем притемненного угла.
Простецкая – точь-в-точь с лесной опушки,
С околицы забвенной деревушки,
С кладбищенского сельского бугра…
А выросла в столице ненароком,
Чтоб возле самой башни мировой
Ее курантов слушать мерный бой
И города державный рокот.
Вновь зеленеть, и вновь терять свой лист,
И красоваться в серебре морозном,
И на ветвях качать потомство птиц,
Что здесь кружились при Иване Грозном.
И вздрагивать во мгле сторожевой
От гибельного грохота и воя,
Когда полосовалось над Москвой
Огнями небо фронтовое.
И в кольцах лет вести немой отсчет
Всему, что пронесется, протечет
На выезде, где в памятные годы
Простые не ходили пешеходы;
Где только по звонку, блюдя черед,
Машины – вниз – на площадь, на народ,
Ныряли под ступенчатые своды
И снизу вырывались из ворот.
И стольких здесь она перевидала,
Встречая, провожая всякий раз,
Своих, чужих – каких там ни попало, —
И отразилась в стольких парах глаз,
По ней скользнувших мимолетным взглядом
В тот краткий миг, как проносились рядом…
Нет, не бесследны в мире наши дни,
Таящие надежду иль угрозу.
Случится быть в Кремле – поди взгляни
На эту неприметную березу.
Какая есть – тебе предстанет вся,

Запас диковин мало твой пополнит,
Но что-то вновь тебе напомнит,
Чего вовеки забывать нельзя…

1966

Такою отмечен я долей бедовой

Такою отмечен я долей бедовой:
Была уже мать на последней неделе,
Сгребала сенцо на опушке еловой, —
Минута пришла – далеко до постели.
И та закрепилась за мною отметка,
Я с детства подробности эти усвоил,
Как с поля меня доставляла соседка
С налипшей на мне прошлогоднею хвоей.
И не были эти в обиду мне слухи,
Что я из-под елки, и всякие толки, —
Зато, как тогда утверждали старухи,
Таких, из-под елки,
Не трогают волки.
Увы, без вниманья к породе особой,
Что хвойные те означали иголки,
С великой охотой,
С отменною злобой
Едят меня всякие серые волки.
Едят, но недаром же я из-под ели:
Отнюдь не сказать, чтобы так-таки съели.

1966

Я сам дознаюсь, доищусь

Я сам дознаюсь, доищусь
До всех моих просчетов.
Я их припомню наизусть, —
Не по готовым нотам.
Мне проку нет, – я сам большой, —
В смешной самозащите.
Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите.

1966

На дне моей жизни

На дне моей жизни,
на самом донышке
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пенушке.
И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалекого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век целиком,
да об этом уж нечего.
Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:
Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.

1967

Допустим, ты свое уже оттопал

Допустим, ты свое уже оттопал
И позади – остался твой предел,
Но при тебе и разум твой, и опыт,
И некий срок еще для сдачи дел
Отпущен – до погрузки и отправки.
Ты можешь на листах ушедших лет
Внести еще какие-то поправки,
Чертой ревнивой обводя свой след;
Самозащите доверяясь шаткой,
Невольно прихорашивать итог…
Но вдруг подумать:
Нет, спасибо в шапку,
От этой сласти береги нас Бог.
Нет, лучше рухнуть нам на полдороге,
Коль не по силам новый был маршрут.
Без нас отлично подведут итоги
И, может, меньше нашего наврут.

1968

Время, скорое на расправу

Время, скорое на расправу,
В меру дней своих скоростных,
Власть иную, иную славу
Упраздняет – и крест на них.
Время даже их след изгладит
Скоростным своим утюжком.
И оно же не в силах сладить
С чем, подумаешь! – со стишком.
Уж оно его так и этак
Норовит забвенью предать
И о том объявить в газетах
И по радио…
Глядь-поглядь,
За каким-то минучим сроком —
И у времени с языка
Вдруг срывается ненароком
Из того же стишка —
Строка.

1968

К обидам горьким собственной персоны

К обидам горьким собственной персоны
Не призывать участье добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой
бессонной, —
Взялся за гуж – не говори: не дюж.
С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая – быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

1968

В случае главной утопии

В случае главной утопии, —
В Азии этой, в Европе ли, —
Нам-то она не гроза:
Пожили, водочки попили,
Будет уже за глаза…
Жаль, вроде песни той, – деточек,
Мальчиков наших да девочек,
Всей неоглядной красы…
Ранних весенних веточек
В капельках первой росы…

1969

Всему свой ряд, и лад, и срок

Всему свой ряд, и лад, и срок:
В один присест, бывало,
Катал я в рифму по сто строк,
И все казалось мало.
Был неогляден день с утра,
А нынче дело к ночи…
Болтливость – старости сестра, —
Короче.
Покороче.

1969

Нет ничего, что раз и навсегда

Нет ничего, что раз и навсегда
На свете было б выражено словом.
Все, как в любви, для нас предстанет
новым,
Когда настанет наша череда.
Не новость, что сменяет зиму лето,
Весна и осень в свой приходят срок.
Но пусть все это пето-перепето,
Да нам-то что! Нам как бы невдомек.
Все в этом мире – только быть
на страже —
Полным-полно своей, не привозной,
Ничьей и невостребованной даже,
Заждавшейся поэта новизной.

1969

Что нужно, чтобы жить с умом?

Что нужно, чтобы жить с умом?
Понять свою планиду:
Найти себя в себе самом
И не терять из виду.
И труд свой пристально любя, —
Он всех основ основа, —
Сурово спрашивать с себя,
С других не столь сурово.
Хоть про сейчас, хоть про запас,
Но делать так работу,
Чтоб жить да жить,
Но каждый час
Готовым быть к отлету.
И не терзаться – ах да ох —
Что, близкий или дальний, —
Он все равно тебя врасплох
Застигнет, час летальный.
Аминь! Спокойно ставь печать,
Той вопреки оглядке:
Уж если в ней одной печаль, —
Так, значит, все в порядке.

<1969>

Ты дура, смерть: грозишься людям

Ты дура, смерть: грозишься людям
Своей бездонной пустотой,
А мы условились, что будем
И за твоею жить чертой.
И за твоею мглой безгласной,
Мы – здесь, с живыми заодно.
Мы только врозь тебе подвластны, —
Иного смерти не дано.
И, нашей связаны порукой,
Мы вместе знаем чудеса:
Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса.
И как бы ни был провод тонок —
Между своими связь жива.
Ты это слышишь, друг-потомок?
Ты подтвердишь мои слова?..

1955

О сущем

Мне славы тлен – без интереса
И власти мелочная страсть.
Но мне от утреннего леса
Нужна моя на свете часть;
От уходящей в детство стежки
В бору пахучей конопли;
От той березовой сережки,
Что майский дождь прибьет в пыли;
От моря, моющего с пеной
Каменья теплых берегов;
От песни той, что юность пела
В свой век – особый из веков;
И от беды и от победы —
Любой людской – нужна мне часть,
Чтоб видеть все и все изведать,
Всему не издали учась…
И не таю еще признанья:
Мне нужно, дорого до слез
В итоге – твердое сознанье,
Что честно я тянул мой воз.

1957–1958

Поэмы

Страна Муравия

Глава 1

С утра на полдень едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон
И сверху – облака.
Тоскуя о родном тепле,
Цепочкою вдали
Летят, – а что тут на земле,
Не знают журавли…
У перевоза стук колес,
Сбой, гомон, топот ног.
Идет народ, ползет обоз,
Старик паромщик взмок.
Паром скрипит, канат трещит,
Народ стоит бочком,
Уполномоченный спешит,
И баба с сундучком.
Паром идет, как карусель,
Кружась от быстрины.
Гармошку плотничья артель
Везет на край страны…
Гудят над полем провода,
Столбы вперед бегут,
Гремят по рельсам поезда,
И воды вдаль текут.
И шапки пены снеговой
Белеют у кустов,
И пахнет смолкой молодой
Березовый листок.
И в мире – тысячи путей
И тысячи дорог.
И едет, едет по своей
Никита Моргунок.
Бредет в оглоблях серый конь
Под расписной дугой,
И крепко стянута супонь
Хозяйскою рукой.
Дегтярку сзади привязал,
Засунул кнут у ног,
Как будто в город, на базар,
Собрался Моргунок.
Умытый в бане, наряжен
В пиджак и сапоги,

Как будто в гости едет он,
К родне на пироги.
И двор – далеко за спиной,
Бегут вперед столбы.
Ни хаты не видать родной,
Ни крыши, ни трубы…
По ветру тянется дымок
С ольхового куста.
– Прощайте, – машет Моргунок, —
Отцовские места!..

Глава 2

Из-за горы навстречу шло
Золотоглавое село.
Здесь проходил, как говорят,
В Москву Наполеон.
Здесь тридцать восемь лет назад
Никита был крещен.
Здесь бухали колокола
На двадцать деревень,
Престол и ярмарка была
В зеленый духов день.
И первым был из всех дворов
Двор – к большаку лицом,
И вывеска «Илья Бугров»
Сипела над крыльцом…
Никита ехал прямиком.
И вдруг – среди села —
Не то базар, не то погром, —
Веселые дела!
Народ гуляет под гармонь,
Оглобель – лес густой,
Коней завидя, сбился конь…
Выходят люди:
– Стой!..
– Стой, нет пощады никому,
И честь для всех одна:
Гуляй на свадьбе, потому —
Последняя она…
Кто за рукав,
Кто за полу, —
Ведут Никиту
В дом, к столу.
Ввели и – чарку – стук ему!
И не дыши – до дна!
– Гуляй на свадьбе, потому —

Последняя она…
И лез хозяин через стол:
– Моя хата —
Мой простор.
Становись, сынок, на лавку,
Пей, гуляй,
Справляй престол!..
Веселитесь, пейте, люди,
Все одно:
Что в бутылке,
Что на блюде —
Чье оно?
Чья скотинка?
Чей амбар?
Чей на полке
Самовар?..
За столом, как в бане, тесно,
Моргунок стирает пот,
Где жених тут, где невеста,
Где тут свадьба? – Не поймет.
А хозяин без заминки
Наливает по другой.
– Тут и свадьба и поминки —
Все на свете, дорогой.
С неохотой, еле-еле
Выпил чарку Моргунок.
Гости ели, пили, пели,
Говорили, кто что мог…
– Что за помин?
– Помин общий.
– Кто гуляет?
– Кулаки!
Поминаем душ усопших,
Что пошли на Соловки.
– Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шел из хаты,
Кто кидался в обмороки, —
Милицейские ребята
Выводили под руки…
– Будет нам пить,
Будет дурить…
– Исус Христос
Чудеса творил…
– А кто платил,

Когда я да не платил?..
– Отчего ты, божья птичка,
Хлебных зерен не клюешь?
Отчего ты, невеличка,
Звонких песен не поешь?
Отвечает эта птичка:
– Жить я в клетке не хочу.
Отворите мне темницу,
Я на волю полечу…
– Будет нам пить,
Будет дурить.
Пора бы нам одуматься,
Пойти домой, задуматься:
Что завтра пропить?
– Исус Христос
По воде ходил…
– А кто платил,
Когда я не платил?
За каждый стог,
Что в поле метал,
За каждый рог,
Что в хлеву держал,
За каждый воз,
Что с поля привез,
За собачий хвост,
За кошачий хвост,
За тень от избы,
За дым от трубы,
За свет и за мрак,
И за просто, и за так…
– Знаем! Сам ты не дурак,
Хлеб-то в воду ночью свез:
Мол, ни мне, ни псу под хвост.
Знаем! Сами не глупей.
Пей да ешь, ешь да пей!
– Сорок лет тому назад
Жил да был один солдат.
Тут как раз холера шла,
В день катала полсела.
Изо всех один солдат
Жив остался, говорят.
Пил да ел, как богатырь,
И по всем читал псалтырь,
Водку в миску наливал,
Делал тюрьку и хлебал,
Все погибли, а солдат
Тем и спасся, говорят.

– Трулля-трулля-трулля-ши!..
Пропил батька лемеши,
А сынок —
Топорок,
А дочушка —
Гребенек,
А матушка,
Того роду,
Пропила
Сковоро́ду.
Па-алезла под печь:
«Сынок, блинов нечем печь…»
– Все кричат, а я молчу:
Все одно – безделье.
А Илье-то Кузьмичу —
Слезки, не веселье…
– Подноси, вытаскивай,
Угощенье ставь!
– До чего он ласковый,
Добродушный стал.
Дескать, мы ж друзья-дружки,
Старые соседи.
Мол, со мной на Соловки
Все село поедет…
– Слышь, хозяин, не жалей
Божью птичку в клетке.
Заливай, пои гостей,
Дыхай напоследки!..
Загудели гости смутно,
Встал, шатаясь, Моргунок,
Будто пьян, на воздух будто,
Потихоньку – за порог.
Над дорогой пыль висела,
Не стихал собачий лай.
Ругань, песни…
– Трогай, Серый.
Где-нибудь да будет край…

Глава 3

Далеко стихнуло село,
И кнут остыл в руке,
И синевой заволокло,
Замглилось вдалеке.
И раскидало конский хвост
Внезапным ветерком,
И глухо, как огромный мост,

Простукал где-то гром.
И дождь поспешный, молодой,
Закапал невпопад.
Запахло летнею водой,
Землей, как год назад…
И по-ребячьи Моргунок
Вдруг протянул ладонь.
И, голову склонивши вбок,
Был строг и грустен конь.
То конь был – нет таких коней!
Не конь, а человек.
Бывало, свадьбу за пять дней
Почует, роет снег.
Земля, семья, изба и печь,
И каждый гвоздь в стене,
Портянки с ног, рубаха с плеч —
Держались на коне.
Как руку правую, коня,
Как глаз во лбу, берег
От вора, мора и огня
Никита Моргунок.
И в ночь, как съехать со двора,
С конем был разговор,
Что все равно не ждать добра,
Что без коня – не двор;
Что вместе жили столько лет,
Что восемь бед – один ответ.
А конь дорогою одной
Везет себе вперед.
Над потемневшею спиной
Белесый пар идет.
Дождь перешел. Следы копыт
Наполнены водой.
Кривая радуга висит
Над самою дугой…
День на исходе. Моргунку
Заехать нужно к свояку:
Остановиться на ночлег,
Проститься как-никак.
Душевной жизни человек
Был Моргунков свояк.
Дружили смолоду, с тех пор,
Как взяли замуж двух сестер.
Дружили двадцать лет они,
До первых до седин,
И песни нравились одни,
И разговор один…

Хозяин грустный гостю рад,
Встречает у ворот:
– Спасибо, брат. Уважил, брат. —
И на крыльцо ведет.
– Перед тобой душой открыт,
Друг первый и свояк:
Весна идет, земля горит, —
Решаться или как?..
А Моргунок ему в ответ:
– Друг первый и свояк!
Не весь в окошке белый свет,
Я полагаю так…
Но тот Никите говорит:
– А как же быть, свояк?
Весна идет, земля горит,
Бросать нельзя никак.
Сидят, как прежде, за столом.
И смолкли. Каждый о своем.
Забились дети по углам.
Хозяйка подает
С пчелиным «хлебом» пополам
В помятых сотах мед.
По чарке выпили. Сидят,
Как год, и два, и три назад.
Сидят невесело вдвоем,
Не поднимают глаз.
– Ну что ж, споем?..
– Давай споем
В последний, может, раз…
Дружили двадцать лет они,
До первых до седин,
И песни нравились одни,
И разговор один.
Посоловелые слегка,
На стол облокотясь,
Сидят, поют два мужика
В последний, значит, раз…
О чем поют? – рука к щеке,
Забылись глубоко.
О Волге ль матушке-реке,
Что где-то далеко?..
О той ли доле бедняка,
Что в рудники вела?..
О той ли жизни, что горька,
А все-таки мила?..
О чем поют, ведя рукой
И не скрывая слез?

О той ли девице, какой
Любить не довелось?..
А может, просто за столом
У свояка в избе
Поет Никита о своем
И плачет о себе.
У батьки, у матки
Родился Никита,
В церковной сторожке
Крестился Никита.
Семнадцати лет
Оженился Никита.
На хутор пошел,
Отделился Никита.
– В колхоз не желаю, —
Бодрился Никита.
До синего дыму
Напился Никита.
Семейство покинуть
Решился Никита…
Куда ж ты поехал,
Никита, Никита?

Глава 4

От деда слышал Моргунок —
Назначен срок всему:
Здоровью – срок, удаче – срок,
Богатству и уму.
Бывало, скажет в рифму дед,
Руками разведя:
– Как в двадцать лет
Силенки нет, —
Не будет, и не жди.
– Как в тридцать лет
Рассудка нет, —
Не будет, та́к ходи.
– Как в сорок лет
Зажитка нет, —
Так дальше не гляди…
Сам Моргунок, как все, сперва
Не верил в дедовы слова.
Хватился – где там двадцать лет! —
А богатырской силы нет.
И, может быть, была б она,
Когда б харчи да не война.
Глядит, проходят тридцать лет, —

Ума большого тоже нет.
А был бы ум, так по уму —
Богатство было бы ему.
Глядит, и скоро – сорок лет, —
Богатства нет, зажитка нет;
Чтоб хлебу на год вволю быть,
За сало салу заходить;
Чтоб быть с Бугровым запросто,
Всего того опричь:
«Здоров, Никита Федорыч!..» —
«Здоров, Илья Кузьмич!..»
А угостить, – так дым трубой,
Что хочешь ешь и пей!
Чтоб рядом он сидел с тобой
На лавке на твоей;
Чтоб толковать о том о сем,
Зажмурясь песни петь,
Под ручку чтоб, да с ним вдвоем
Пойти хлеба смотреть…
И предсказанью скоро срок,
А жил негромко Моргунок.
Был Моргунок не так умен,
Не так хитер и смел,
Но полагал, что крепко он
Знал то, чего хотел…
Ведет дорога длинная
Туда, где быть должна
Муравия, старинная
Муравская страна.
И в стороне далекой той —
Знал точно Моргунок —
Стоит на горочке крутой,
Как кустик, хуторок.
Земля в длину и в ширину —
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та – твоя.
И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.
Косить пошел – покашивай,
Поехал – поезжай.
И все твое перед тобой,
Ходи себе, поплевывай.
Колодец твой, и ельник твой,
И шишки все еловые.
Весь год – и летом и зимой,
Ныряют утки в озере.

И никакой, ни боже мой, —
Коммунии, колхозии!..
И всем крестьянским правилам
Муравия верна.
Муравия, Муравия!
Хо-рошая страна!..
И едет, едет, едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон
И сверху – облака.
По склонам шубою взялись
Густые зеленя,
И у березы полный лист
Раскрылся за два дня.
И розоватой пеной сок
Течет со свежих пней.
Чем дальше едет Моргунок,
Тем поле зеленей.
И день по-летнему горяч,
Конь звякает уздой.
Вдали взлетает грузный грач
Над первой бороздой.
Пласты ложатся поперек
Затравеневших меж.
Земля крошится, как пирог, —
Хоть подбирай и ешь.
И над полями голубой
Весенний пар встает.
И трактор водит за собой
Толпу, как хоровод.
Белеют на поле мешки
С подвезенным зерном.
И старики посевщики
Становятся рядком.
Молитву, речь ли говорят
У поднятой земли.
И вот, откинувшись назад,
Пошли, пошли, пошли…
За плугом плуг проходит вслед,
Вдоль – из конца в конец.
– Тпру, конь!.. Колхозники ай нет?..
– Колхозники, отец…
Чуть веет вешний ветерок,
Листвою шевеля.
Чем дальше едет Моргунок,
Тем радостней земля.
Земля!..

От влаги снеговой
Она еще свежа.
Она бродит сама собой
И дышит, как дежа.
Земля!..
Она бежит, бежит
На тыщи верст вперед.
Над нею жаворонок дрожит
И про нее поет.
Земля!
Все краше и видней
Она вокруг лежит.
И лучше счастья нет, – на ней
До самой смерти жить.
Земля!
На запад, на восток,
На север и на юг…
Припал бы, обнял Моргунок,
Да не хватает рук…
В пути проходит новый день.
Конь перепал и взмок.
Уже ни сел, ни деревень
Не знает Моргунок.

Глава 5

Большаком, по правой бровке,
Направляясь на восход,
Подпоясанный бечевкой
Шел занятный пешеход.
Добела забиты пылью
Сапожонки на плечах,
И лопатки, точно крылья,
Под подрясником торчат.
Из сапог глядят онучки,
За спиной гремит ларец…
– А, видать, тебя до ручки
Раскулачили, отец?..
Слово за слово. О боге
Речь заводит Моргунок.
Отпрягают у дороги,
Забираются в тенек.
– Эх, да по такой погоде
Зря ты ходишь-бродишь, поп.
Собирал бы дань в приходе,
Пчел глядел бы, сено греб…
– Где ж приход? Приходов нету.

Нету службы, нету треб.
Расползлись попы по свету,
На другой осели хлеб.
Тот на должности на писчей,
Тот иной нашел приют.
Ничего, довольны пищей.
Стихли, сникли и живут.
Ну, а я… Иду дорогой.
Не тяжел привычный труд!
Есть кой-где, что верят в бога, —
Нет попа,
А я и тут.
Там жених с невестой ждут, —
Нет попа,
А я и тут.
Там младенца берегут, —
Нет попа,
А я и тут.
Нет купели,
Есть камья,
Нет попа,
А вот он я!..
Что калужского портного,
За неделю ждут меня.
Мне бы только, право слово,
Заиметь теперь коня…
Хорошо в тени, прохладно.
Поп кошелку шевелит.
Развязал – и этак складно
Припевает-говорит:
– Тут селедочка
Была, была, была,
Что молодочка
Дала, дала, дала…
Тут и соточка
Лежит – не убежит…
Эх ты, сукин сын
Камаринский мужик!..
Моргунок, уставясь косо,
Ладно, думает, молчи.
Ничего, что батя босый, —
Подходящие харчи…
Не святой и не угодник,
Не подвижник, не монах, —
Был он просто поп-отходник,
Яко наг и яко благ.
– На гумне служу обедню,

Постным маслом мажу лоб.
Николай был царь последний,
Митрофан – последний поп.
Занимаю под приходом
Всю епархию кругом.
Хочешь так: твоя – подвода,
Мой – инструмент?..
Проживем!..
Моргунок утерся строго:
– Не гляди, что выпил я…
У тебя своя дорога,
У меня, отец, – своя.
На своем коне с дугой
Ехать подходяще:
Всякий видит, кто такой, —
Житель настоящий.
На своем коне с дугой
Ехать знаменито.
Остановят: – Кто такой?
– Моргунов Никита.
В чужедальней стороне
Едешь, смотришь смело:
Раз ты едешь на коне,
Значит, едешь делом.
Самому себе с конем
Позабыться впору.
Будто в гости едешь – днем,
Ночью – будто в город.
Не охотник яйца я
Собирать на бога.
У меня, отец, своя
Дальняя дорога…

Глава 6

От ночлега до ночлега
Едет ровно Моргунок.
У дороги, под телегой,
Своя хата-потолок.
На огне трещит валежник
Робко, будто под ногой.
Двое возчиков проезжих
Сонно смотрят на огонь.
С неизвестным разным людом
Сводит ночью огонек.
Кто такие и откуда —
Знать не знает Моргунок.

Спит не спит, лежит Никита,
Слышен скрип и хруст травы.
Глухо тукают копыта
Возле самой головы.
Поправляет головешки
Освещенная рука.
Голос тянется неспешный,
Как шаги издалека:
– Окна – в землю,
Крыша – набок,
Гнезда галочьи в трубе.
Как бы в сказке, дед да баба
Жили век в своей избе.
Баба пряла у окошка,
Дед с утра на рыбу шел,
И была в хозяйстве кошка,
Курочка да петушок.
Жили старые помалу
На отлете от села.
А весною небывало
Высока вода была.
Шла весна в могучей силе,
По ночам крошила снег.
Разлились по всей России
Воды всех морей и рек… —
Спит не спит, лежит Никита,
Дрема поверху идет.
Голос ровный, домовитый
Сказку бережно ведет:
– Все – в колхозы.
Дед – ни с места
На тринадцатом году:
«Из своей избы, известно,
Никуда я не пойду».
Что, мол, жить мне на народе,
И какой мне в этом прок?..
А вода к крыльцу подходит,
Бьет волною о порог.
Поплыли плетни, солома,
Огородов – будто нет.
День за днем проводит дома,
Очищает лыки дед.
И случилась эта сказка
Возле нашего села:
Подняла вода избушку,
Как кораблик, понесла.
Поднимает выше, выше,

Гонит окнами вперед.
Петушок кричит на крыше,
Из трубы дымок идет.
И качаются, как в зыбке,
Дед и баба за стеной.
Принесло избу под липки —
К нам в усадьбу —
Тут и стой…
Спали воды. Стало сухо.
Смотрит дед – на солнце дверь:
«Ну, тому бывать, старуха,
Жить нам заново теперь…»
Спит не спит Никита, дремлет
С картузом под головой.
Теплым телом греет землю
Под примятою травой.
На армяк роса осела.
Гаснут звезды в вышине.
И тепло вздыхает Серый
За кустами в стороне.
Тянет свежестью рассвета.
Спит дорога. Тишина.
Далеко-далеко где-то
Спит Муравская страна…

Глава 7

Как с юга к северу трава
В кипучий срок весны,
От моря к морю шла молва
По всем краям страны.
Молва растет, что ночь, что день,
Катится в даль и глушь,
И ждут сто тысяч деревень,
Сто миллионов душ.
Нет, никогда, как в этот год,
В тревоге и борьбе,
Не ждал, не думал так народ
О жизни, о себе…
Росла, невнятная сперва,
Неслась, как радио, молва,
Как отголосок по лесам,
Бежала по стране,
Что едет Сталин, едет сам
На вороном коне.
Вдоль синих вод, холмов, полей,
Проселком, большаком,

В шинели, с трубочкой своей,
Он едет прямиком.
В одном краю,
В другом краю
Глядит, с людьми беседует
И пишет в книжечку свою
Подробно все, что следует.
И будто он невдалеке
Коня того поил в реке.
А то еще у старика
Спросил он ночью огонька.
А этот сторож-старичок
Увидел – кто, а сам молчок:
Порасспросить его хотел
Насчет войны и прочих дел…
За гатью – мост,
За взгорьем – склон,
Дымок по ветерку…
И, может, прямо едет он
Навстречу Моргунку.
И все, что на душе берег,
С чем в этот год заснуть не мог,
С чем утром встал и на ночь лег,
С чем ел не впрок
И пил не впрок, —
Все вновь обдумал Моргунок…
– Товарищ Сталин!
Дай ответ,
Чтоб люди зря не спорили:
Конец предвидится ай нет
Всей этой суетории?..
И жизнь – на слом,
И все на слом —
Под корень, подчистую.
А что к хорошему идем,
Так я не протестую.
Ты слушай, выслушай меня,
Коснемся, например, коня.
И склад хорош, и стать легка,
В монету весь одет.
Под Ворошиловым конька
Такого, может, нет.
На конной в Ельне куплен был,
С дороги перепал,
Стоит – и шею опустил, —
Ну, думаю, попал!..
Блестит в корытечке вода,

Свищу, свищу – не пьет,
Не ест. И вижу я тогда,
Что дело не поет…
А как я вышел поутру,
С постели – босиком,
Иду, а он впотьмах: хруп-хруп…
Стой, думаю, живем!..
Теперь мне тридцать восемь лет.
Два года впереди.
А в сорок лет – зажитка нет,
Так дальше не гляди.
И при хозяйстве, как сейчас,
Да при коне —
Своим двором пожить хоть раз
Хотелось мне.
Земля в длину и в ширину —
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та – твоя.
Пожить бы так чуть-чуть…
А там —
В колхоз приду,
Подписку дам!
И с тем согласен я сполна,
Что будет жизнь отличная.
И у меня к тебе одна
Имелась просьба личная.
Вот я, Никита Моргунок,
Прошу, товарищ Сталин,
Чтоб и меня и хуторок
Покамест что… оставить.
И объявить: мол, так и так, —
Чтоб зря не обижали, —
Оставлен, мол, такой чудак
Один во всей державе…
В пути, в незнаемом краю,
Забыв про все, Никита
Слагал, как песню, речь свою
Душевно и открыто…
Страна родная велика.
Весна! Великий год!..
И надо всей страной – рука,
Зовущая вперед.

Глава 8

И деревням и верстам счет

Оставил человек,
И конь покорно воду пьет
Из неизвестных рек.
Дорога тянется вдали.
И грусть теснит в груди:
Как много неба и земли
Осталось позади.
И весь в пыли, как хлеб в золе,
Никита Моргунок.
На всей планете, на Земле,
Один такой ездок.
И порыжел на нем пиджак, —
Дорога далека.
Днем едет, терпит кое-как,
А к вечеру – тоска.
Сквозь тишину и холодок
Повеет ночь жильем.
И куст – он дома, и пенек
На месте на своем.
А ты скитайся, разъезжай,
Сам при себе, один…
Вдруг слышит:
– Добрый гражданин,
А, добрый гражданин!..
И видит: нищий, чуть прикрыт,
Почти что босиком.
– Подвез бы, что ли, – говорит
Обиженным баском.
И мальчик, точно со слепым,
Идет по праву руку с ним.
И нищий злобно смотрит вслед:
– Забогател, сосед?..
Глядит – и обмер Моргунок:
– Илья Кузьмич? Ай нет?..
– Годов полсотни был Илья,
Да нынче стал не я.
Что видишь, только малец мой,
А шапка не моя.
Вот брат. Такая, брат, пора.
Кромешный год такой…
– Тпру!.. Правду говорят, гора
Не сходится с горой…
Коня стреножил Моргунок,
Прибрал хомут, дугу.
Оглобли – кверху. Огонек
Заговорил в кругу.
– Эх, холодна небось земля,

Погреться будет впрок. —
И достает из кошеля
Литровку Моргунок.
– Ну что ж, Илья Кузьмич, начнем?
Что есть. Прошу простить.
Тебя когда-то за столом
Мечтал я угостить.
Пей, грейся, гость. Как другу верь, —
Соседи были все ж…
А вот откуда ж ты теперь,
Илья Кузьмич, бредешь?..
– Бреду оттуда…
– Что ж там? Как?
– Да так. Хороший край.
В лесу, в снегу, стоит барак,
Ложись и помирай.
– Так, так, Илья Кузьмич…
А все ж —
Тут злость своя нужна:
Что скажут – делай, – дескать, врешь,
Работа не страшна.
– Нет, брат, спасибо за совет.
Не страшен был бы труд,
Да смысла нет.
– А ты начни!
– Да мочи нет…
– А ты тяни!
– Да руки не берут.
Никита слушал и коня
Из вида не терял.
Мальчишка, млея у огня,
Тихонько засыпал.
Куда он, малец, гол и бос,
Шел по свету с отцом,
Суму на перевязи нес
С жестяным котелком?..
– А что, – пожал отец плечом, —
Не страшно до зимы.
Где так попросим, где споем, —
Петь научились мы.
Эх, брат, – вздохнул, ложась, Бугров, —
В последний этот год
Еще б таких наделать дров, —
Земли переворот!..
На колокольни встать бы, брат,
И сверху б – в добрый час —
На всю Россию бить набат!

– Да не во что как раз…
Спал Моргунок и знал во сне,
Что рядом спит сосед.
И, как сквозь воду, в стороне
Конь будто ржал под свет…
Вскочил, закоченелый весь,
Глядит – пропал сосед.
Телега здесь, и мальчик здесь.
А конь?.. Коня – и нет…
Никита бросился в кусты,
Высматривая след.
Туда-сюда. И след простыл.
Коня и вправду нет.
И место видно у огня,
Где ночью спал сосед,
В траве окурки. А коня
И нет. И вовсе нет.
И заняла дыханье боль,
И точно высох рот.
Позвать попробовал:
– Псель-псель… —
И губ не соберет.
– Псель-псель… —
И тишина кругом.
Туман. Глухой рассвет…
Вот бросил он семью и дом,
Уехал в белый свет.
Вот все, что думал, – все не в счет.
Вот прожил столько лет…
Туман встает,
Роса ползет.
День. А коня-то нет…
Коня-то нет…
– Вставай, пострел!
Замерз небось, беглец.
Пока ты спал да сны смотрел,
Сменял тебя отец.
Сменял – и серого коня
С уздечкой получил.
Тебя обидел, а меня
Навеки научил.
Я угощал его, любя,
Считал – в беде сосед…
А ты не бойся: бить тебя
Теперь мне пользы нет…
Короток день, а путь далек,
А солнце – где уже!..

Переобулся Моргунок,
И легче на душе.
Собрал шлею, кошель и кнут,
Переменил чеку;
Колеса смазал, подоткнул
Поклажу к передку.
Короток день, а путь далек,
Хоть воз не так тяжел.
И влез в оглобли Моргунок,
А мальчик вслед пошел…

Глава 9

Под уклон, гремя с разбега,
Едет – просто чудеса! —
Без коня сама телега,
Все четыре колеса.
И, кого ни встретит, всякий
Долго-долго смотрит вслед.
А увяжутся собаки —
Три версты отбою нет.
Моргунок гремит с телегой
В неизвестной стороне:
– Не видали ль человека
На копейчатом коне?
Моргунок волочит ноги
Тяжело, и, как назло,
Растянулось вдоль дороги
Бесконечное село.
Никуда от глаз не скрыться,
На виду мужик у всех.
По окошкам липнут лица.
Лай собачий, – смех и грех.
Моргунок везет понуро,
Не ворочаться ж назад.
Шум, смятенье, даже куры
Растревоженно кричат.
Дальше – к мосту – скат крутой,
Поскорей бы с глаз долой!
И пошел, пошел с разбега,
Только грохот поднялся.
Пропадай, моя телега,
Все четыре колеса.
За мостом дорога в гору,
Позади, в пыли густой:
– Стой! – кричат, как будто вору. —
Стой! Стой!..

Подбегают:
– Стой-ка, дед!
Заворачивай в Совет.
И народ кругом посыпал,
Рассуждая горячо:
– Мало, что ли, всяких типов,
Поглядишь, а тут еще…
– На поселке нищий в бане
Двое суток ночевал:
С золотыми был зубами —
Вроде бывший генерал…
И, упершись в грядки, миром
Помогают Моргунку.
– Только ты не бегай, милый…
– Да куда я побегу?..
В сельсовете председатель
Предложил на лавку сесть
И сказал учтиво:
– Дайте
Документы, если есть.
Из-за ворота рубахи
Тащит целый узелок,
Достает свои бумаги
Никита Моргунок.
Бумаги пожелтелые,
Как деньги – еле целые,
Зацапанные, мазаные,
Крест-накрест перевязанные.
– Вот при одной коровке
Семья моя – семь душ.
И хлебозаготовки,
И лесозаготовки,
И страх,
И труд,
И гуж.
И двор со всей скотиной,
И хата в три окна.
Единый —
Семь с полтиной, —
Уплаченный сполна.
Деревня Васильково,
Касплянский сельсовет,
И карточка конева,
А вот коня – и нет…
– Ну что ж, понятно в целом,
Одно неясно мне:
Без никакого дела

Ты ездишь по стране.
Вот, брат! – И председатель
Потер в раздумье нос:
– Ну, был бы ты писатель,
Тогда другой вопрос.
Езжай! И в самом деле,
Чего с тебя возьмешь?
– А что ж, у вас – артели?
– Кругом артели. Сплошь.
И гремит телега снова,
Застилая пылью след…
– Не видали ль верхового?.. —
Отвечают:
– Что-то нет…
Моргунок телегу тянет.
Плечи стертые горят…
– Братцы! Где тут есть цыгане?
– Вон, в колхозе, – говорят.

Глава 10

Знал Никита Моргунок
Правило простое,
Что медведь блинов не пек,
Волк двора не строил.
Удивился Моргунок,
Видит: на поляне
Ходят вдоль и поперек
С косами цыгане.
Косят, словно мужики,
Ряд за рядом ходят.
Только носят оселки
Не по форме вроде.
Пахнет медом и росой,
Добрая работа!
Самому пройти с косой
Моргунку охота.
Хороша, густа трава,
Самый срок и время,
Да забита голова
Думами не теми.
Так и так. Иду полдня.
Карточка в кармане…
– Воротите мне коня,
Граждане цыгане.
– Так и быть, – сказал один, —
Ты – мужик хороший.

Заявляю – отдадим,
Как признаешь лошадь,
Сено свежее пока
На покосе вянет,
На конюшню Моргунка
Привели цыгане.
Попросили Моргунка
Чуть посторониться, —
Конь выходит из станка,
Гладкий, точно птица.
Конь невиданной красы,
Уши ходят, как часы.
Конь хорош, и, что хорош,
Сам об этом знает.
– Ну, хозяин, признаешь?
Признавай, хозяин!
Попросили Моргунка
Постоять снаружи.
И выходит из станка
Конь второй – не хуже.
На спине играет дрожь,
Шея – вырезная.
– Ну, хозяин, признаешь?
Признавай, хозяин!
Попросили Моргунка
Отойти немного.
И выводят из станка
Жеребца, как бога.
Корпус, ноги – все отдай.
Шерсть блестит сквозная.
– Ну, хозяин, признавай,
Признавай, хозяин!
– Извиняюсь, не могу, —
Врать, мол, нет расчета.
– То-то, – пальцем Моргунку
Погрозили, – то-то…
Он оглобли подвязал
Кверху, для ночлега:
– Завтра, малец, на базар
За конем. С телегой.
– Дядь, зовут нас. Слышишь, дядь?
Дескать, места хватит.
– Не желаю ночевать
Я в цыганской хате.
Ночь. Затих в загоне скот.
Пахнет пыль золою.
И цыганское встает

Солнце над землею.
И звенит во тьме комар
Тоненько, знакомо,
Как остывший самовар
После бани, дома.
И, вздохнув, на правый бок
Повернулся Моргунок.
Но не спится Моргунку
И на правом на боку.
Комариный звон в тиши,
Замирая, тонет…
«До чего же хороши,
Боже ты мой, кони!»
И, вздохнув, на левый бок
Повернулся Моргунок.
Но не спится Моргунку
И на левом на боку.
И, подумав, Моргунок
Бородою к звездам лег.
Кони рядом. И спроста
Ненадежно спрятаны:
Из соломы ворота
Лыком запечатаны.
Моргунок лежит, сопя,
Рассуждает про себя:
– Лошадей цыгане крали?
– Крали.
– Испокон веков у всех?
– У всех.
– А у них теперь нельзя ли?
У цыган? Не грех?
– Не грех…
Не лежится на спине,
Точно спит на бороне.
Встал и бережно пошел
За сарай. До ветру, мол…
Слышит – близко за спиной
Осторожный шорох.
– Что за люди? Кто такой? —
Спрашивает сторож.
– Я до ветру, – как урок,
Отвечал Никита.
И для виду все, что мог,
Справил деловито.
– Значит, ходишь по часам?
– Надо, милый, надо…
– Эхе-хе-хе-хе!.. – А сам —

Задом,
задом,
задом…
Сапоги надел скорей,
Хоть на босу ногу,
И с телегою своей
Тронулся в дорогу…

Глава 11

Большаком три ночи и три дня
Ехала телега без коня.
И шутил невесело мужик,
Что к коневой должности привык.
– Подучусь, как день еще пройду,
Все, что надо, делать на ходу.
А овсом питаться – не беда:
Попадала в хлеб и лебеда.
Стоя спать – уменья мало здесь.
Приходилось спать – и лапти плесть!
В неизвестный город большаком
Шла телега вслед за мужиком…
От куста идут и до куста,
От моста до нового моста.
От пятьсот девятого столба
До пятьсот десятого столба.
Далека родная сторона!
Что там баба делает одна?..
Ждет она хозяина с конем,
Знать она не знает ни о чем,
Как идет с телегой Моргунок
По одной из тысячи дорог…
Вышел в поле тракторный отряд,
По путям грохочет скорый поезд,
Самолеты по небу летят,
Ледоколы огибают полюс…
И, по-конски терпелив и строг,
Волокет телегу Моргунок.
Мальчик – ни на шаг от мужика…
Пусть идет – дорога широка.
Так идут, идут и слышат вдруг
Впереди, вдали копытный стук,
Будто в ступе коноплю толкут,
Будто бабы где-то кросна бьют.
Отголосок стороной идет,
И ездок покажется вот-вот…
Гоп-та-тах!.. – И перед Моргунком

На коне,
На сером,
Поп верхом!..
Поп назад откинулся, сдержал,
Конь узнал хозяина, заржал.
Но в одну минуту Моргунок
Из оглобель выскочить не мог,
Он ремни распутывал, а поп —
Повернул коня и дал в галоп.
То ли поп коня того купил.
То ли вор у вора утащил…
– Стой!.. – бежит Никита за конем,
Сапоги, пиджак горят на нем.
Сбилась шапка мокрая на лоб,
Вверх и вниз в глазах ныряет поп.
– Стой!.. – кричит, бежит Никита вслед.
Голосу в груди и духу нет.
Он бежит, и замирает «сто-й!»
На дороге пыльной и пустой.
И, как рану, зажимая бок,
Падает на землю Моргунок.
Он лежит, как мертвый, недвижим,
Но земля сама бежит под ним.
Обернулись реки и мосты,
Вверх ногами – травы и кусты.
Но уже далече скачет поп,
Пропадает за холмами топ.
Тише, тише движется земля,
По местам становятся поля…
И лежит Никита Моргунок
На одной из тысячи дорог…
Пыль по-над дорогой незаметнее,
Вечер начинается вдали.
И березы старые, столетние
Опустили ветви до земли.
Тишина хорошая кругом…
– Дядь, вставай,
А, дядь?..
Вставай. Пойдем…

Глава 12

Деловито, не сердито
Меж палаток, меж подвод
Пробирается Никита:
– Дайте, граждане, проход.
И, встречая, обступая,

Любопытствует народ:
То ль коня он покупает,
То ль телегу продает?
– Погодите, не толкуйте,
Братцы, горе у меня:
На базар служитель культа
Моего угнал коня…
К конной привязи, в тенек
Заезжает Моргунок.
И пошел бродить на счастье
По базару взад-вперед.
Что ни лошадь серой масти, —
Сердце дрогнет и замрет.
Много серых и красивых,
Только равных нет коней:
То подсеченная грива,
То монета покрупней…
На лотках блестят селедки,
Солнце жарит пирожки.
Старичок с лихой бородкой
Кнутовьем звонит в горшки:
– Николаевская глина,
Отдаю за просто так:
С одноличницы – полтина,
С коммунарки – четвертак!
Площадь залита народом,
Площадь ходит хороводом,
Площадь до краев полна,
Площадь пляшет, как волна.
– Расступись, давай проход, —
Жеребца артель ведет.
Как на выставке – проводят,
Уходи, живые, прочь!
Двое виснут на поводьях,
Трое ладятся помочь.
Мундштуки в горячем мыле,
Благородный карий глаз…
– Кто купил?
– Мы купили.
– Сколько дали?
– Хватит с нас.
Гомонит, гудит базар,
Девки, бабы – по возам.
Подбирают кони сено,
Шевелят сухой овес;
И шумит парная пена,
Остывая у колес.

В сюртуке старик усатый
За рога ведет козу.
Жарко дышат поросята
В тесной клетке на возу.
И идет от воза к возу,
Не смолкает говор, гам.
Пахнет сеном и навозом,
С «центроспиртом» пополам.
От жары укрыт, от пыли,
У ограды нищий ряд.
Тут остатние слепые
И убогие сидят.
Песня слышится сквозь гомон,
Оборвется – и опять…
Голос будто бы знакомый,
Только слов не разобрать.
Подошел, с другими рядом
Стал и видит Моргунок:
Грузный нищий – у ограды,
Шапка с медью – между ног.
Поводырь с восковым личиком
Сидит плечо к плечу:
– …Отвечает эта птичка:
«Жить я в клетке не хочу.
Отворите мне темницу,
Я на волю полечу…»
У певца глаза закрыты,
Голос набожно-суров.
Ахнул, чуть не сел Никита:
– Сукин сын! Илья Бугров!
И, точно сами, две руки
Вперед рванулись:
– Стой!.. —
И раскатились пятаки,
Гремя по мостовой.
И Моргунок, как мех сопя,
Подмял слепого под себя.
Народ бежит со всех сторон:
– Слепого бьют… Разбой!..
– Да как же, братцы, – зрячий он.
– Ей-богу, был слепой.
Бугров, карабкаясь, хрипит:
– Пусти!.. Пусти меня.
Пусти, сосед. Скажу, Никит,
Чего-то про коня…
– Скажи, – нагнулся Моргунок, —
Скажи, пока не бью.

– Пусти, Никит… Скорей!.. Свисток!..
Обоих – в Гепею.
– Скажи – пущу.
– Скажу потом.
– Давай сейчас, злодей!
– Скажу. В сторонку отойдем,
Чтоб без чужих людей.
Не дома, в праздничный денек
На хуторе своем,
Идет под ручку Моргунок
С Ильею Кузьмичом.
Ведет Бугрова Моргунок:
– Дорогу дай, народ. —
Ведет, и шапку, как залог,
Слепецкую несет.
Идут, шатаясь, вразнобой,
Пьяны средь бела дня.
Грозит им пальцем постовой:
– Глядите у меня!..
И говорит Илья Бугров
Тихонько Моргунку:
– Чудак ты, конь твой жив-здоров,
Поклясться в том могу.
И вдруг, не ахнул Моргунок.
– Стой! – закричал Бугров
И сквозь толпу рванулся вбок:
– Стой! Стой! Держи воров!..
– Стой!
– Братцы, братцы! – вскрикнул вслед
И всхлипнул Моргунок.
И ни коня, ни вора нет, —
В руках один залог.
Туда-сюда. Базар кругом,
Колышется народ.
Уже о чем-то о другом
Толкует и орет.
– Ну что ж… Спасибо, сукин сын:
Последний дал урок. —
И шмякнул шапку что есть сил
Никита Моргунок.

Глава 13

Вдоль дороги рожь бежала,
Над дорогой пыль дрожала,
Плыл дымок…
Ехал парень моложавый,

Кучерявый паренек.
Кучерявый паренек,
На затылке козырек.
Ехал парень хватом,
Девкам песни вез,
В елку след печатал
Шпорами колес.
Получил на курсах трактор
Кучерявый паренек,
Изучил четыре такта,
Заводить и править мог.
И смешно, да не до смеха,
Хорошо, да сам не рад,
Посадили – и поехал:
– Крой до места, трогай, брат.
Бога нету, говорят.
Не ломай деревья,
Не ворочай пни,
По пути в деревне
Угол не сверни.
Все в порядке. Едет парень.
За верстой идет верста.
Проезжает без аварий
Две деревни, три моста.
Руль одной рукою
Держит, как шофер.
Едет – что такое?
Смотрит – что за черт!
На припеке у дороги
Под телегой спит мужик.
Рядом мальчик босоногий
Кверху пятками лежит.
Слева, справа – нелюдимо,
Луговеет рыжий пар…
Проезжает парень мимо:
– Эй ты, дед, коня проспал!..
Спохватился Моргунок:
– А?.. Давно проспал, сынок.
И лежит он под телегой,
Как лежал.
Дескать, крой, а нам не к спеху,
Не пожар.
– Извиняюсь, бога нет.
Кто такой, откуда, дед?..
– Так и так. Длинна дорога.
Вот как выбился из сил…
– Ладно, дед. Нету бога,

Прицепляйся на буксир.
– Я не прочь, пожалуй,
Но одна статья:
За телегу, малый,
Опасаюсь я…
– Отговариваться нечем,
Делай, дед. Решен вопрос…
За телегу сам отвечу, —
Своя кузня, свой колхоз.
Прицепились, едут.
Хороши дела.
И телега следом
Здорово пошла.
Едут, едут, едут,
Дым да стук кругом.
Едет парень с дедом,
Правит прямиком.
Руль одной рукою
Держит, как шофер.
Едет – что такое?
Слышит – что за черт?..
Слышит перебои,
Непохожий стук.
Трактор сам собою
Тормозится вдруг.
Парню до смерти неловко.
Эх ты, черт ее дери!
– Извиняюсь, остановка! —
Зайчик выскочил внутри…
Пот на лбу открытом
Выступил. Беда!
– Та-ак, – сказал Никита. —
Добрая езда…
Достает инстру́мент парень,
Сам заходит стороной,
Боязливо приступает,
Точно к лошади дурной.
Лезет парень под машину,
Об дорогу чешет спину,
Рукавом стирает пот,
В кепку болтики кладет.
Глубоко синеет небо,
Золотой стоит денек.
Двадцать лет монтером не был
Кучерявый паренек.
Не был батька, не был дед,
Не был прадед, бога нет!..

Бога нету, – несомненно:
Лет пяток —
Недолгий срок.
Будет летчиком отменным
Этот самый паренек.
Головным в могучей стае
Будет править на восток.
Высоко летать он станет,
Кучерявый паренек!
Кучерявый паренек,
Желтой кожи козырек!..
Ты забудешь ли, товарищ,
Наш любимец и герой,
Как лежал ты на дороге,
На дороге под горой.
Как кругом, шумя хлебами,
Длился день страды большой,
И кряхтел мужик тоскливо,
Ожидая над душой.
Мужику – оно не к спеху.
Он бы плюнул и повез
На себе свою телегу
И тащил бы тыщу верст.
Он бы вез ее дорогой,
Проклиная белый свет…
– Ну-ка, дед. Крутни немного.
Ну-ка, разом, бога нет!..
– Дай-ка, – плюнул в руку,
Взялся Моргунок.
– Ну-ка, ну-ка, ну-ка,
Ну, еще разок!..
Отскочил Никита, —
Задрожал мотор,
Нехотя, сердито
Тронулся, попер.
По мостам грохочет,
Правит паренек,
Придержать не хочет,
Сбавить хоть чуток.
Кроет по увалам,
Только пыль хвостом…
– Малый, эй ты, малый,
Придержи, постой!
– Три версты осталось, дед.
– Дальше ехать мочи нет.
За провоз тебе спасибо.
Посоветуй лучше мне,

Где б конька какого-либо
Взять по сходственной цене?
Повернувшись на сиденье,
Смотрит тот на Моргунка:
– Нет, в колхозе и за деньги
Не купить тебе конька.
То ли делом, то ли смехом
Рассуждает паренек:
– Ну, прощай. Пора, брат, ехать.
Кто куда, а я – на ток…
Лошадь, не иначе,
В Островах найдешь.
Правда, кони – клячи,
Ну, да кони все ж…
Крой по ме́жам, это близко,
Дуй пешком, тебе видней.
Сдай телегу под расписку —
Довезу. И ма́льца с ней.
Ну, пока! Не опоздать бы…
Погоди, постой ты, дед:
Жду тебя к себе на свадьбу,
Приглашаю, бога нет!..

Глава 14

Вразброс под солнцем, как дрова,
Лежит селенье Острова.
Ни крыши целой, ни избы,
Что угол – то дыра.
И ровным счетом – три трубы
На тридцать три двора.
Встает, медлителен и глух,
Нерадостный рассвет.
На все село один петух —
И тот преклонных лет.
Поет, как вздумает певень, —
Ослабла голова.
Который час, который день,
Не знают Острова.
Который век, который год
Течет речушка Царь!
На колокольне в косу бьет
К обедне пономарь.
Кругом шумят моря хлебов,
Поля большой страны.
Худые крыши Островов
За ними чуть видны.

Солома преет у ворот.
Повалены плетни.
И курит попусту народ
На бревнышках в тени.
Строгает что-то ножиком,
Как бубен, лысый дед.
Скоблит…
– Бог помощь, граждане,
Колхозники ай нет?..
И отвечают медленно,
Недружно мужики.
Один:
– Мы – люди темные…
Другой:
– Мы индюки…
И подхватила женщина,
Припав к щеке рукой:
– Индусы называемся,
Индусы, дорогой…
– Выходит, бесколхозные, —
Вздохнул с усмешкой дед. —
Сошлись жуки навозные,
Гудят, а кучи нет…
Косить еще успеется,
На все у бога дни…
– Ты что строгаешь?
– Дудочки.
– А для чего они?..
– А дам по дудке каждому,
И дело как-никак.
– А не кулак ты, дедушка?
– А как же не кулак!
Богатством я, брат, славился
В деревне испокон:
Скота голов четыреста
И кнут пяти сажен.
Я гостем в каждой был избе, —
Где ужин – там ночлег.
Коня?.. Чего?.. Коня тебе?
Чудак ты, человек!..
Вот все хозяева сидят.
Продай, коня, сосед…
– Продать, – оно не штука, брат,
Да вот коня-то нет.
– А хоть и есть, – вздохнул другой, —
Да конь-то больно дорогой, —
За грудь, за складку вдоль спины,

За вороную масть
Полжизни плачено. Цены
Такой никто не даст.
– А я как раз продать бы мог,
Да баба встанет поперек.
Что со слезами, что без слез
Толкует об одном:
Идти по крайности в колхоз,
Так со своим конем.
– Слыхал? – толкает Моргунка
Старик тихонько в бок. —
Эх, уступлю уж я конька,
Тому и быть, сынок.
Идем…
Старик заторопил
И Моргунка провел
В худой, без сошек и стропил,
С собачью будку, двор.
Там конь, не вскинув головы,
Стоял, как на мели.
И был он бел до синевы
И слеп, хоть глаз коли.
Толкает дед его рукой,
Глядит со стороны:
– Эх, конь! Царевой масти конь!
Ему, брат, нет цены.
И сам носился петушком:
– А? Что? Плохой конек?..
– Нет, лучше век ходить пешком.
– Ну, сам гляди, сынок.
Таков и конь, каков купец.
Соседи, чем не конь?
– Понятно, конь. Не жеребец.
– Ну, что там! Конь – огонь!..
Как побежит – земля дрожит,
Как упадет – три дня лежит,
И ни вожжа тогда, ни кнут
Ему не вставят ног…
– Да, вот как люди здесь живут, —
Причмокнул Моргунок.
– Сынок! Ты вот чего скажи, —
Опять пустился дед. —
А чем плохая наша жизнь?
По-мойму – лучше нет.
Земля в длину и в ширину —
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,

И та – твоя.
И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.
Косить пошел – покашивай.
Поехал – поезжай…
– Живете не богато вы, —
Смутился Моргунок.
– А счастье не в богачестве.
Зачем оно, сынок?
Нам бы хлебушка кусок,
Да водицы голоток,
Да изба с потолком,
Да старуха под боком.
– Верно.
– Правильно.
– Привычка…
Вот прохожий баял тож:
Отчего ты, дескать, птичка,
Хлебных зерен не клюешь?
В том как раз и закавычка —
От природы, людям зло.
Отвечает будто птичка:
Жить, мол, в клетке тяжело.
– Кабы больше было воли,
Хочешь – здесь ты, хочешь – там…
– Кабы жалованье, что ли,
Положили мужикам.
– Кабы нам душа одна бы…
– Кабы жить нам не вразлад…
– Кабы если бы не бабы,
Бабы слушать не хотят!..
– Ты про баб молчи, пустыня,
Сами скажем про свое.
Вот хожу с грудьми пустыми
За хорошее житье.
У людей, людей – пшеничка
Наклонилась по ветру.
А у нелюдей солома
Раскидалась по двору.
У людей, людей – ребятки
День гуляют на площадке,
За столом за общим в ряд,
Как горлачики, сидят.
А мои живут на свете
Хуже сивых поросят.
Невиновны мои дети —
Ихний батька виноват!

Погляжу на ту картину,
Как сидишь ты день-деньской,
Плюну, кину-запокину,
Убегу – и черт с тобой!..
Глядит, растерян и смущен,
Никита Моргунок.
Что скажет он?
Что понял он
За долгий путь и срок?..
– Ну вот, – снял шапку Моргунок, —
Понятно – жесткий год.
Все, братцы, вдоль и поперек,
Крест-накрест все идет.
И ваша жизнь – не жизнь, друзья,
Одна тоска и боль.
Гляжу на вас: так жить нельзя.
Решаться надо, что ль…
А что касается меня,
Возьмите то в расчет:
Поскольку я лишен коня, —
Ни взад мне, ни вперед.
Осиротил меня злодей,
Под самый корень ссек.
А конь был – нет таких коней!
Не конь, а человек.
Бывало, корочку из рук,
Как со стола, возьмет.
В ночном – чуть что – затихнет вдруг,
Как спросит: кто идет?
Прилечь на землю не могу.
Ни сна, ни дремы мне.
Вот будто ходит по лугу,
Ступает в стороне.
Как будто слышу стук копыт,
Вздыхает конь живой.
Трава росяная скрипит,
И пахнет той травой…
И стихли все… И Моргунок
Вдруг смолк понуро сам,
И смятой шапкой проволок
Неспешно по глазам…
Молчит на бревнышках народ,
Все сказаны слова.
Берет старик две дудки в рот,
Чуть набок голова.
Поймали пальцы нужный лад,
И тонкий звук потек:

«Пойду, пойду в зеленый сад,
Сорву я орешок».
Поет старик об орешке,
Играет оберучь.
Висит на ветхом пояске
Мужицкий медный ключ.
Ползет рубаха с плеч долой,
На ней заплатки сплошь.
А в песне – «парень удалой,
Куда меня ведешь!..».
Ту песню про зеленый сад,
Про желтый орешок
Слыхал лет двадцать пять назад
От деда Моргунок.
– Ну, что ж, пора. Сижу я тут
Без барышей полдня.
А там телега и хомут
И сбруя у меня.

Глава 15

Из всех излюбленных работ
Любил Никита обмолот.
И где и кто молотит, – мог
Узнать по стуку Моргунок.
У богачей да у попов
Ходили в дюжину цепов.
И все цепы колотят в лад
И соблюдают счет.
И на току – что полк солдат
Под музыку пройдет.
А сам Никита Моргунок
Вдвоем с женой ходил на ток.
До ночи хлеб свой выбивал
Не разгибая рук.
И, как калека, колдыбал
Хромой унылый стук.
Но любо было Моргунку,
Повесив теплый цеп,
Сидеть и веять на току
Набитый за день хлеб.
Кидай по горсточке одной
Навстречу ветерку,
И полумесяц золотой
Ложится на току.
Кидал бы так за возом воз
До нового утра,

И полумесяц все бы рос
И рос бы, как гора…
По стуку трактора на ток
Пришел Никита Моргунок.
Дрожит под пятками земля,
Стук, ветер, вой и свист,
И наклонился у руля
Тот самый тракторист.
А пыль, а дым несет в глаза,
И все зашлось в ушах.
Ни поздороваться нельзя,
Ни подойти на шаг.
Легка солома, колос чист,
Зерно шумит, как град.
– Снимай пиджак да становись,
Чего стесняться, брат!..
– А, дай! – Разделся Моргунок,
Рогатки в руки взял,
Покрылся ношей, поволок,
Знай наших! – доказал.
– Да я ж!.. Да господи спаси,
Да боже сохрани!..
Скажи – коси, скажи – носи,
Скажи – ворочай пни!..
Да я ж не лодырь, не злодей,
Да я ж не хуже всех людей.
Как хватит, хватит Моргунок,
Как навернет рогатками…
Сопит, хрипит, до нитки взмок,
Колотье под лопатками.
Солома – валом. Спасу нет.
Но вскоре из ворот
Мужчина Моргунковых лет
На выручку идет.
Тверд на ногах, что в землю врыт,
По голосу – добряк.
«А ты вот этак, говорит,
Ты, говорит, вот так!..»
И, ношу взяв с бобыльский воз,
Он! – смотрит Моргунок —
Подсел, не крякнул и понес.
Раз! – и взмахнул на стог.
И, отряхнув с накидки ость,
Радушно говорит:
– Пойдем-ка мы отсюда, гость,
Охота покурить.
– А председатель как у вас,

Позволит он уйти?..
– А председатель я как раз,
Со мной, брат, не шути.
Держи табак. Бери, бери,
Верти своей рукой.
Устал, брат?.. Ну-ка, говори,
Откуда, кто такой?..
Издалека?
– Издалека.
От Ельни…
– В добрый час.
Сидят в тени два мужика,
Толкуют в первый раз.
Развеял ветер и унес
Махорочный дымок…
– Ну что ж, взгляни на наш колхоз,
Товарищ Моргунок.
Все разом показать готов,
Усадьба велика.
Ведет Андрей Ильич Фролов
Под ручку Моргунка.
Ведет, ведет на новый двор, —
Он светел и смолист.
И бревна старые в забор
Меж новых улеглись.
В загон к скоту идет Фролов
С Никитою вдвоем
И гладит, хвалит всех коров,
Как на дворе своем.
Любую ногу подает
Ему в конюшне конь.
Теленок зеркальце сует
В хозяйскую ладонь.
Идут вперед, идут назад,
И видит Моргунок:
Взбегает малолетний сад
Рядами на припек.
Вдоль по усадьбе до ворот
Проходит гость, глядит.
Кол вбит, – попробует, качнет:
Всерьез ли в землю вбит.
Но все – не в шутку, все – всерьез.
Для жизни – в самый прок.
Один-единственный вопрос
Имеет Моргунок:
– Я полагаю, спору нет,
Вам все ж видней, партейному:

Скажите мне, на сколько лет
Такая жизнь затеяна?..
– А вот, товарищ Моргунок,
Ударят на обед,
Прикину, подведу итог —
И дам тебе ответ.
А заодно теперь позволь
Позвать тебя на хлеб да соль.

Глава 16

– Мой дед родной – Мирон Фролов —
Нас, молодых, бодрей.
Шестнадцать пережил попов
И четырех царей.
Мы, как подлесок, все под ним
Росли один перед другим.
И, приподнявшись от земли,
Все кланялись ему.
И шли в заводы, в шахты шли,
В солдаты и в тюрьму.
Шли, заполняли белый свет —
Жить не при чем в семье.
Брели, – и где нас только нет,
Фроловых, на земле!
Живут в Москве, и под Москвой,
В Сибири от годов.
Есть машинист, есть летчик свой,
Профессор есть Фролов.
Есть агроном, есть командир,
Писатель даже есть один.
И все – один перед другим, —
Хоть на меня смотри,
Росли под дедом под своим,
В него – богатыри.
Шесть ран принес с гражданской я,
Шесть дырок, друг родной.
Когда б силенка не моя, —
Хватило бы одной.
По всем законам – инвалид,
Не плуг бы мне – костыль…
А после здесь уж был я бит,
Добро, что богатырь.
Делил луга, взимал налог
И землю нарезал.
И свято линию берег,
Что Ленин указал.

Записки мне тогда под дверь
Подсовывал Грачев:
«Земли себе сажень отмерь
И доски заготовь».
Фроловы были силачи,
Грачевы были богачи.
Грачевы – в лавку торговать,
Фроловы – сваи загонять.
Грачевы – сало под замок,
Фроловы – зубы на полок.
Мой враг до гроба и палач,
Вот в этот день и час,
Где ты на свете, Степка Грач,
И весь твой подлый класс?!
И в смертный срок мой воспомню я,
Как к милости твоей
Просить ходила мать моя
Картошек для детей;
Как побирушкой робко шла
По дворне по твоей,
Полкан Иванычем звала
Собаку у дверей…
Да я и не про то теперь…
За землю мстил Грачев.
Земли, так и писал, отмерь
И доски заготовь.
Подстерегли меня они
В ночь под успеньев день —
Грачевы, целый взвод родни
Из разных деревень.
Жилье далеко в стороне,
Ночь, ветки – по глазам.
И только палочка при мне, —
Для сына вырезал.
И первый крикнул Степка Грач:
– Стой тут. И – руки вверх!
Не лезь в карман, не будь горяч, —
Засох твой револьвер.
Сдавай бумаги, говорят,
Давай, отчитывайся, брат!
Стою. А все они с дубьем,
Я против банды слаб.
Ну, шли б втроем, ну, вчетвером,
Ну, впятером хотя б…
Лощинка, лес стоит немой,
Тишь-тишина вокруг.
Кричать? – Кричать характер мой

Не позволяет, друг.
А тени сходятся тесней,
Минута настает.
И тех, которые пьяней,
Пускают наперед.
Троих я сбил. А сзади – раз!
И полетел картуз…
И только помню, как сейчас,
За голову держусь.
Лежу лицом в сырой траве,
И звон далекий в голове.
И Грач толкает сыновей:
– Скорей! Грех, господи… Скорей!..
Да помню, точно сквозь туман,
Прощался я: «Сынок!..
Прости, что палочку сломал,
Подарок не сберег.
Прощай, сынок. Расти большой.
Живи, сынок, учись,
И стой, родной, как батька твой,
За нашу власть и жизнь!..»
Потом с полночи до утра
Я полз домой, как мог.
От той лощинки до двора
Кровавый след волок.
К крыльцу отцовскому приполз,
И не забуду я,
Как старый наш фроловский пес
Залаял на меня!
Хочу позвать: «Валет! Валет!..»
Не слушается рот.
…Ты говоришь, на сколько лет
Такая жизнь пойдет?..
Так вот даю тебе ответ
Открытый и сердечный:
Сначала только на пять лет.
– А там?..
– А там – на десять лет.
– А там?..
– А там – на двадцать лет.
– А там?..
– А там – навечно.
– И это твердо, значит?
– Да.
– Навечно, значит?
– Навсегда!..
Эх, друг родной, сказать любя,

Без толку носит черт тебя!..
Да я б на месте на твоем,
Товарищ Моргунок, —
Да отпусти меня райком —
Я б целый свет прошел пешком,
По всей Европе прямиком,
Прополз бы я, проник тайком,
Без тропок и дорог.
И правду всю рабочий класс
С моих узнал бы слов:
Какая жизнь теперь у нас,
Как я живу, Фролов.
И где б не мог сказать речей,
Я стал бы песню петь:
«Душите, братья, палачей,
Довольно вам терпеть!»
И шел бы я, и делал я
Великие дела.
И эта проповедь моя
Людей бы в бой вела.
И если будет суждено
На баррикадах пасть,
В какой земле – мне все равно, —
За нашу б только власть.
И где б я, мертвый, ни лежал,
Товарищ Моргунок,
Родному сыну завещал:
Иди вперед, сынок.
Иди, сынок. Расти большой.
Живи, сынок, учись.
И стой, родной, как батька твой,
За нашу власть и жизнь!

Глава 17

Ходит сторож, носит грозно
Дулом книзу ружьецо.
Ночью на земле колхозной
Сторож – главное лицо.
Осторожно, однотонно
У столба отбил часы.
Ночь давно. Армяк суконный
Тяжелеет от росы.
И по звездам знает сторож, —
По приметам, как всегда, —
Тень двойная станет скоро
Проходить туда-сюда.

Молодым – любовь да счастье,
На поре невеста-дочь.
По двору Васек и Настя
Провожаются всю ночь.
Проведет он до порога:
– Ну, прощай, стучись домой.
– Нет, и я тебя немного
Провожу, хороший мой.
И доводит до окошка:
– Ну, прощай, хороший мой.
– Дай же я тебя немножко
Провожу теперь домой.
Дело близится к рассвету,
Ночь свежеет – не беда!
– Дай же я тебя за это…
– Дай же я тебя тогда…
Под мостом курлычет речка,
Днем неслышная совсем.
На остывшее крылечко
Отдохнуть старик присел.
Свесил голову, как птица,
Ружьецо стоит у ног.
– Что-то, брат, и мне не спится. —
Смотрит сторож – Моргунок.
– Ну, садись. А мне привычно.
Тем и должность хороша, —
Обо всем на белом свете
Можно думать не спеша:
О земле, о бывшем боге,
О скитаниях людей,
О твоей хотя б дороге,
О Муравии твоей.
Люди, люди, человеки,
Сколько с вами маяты!
Вот и в нашей был деревне
Дед один, такой, как ты.
Посох вырезал дубовый,
Сто рублей в пиджак зашил.
В лавру, в Киев снарядился:
– Поклонюсь, покамест жив.
И стыдили, и грозили…
«Все стерплю, терпел Исус.
Может, я один в России
Верен богу остаюсь».
«Ладно. Шествуй-путешествуй, —
Говорит ему Фролов, —
А вернешься жив-здоров,

Все как есть расскажешь честно
Про святых и про попов».
И пошел паломник в лавру.
Пешим верстам долог счет.
Мы вот здесь сидим с тобою,
Говорим, а он идет…
А дорог на свете много,
Пролегли и впрямь и вкось.
Много ходит по дорогам —
И один другому рознь.
По весне в газете было, —
Может, сам слыхал о том, —
Как идет к границе нашей
Человек один пешком.
Он идет, работы нету,
Без куска его семья.
На войне он окалечен,
Оконтужен, как вот я.
По лесам идет, по тропам,
По долинам древних рек.
Через всю идет Европу,
Как из плена человек.
Он идет. Поля пустые.
Редко где дымит завод.
Мы вот здесь сидим с тобою,
Говорим, а он идет…
Слухам верить не пристало,
Но и слух не всякий зрящ.
Говорят, домой с канала
Волокется Степка Грач.
Он идет и тешит злобу,
Знает, с кем свести расчет,
Днями спит, идет ночами.
Вот сидим, а он идет…
А смотри-ка, друг прохожий!..
– Вижу, – вздрогнул Моргунок.
На звезду меж звезд похожий,
Плыл на запад огонек.
С ровным рокотом над ними,
Забирая ввысь, вперед,
Над дорогами земными
Правил в небе самолет.
– Высоко идет, красиво,
Хорошо, хоть песню пой!
Это тоже, братец, сила,
Тоже сторож наш ночной.
Он встает. Светло и строго

Утомленное лицо.
Где-то близко у калитки
Тихо звякнуло кольцо.
И бредет гармонь куда-то.
Только слышится едва:
«В саду мята,
Да не примята,
Да неподкошенная
Трава…»

Глава 18

Стоят столы кленовые.
Хозяйка, нагружай!
Поспела свадьба новая
Под новый урожай.
Поспела свадьба новая
Под пироги подовые,
Под свежую баранину,
Под пиво на меду,
Под золотую, раннюю
Антоновку в саду.
И над крыльцом невестиным,
Как первомайский знак,
Тревожно и торжественно
Похлопывает флаг.
Притихшая, усталая,
Заголосила старая.
Заголосила, вспомнила
Девичество бездомное,
Колечко обручальное,
Замужество печальное.
– Лети, лети, ластынька,
Лети за моря.
Прости-прощай, Настенька,
Дочушка моя.
Лети, сиротливая,
В чужие края.
Живи, будь счастливая,
Кровинка моя.
Надень бело платьице,
Пройдись по избе.
А что же да не плачется,
Не горько тебе?
Поплачь, поплачь, Настенька,
Дочушка моя.
Лети, лети, ластынька,

Лети за моря.
Гармонь, гармонь, бубенчики.
– Тпру, кони! Стой, постой!..
Идет жених застенчивый
Через девичий строй.
– Эх, Настя, нас обидела,
Кого взяла – не видела:
Общипанного малого,
Кривого, куцепалого.
А что ж тебя заставило
Выйти замуж за старого,
За старого, отсталого,
Худого, полинялого?
У твоего миленочка
Худая кобыленочка.
Он не доехал до горы,
Ее заели комары.
Дверь – настежь. Гости – на порог,
Гармонь. И кто-то враз
В сенях рассыпал, как горох,
Поспешный, дробный пляс.
И вот за стол кленовый
Идут, идут Фроловы.
Идут, идут – брат в брата,
Грудь в грудь, плечо в плечо.
Седьмой, восьмой, девятый,
А там еще! Еще!..
Стоят середь избы —
Богатыри.
Дубы!
И – даром, что ли, славятся —
Идут, красой грозя,
Ударницы-красавицы —
Жестокие глаза.
А впереди – затейная
Аксюта Тимофеевна:
– Где стала я, где села я —
Со мной бригада целая.
Три раза премированный,
Идет Фролов Иван —
Лошадник патентованный,
До свадьбы чутку пьян.
Идет торжествен и суров,
Как в светлый день одет,
Ста восемнадцати годов,
Мирон Васильевич Фролов —
Белоголовый дед.

На свадьбу гостем приглашен,
Где правнуки сидят.
Сам в первый раз женился он
Сто лет тому назад.
И вот встает Андрей Фролов:
– Деды, позвольте пару слов.
Деды! В своей усадьбе
И на своей земле,
Когда, на чьей мы свадьбе
Гуляли здесь в селе?
Не в сытости, не в холе мы
Росли, и, как везде,
Шли замуж поневоле мы,
Женились – по нужде.
Деды! Своею властью
Мы здесь, семьею всей,
Справляем наше счастье
На свадьбе на своей.
За пару новобрачную,
За их любовь удачную,
За радость нашу пьем.
За то, что по-хорошему,
По-новому живем!
И свадьба дружно встала,
Сам сторож речь ведет:
– За молодых и старых,
За весь честной народ!
За дочь мою, за Настю,
И за дружка ее!
За их совет, за счастье,
За доброе житье!
А также выпить следует
За нас, за стариков,
И пусть вином заведует
Андрей Ильич Фролов.
Пускай проводит линию
Он с толком и душой:
Партейным льет по маленькой,
А нам уж – по большой.
И, видно, в меру каждому
Та линия была, —
Заговорили граждане
Про всякие дела.
– С тобой, Василий Федорыч,
Кому косить пришлось, —
Одно, Василий Федорыч:
Дух вон и лапти врозь.

С тобой, Василий Федорыч,
Запросит пить любой.
А я, Василий Федорыч,
Я ж рядом шел с тобой.
– Чистов, Прокофий Павлович,
Бобыльский бывший сын,
Не жук тебе на палочке,
А честный гражданин!
– А я стою на страже
Колхозного житья.
Кто скажет, кто докажет,
Что слабый сторож я?
А сын, читали сами,
На той границе он.
Оружьем и часами
За подвиг награжден.
Живу, горжусь сынами,
Тобой горжусь, зятек…
Постойте, пьет ли с нами
Товарищ Моргунок?..
Встает Никита над столом
И утирает бороду.
Один поклон.
Другой поклон —
На ту, на эту сторону.
– Раз надо, не стою:
Пью. Откровенно пью!..
– Пей, друг, и ешь досыта,
С людьми гуляй и пей!
– Да я ж, – кричит Никита, —
Не хуже всех людей!
– Гуляй с душой открытой,
Как гость среди гостей.
– Но конь, – кричит Никита, —
Эх, нет таких коней!
– Забудь, живи счастливо,
Не хуже кони есть!..
– Горек хлеб! Горько пиво!
Нельзя пить, нельзя есть.
– Горек мед! – кричат вокруг.
– Горько все! – деды решили.
Гармонист ударил вдруг…
– Дайте круг!
– Шире круг!
– Расступитесь!
– Шире!
Шире!

– Эх, дай на свободе
Разойтись сгоряча!..
Гармонист гармонь разводит
От плеча и до плеча.
Паренек чечетку точит,
Ходит задом наперед,
То присядет,
То подскочит,
То ладонью, между прочим,
По подметке
Попадет.
И поднесет ладонь к груди:
– Ходи, ходи!
Ходи, ходи!
Не скрывайся в хороводе,
Выходи —
И я с тобой!..
Гармонист ведет-выводит,
Помогает головой.
Выходит девочка бедовая,
Раздайся, хоровод!
Платье беленькое, новое
В два пальчика берет.
– Меня высватать хотели,
Не сумели убедить.
Не охота из артели
Даже замуж выходить.
А ты кто такой, молодчик? —
Я спрошу молодчика. —
Ты молодчик, да не летчик,
А мне надо летчика.
У колодца
Вода льется,
Подается по трубе.
Хорошо тебе живется,
Мне не хуже, чем тебе.
– Раздайся, хоровод:
Тимофеевна идет.
– Кому девки надоели,
Тот старуху подберет.
– Ничего про вас худого,
Девочки, не думала.
Отбить парня молодого
Одного надумала.
Эх, думала,
Подумала,
Веселые дела.

Дунула,
Плюнула,
Другого завела.
Бабий век —
Сорок лет.
Шестьдесят
Износу нет.
Если смерти не случится,
Проживу еще сто лет.
Эх, кума,
кума,
кума,
Я сама себе – сама.
Я сама себе обновку
Праздничную справила.
Я за двадцать лет коровку
На дворе поставила.
Дед стар,
стар,
стар, —
Заплетаться стал.
Никуда он не годится:
Целоваться перестал.
Проведу его, злодея,
Накажу кудлатого:
Восьмерых сынов имею,
Закажу девятого.
– Раздайся, хоровод:
Моргунок плясать идет.
Он сам идти не хочет,
Бабка за полу ведет.
Бабка задом отступает,
Заводило знак дает.
Батька сына вызывает,
Выступает наперед.
Вышли биться
Насовсем.
Батьке – тридцать,
Сыну – семь.
Батька – щелком,
Батька дробью,
Батька с вывертом пошел,
Сын за батькой исподлобья
Наблюдает, как большой.
Батька кругом,
Сын волчком,
Не уступает нипочем.

А батька – рядом,
Сын вокруг,
И не дается на испуг.
А батька – этак,
Сын вот так,
И не отходит ни на шаг.
И оба пляшут от души,
И оба вместе хороши,
И оба – в шутку и всерьез,
И оба дороги до слез.
И расстаются, как друзья…
Ах, надо б лучше, да нельзя!..
И вот еще не стихнул пол
Под крепкой дробью ног, —
То ль нищий, то ли гость взошел
Тихонько на порог.
На нем поповский балахон
Подрезан и подшит.
Зовет хозяйку в сени он,
Хлопочет и спешит.
Толкуют гости: кто такой?
Портной ли, коновал?..
У палисада серый конь
На привязи стоял.
Идет к гостям старуха мать,
Не поднимает глаз:
– Проезжий батюшка. Венчать
Согласен хоть сейчас.
Подсела робко к старику:
– Ругать повремени.
На яйца, говорит, могу,
Могу – на трудодни.
И вдруг без шапки на порог
Метнулся Моргунок.
С крыльца на двор простукал вниз.
Бегом, как из огня…
И, повод оборвав, повис
На шее у коня.

Глава 19

От стороны, что всех родней,
За тридевять земель,
Знакомым скрипом вдруг о ней
Напомнит журавель.
Листвой и яблоками сад
Повеет на заре,

И петухи проголосят,
Как дома на дворе.
И свет такой, и дым такой,
И запахи родны,
Лишь солнце будто бы с другой
Восходит стороны…
И едет, едет, едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон,
И сверху – облака.
Поют над полем провода,
И впереди – вдали —
Встают большие города,
Как в море корабли.
Поют над полем провода,
Понуро конь идет.
Растут хлеба. Бредут стада.
В степи дымит завод.
– Что, конь, не малый мы с тобой
По свету дали крюк?..
По той, а может, не по той
Дороге едем, друг?..
Не видно – близко ль, далеко ль,
Куда держать, чудак?
Не знаю, конь. Гадаю, конь.
Кидаю так и так…
Посмотришь там, посмотришь тут,
Что хочешь – выбирай:
Где люди веселей живут,
Тот вроде лучше край…
Кладет Никита на ладонь
Всю жизнь, тоску и боль…
– Не знаю, конь. Гадаю, конь.
И нам решаться, что ль?..
За днем – в пути – проходит ночь,
Проходит день второй…
И вот на третий день точь-в-точь
В лощинке под горой
Глядит и видит в стороне
Никита Моргунок:
Сидит старик на белом пне
С котомкою у ног.
У старика суровый вид,
Почтенные лета,
Дубовый посох шляпкой сбит,
Как ручка долота.
Сидит старик, глядит молчком…

Занятно Моргунку:
– На лавру, что ли, прямиком
Стучишь по холодку?
И дед неспешно отвечал,
На разговор тяжел:
– Как раз на лавру путь держал,
Однако не дошел.
– Тпру, конь!.. Да как случилось, дед,
Что ты бредешь назад? —
А пеший конному в ответ:
– Не то бывает, брат.
Сквозь города, сквозь села шел,
Упрям, дебел и стар,
Один, остатний богомол,
Ходок к святым местам.
И вот в пути, в дороге дед
Был помыслом смущен:
– Что ж бог! Его не то чтоб нет,
Да не у власти он.
– А не слыхал ли, старина,
Скажи ты к слову мне,
Скажи, Муравская страна
В которой стороне?..
И отвечает богомол:
– Ишь, ты шутить мастак.
Страны Муравской нету, мол.
– Как так?
– А просто так.
Была Муравская страна,
И нету таковой.
Пропала, заросла она
Травою-муравой.
В один конец,
В другой конец
Открытый путь пролег…
– Так, говоришь, в колхоз, отец? —
Вдруг молвил Моргунок.
– По мне – верней;
Тебе – видней:
По воле действуй по своей…
– Нет, что уж думать, – говорит
Печально Моргунок. —
Все сроки вышли. Конь подбит…
Не пустят на порог.
Объехал, скажут, полстраны,
К готовому пришел…
– Для интересу взять должны, —

Толкует богомол.
– А что ты думаешь, родной! —
Повеселел ездок. —
Ну, посмеются надо мной,
А смех – он людям впрок.
Зато мне все теперь видней
На тыщи верст кругом.
Одно вот – уйму трудодней
Проездил я с конем…
– Прощай пока! – поднялся дед. —
Спешу и я, сынок…
И долго, долго смотрит вслед
Никита Моргунок.

1934–1936

Василий Теркин Книга про бойца

От автора

На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет простой, природной
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-подо льда, —
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б – вода.
На войне, в быту суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под хвойным кровом,
На стоянке полевой, —
Лучше нет простой, здоровой,
Доброй пищи фронтовой.
Важно только, чтобы повар
Был бы повар – парень свой;
Чтобы числился недаром,
Чтоб подчас не спал ночей, —
Лишь была б она с наваром
Да была бы с пылу, с жару —
Подобрей, погорячей;
Чтоб идти в любую драку,
Силу чувствуя в плечах,
Бодрость чувствуя.
Однако
Дело тут не только в щах.
Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.
Не прожить, как без махорки,
От бомбежки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой —
Без тебя, Василий Теркин,
Вася Теркин – мой герой,
А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,

Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.
Что ж еще?.. И все, пожалуй.
Словом, книга про бойца
Без начала, без конца.
Почему так – без начала?
Потому, что сроку мало
Начинать ее сначала.
Почему же без конца?
Просто жалко молодца.
С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой,
Я забыть того не вправе,
Чем твоей обязан славе,
Чем и где помог ты мне.
Делу время, час забаве,
Дорог Теркин на войне.
Как же вдруг тебя покину?
Старой дружбы верен счет.
Словом, книгу с середины
И начнем. А там пойдет.

На привале

– Дельный, что и говорить,
Был старик тот самый,
Что придумал суп варить
На колесах прямо.
Суп – во-первых. Во-вторых,
Кашу в норме прочной.
Нет, старик он был старик
Чуткий – это точно.
Слышь, подкинь еще одну
Ложечку такую,
Я вторую, брат, войну
На веку воюю.
Оцени, добавь чуток.
Покосился повар:
«Ничего себе едок —
Парень этот новый».
Ложку лишнюю кладет,
Молвит несердито:
– Вам бы, знаете, во флот
С вашим аппетитом.

Тот: – Спасибо. Я как раз
Не бывал во флоте.
Мне бы лучше, вроде вас,
Поваром в пехоте. —
И, усевшись под сосной,
Кашу ест, сутулясь.
«Свой?» – бойцы между собой, —
«Свой!» – переглянулись.
И уже, пригревшись, спал
Крепко полк усталый.
В первом взводе сон пропал,
Вопреки уставу.
Привалясь к стволу сосны,
Не щадя махорки,
На войне насчет войны
Вел беседу Теркин.
– Вам, ребята, с серединки
Начинать. А я скажу:
Я не первые ботинки
Без починки здесь ношу.
Вот вы прибыли на место,
Ружья в руки – и воюй.
А кому из вас известно,
Что такое сабантуй?
– Сабантуй – какой-то праздник?
Или что там – сабантуй?
– Сабантуй бывает разный,
А не знаешь – не толкуй,
Вот под первою бомбежкой
Полежишь с охоты в лежку,
Жив остался – не горюй:
Это малый сабантуй.
Отдышись, покушай плотно,
Закури и в ус не дуй.
Хуже, брат, как минометный
Вдруг начнется сабантуй.
Тот проймет тебя поглубже, —
Землю-матушку целуй.
Но имей в виду, голубчик,
Это – средний сабантуй.
Сабантуй – тебе наука,
Враг лютует – сам лютуй.
Но совсем иная штука
Это – главный сабантуй.
Парень смолкнул на минуту,
Чтоб прочистить мундштучок,
Словно исподволь кому-то

Подмигнул: держись, дружок…
– Вот ты вышел спозаранку,
Глянул – в пот тебя и в дрожь:
Прут немецких тыща танков…
– Тыща танков? Ну, брат, врешь..
– А с чего мне врать, дружище?
Рассуди – какой расчет?
– Но зачем же сразу – тыща?
– Хорошо. Пускай пятьсот.
– Ну, пятьсот. Скажи по чести,
Не пугай, как старых баб.
– Ладно. Что там триста, двести —
Повстречай один хотя б…
– Что ж, в газетке лозунг точен:
Не беги в кусты да в хлеб.
Танк – он с виду грозен очень,
А на деле глух и слеп.
– То-то слеп. Лежишь в канаве,
А на сердце маята:
Вдруг как сослепу задавит, —
Ведь не видит ни черта.
Повторить согласен снова:
Что не знаешь – не толкуй.
Сабантуй – одно лишь слово —
Сабантуй!.. Но сабантуй
Может в голову ударить,
Или попросту, в башку.
Вот у нас один был парень…
Дайте, что ли, табачку.
Балагуру смотрят в рот,
Слово ловят жадно.
Хорошо, когда кто врет
Весело и складно.
В стороне лесной, глухой,
При лихой погоде,
Хорошо, как есть такой
Парень на походе.
И несмело у него
Просят: – Ну-ка, на ночь
Расскажи еще чего,
Василий Иваныч…
Ночь глуха, земля сыра.
Чуть костер дымится.
– Нет, ребята, спать пора,
Начинай стелиться.
К рукаву припав лицом,
На пригретом взгорке

Меж товарищей бойцов
Лег Василий Теркин.
Тяжела, мокра шинель,
Дождь работал добрый.
Крыша – небо, хата – ель,
Корни жмут под ребра.
Но не видно, чтобы он
Удручен был этим,
Чтобы сон ему не в сон
Где-нибудь на свете.
Вот он полы подтянул,
Укрывая спину,
Чью-то тещу помянул,
Печку и перину.
И приник к земле сырой,
Одолен истомой,
И лежит он, мой герой,
Спит себе, как дома.
Спит – хоть голоден, хоть сыт,
Хоть один, хоть в куче.
Спать за прежний недосып,
Спать в запас научен.
И едва ль герою снится
Всякой ночью тяжкий сон:
Как от западной границы
Отступал к востоку он;
Как прошел он, Вася Теркин,
Из запаса рядовой,
В просоленной гимнастерке
Сотни верст земли родной.
До чего земля большая,
Величайшая земля.
И была б она чужая,
Чья-нибудь, а то – своя.
Спит герой, храпит – и точка.
Принимает все, как есть.
Ну, своя – так это ж точно.
Ну, война – так я же здесь.
Спит, забыв о трудном лете.
Сон, забота, не бунтуй.
Может, завтра на рассвете
Будет новый сабантуй.
Спят бойцы, как сон застал,
Под сосною впóкат,
Часовые на постах
Мокнут одиноко.
Зги не видно. Ночь вокруг.

И бойцу взгрустнется.
Только что-то вспомнит вдруг,
Вспомнит, усмехнется.
И как будто сон пропал,
Смех прогнал зевоту.
– Хорошо, что он попал,
Теркин, в нашу роту.

*** * ***

Теркин – кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.
Впрочем, парень хоть куда.
Парень в этом роде
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе.
И чтоб знали, чем силен,
Скажем откровенно:
Красотою наделен
Не был он отменной,
Не высок, не то чтоб мал,
Но герой – героем.
На Карельском воевал —
За рекой Сестрою.
И не знаем почему, —
Спрашивать не стали, —
Почему тогда ему
Не дали медали.
С этой темы повернем,
Скажем для порядка:
Может, в списке наградном
Вышла опечатка.
Не гляди, что на груди,
А гляди, что впереди!
В строй с июня, в бой с июля,
Снова Теркин на войне.
– Видно, бомба или пуля
Не нашлась еще по мне.
Был в бою задет осколком,
Зажило – и столько толку.
Трижды был я окружен,
Трижды – вот он! – вышел вон.
И хоть было беспокойно —
Оставался невредим

Под огнем косым, трехслойным,
Под навесным и прямым.
И не раз в пути привычном,
У дорог, в пыли колонн,
Был рассеян я частично,
А частично истреблен…
Но, однако,
Жив вояка,
К кухне – с места, с места – в бой.
Курит, ест и пьет со смаком
На позиции любой.
Как ни трудно, как ни худо —
Не сдавай, вперед гляди,
Это присказка покуда,
Сказка будет впереди.

Перед боем

– Доложу хотя бы вкратце,
Как пришлось нам в счет войны
С тыла к фронту пробираться
С той, с немецкой стороны.
Как с немецкой, с той зарецкой
Стороны, как говорят,
Вслед за властью за советской,
Вслед за фронтом шел наш брат.
Шел наш брат, худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шел поротно и повзводно,
И компанией свободной,
И один, как перст, подчас.
Полем шел, лесною кромкой,
Избегая лишних глаз,
Подходил к селу в потемках,
И служил ему котомкой
Боевой противогаз.
Шел он, серый, бородатый,
И, цепляясь за порог,
Заходил в любую хату,
Словно чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог!
И по горькой той привычке,
Как в пути велела честь,
Он просил сперва водички,
А потом просил поесть.
Тетка – где ж она откажет?
Хоть какой, а все ж ты свой,

Ничего тебе не скажет,
Только всхлипнет над тобой,
Только молвит, провожая:
– Воротиться дай вам бог…
То была печаль большая,
Как брели мы на восток.
Шли худые, шли босые
В неизвестные края.
Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя!
Шли, однако. Шел и я…
Я дорогою постылой
Пробирался не один.
Человек нас десять было,
Был у нас и командир.
Из бойцов. Мужчина дельный,
Местность эту знал вокруг.
Я ж, как более идейный,
Был там как бы политрук.
Шли бойцы за нами следом,
Покидая пленный край.
Я одну политбеседу
Повторял:
– Не унывай.
Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы – не помрем.
Срок придет, назад вернемся,
Что отдали – все вернем.
Самого б меня спросили,
Ровно столько знал и я,
Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?
Командир шагал угрюмо,
Тоже, исподволь смотрю,
Что-то он все думал, думал…
– Брось ты думать, – говорю.
Говорю ему душевно.
Он в ответ и молвит вдруг:
– По пути моя деревня.
Как ты мыслишь, политрук?
Что ответить? Как я мыслю?
Вижу, парень прячет взгляд,
Сам поник, усы обвисли.
Ну, а чем он виноват,
Что деревня по дороге,
Что душа заныла в нем?
Тут какой бы ни был строгий,

А сказал бы ты: «Зайдем…»
Встрепенулся ясный сокол,
Бросил думать, начал петь.
Впереди идет далеко,
Оторвался – не поспеть.
А пришли туда мы поздно,
И задами, коноплей,
Осторожный и серьезный,
Вел он всех к себе домой.
Вот как было с нашим братом,
Что попал домой с войны:
Заходи в родную хату,
Пробираясь вдоль стены.
Знай вперед, что толку мало
От родимого угла,
Что война и тут ступала,
Впереди тебя прошла,
Что тебе своей побывкой
Не порадовать жену:
Забежал, поспал урывком,
Догоняй опять войну…
Вот хозяин сел, разулся,
Руку правую – на стол,
Будто с мельницы вернулся,
С поля к ужину пришел.
Будто так, а все иначе…
– Ну, жена, топи-ка печь,
Всем довольствием горячим
Мне команду обеспечь.
Дети спят. Жена хлопочет,
В горький, грустный праздник свой,
Как ни мало этой ночи,
А и та – не ей одной.
Расторопными руками
Жарит, варит поскорей,
Полотенце с петухами
Достает, как для гостей.
Напоила, накормила,
Уложила на покой,
Да с такой заботой милой,
С доброй лаской такой,
Словно мы иной порою
Завернули в этот дом,
Словно были мы герои,
И не малые притом.
Сам хозяин, старший воин,
Что сидел среди гостей,

Вряд ли был когда доволен
Так хозяйкою своей.
Вряд ли всей она ухваткой
Хоть когда-нибудь была,
Как при этой встрече краткой,
Так родна и так мила.
И болел он, парень честный,
Понимал, отец семьи,
На кого в плену безвестном
Покидал жену с детьми…
Кончив сборы, разговоры,
Улеглись бойцы в дому.
Лег хозяин. Но не скоро
Подошла она к нему.
Тихо звякала посудой,
Что-то шила при огне.
А хозяин ждет оттуда,
Из угла.
Неловко мне.
Все товарищи уснули,
А меня не гнет ко сну.
Дай-ка лучше в карауле
На крылечке прикорну.
Взял шинель да, по присловью,
Смастерил себе постель,
Что под низ, и в изголовье,
И наверх, – и все – шинель.
Эх, суконная, казенная,
Военная шинель, —
У костра в лесу прожженная,
Отменная шинель.
Знаменитая, пробитая
В бою огнем врага
Да своей рукой зашитая, —
Кому не дорога!
Упадешь ли, как подкошенный,
Пораненный наш брат,
На шинели той поношенной
Снесут тебя в санбат.
А убьют – так тело мертвое
Твое с другими в ряд
Той шинелкою потертою
Укроют – спи, солдат!
Спи, солдат, при жизни краткой
Ни в дороге, ни в дому
Не пришлось поспать порядком
Ни с женой, ни одному…

На крыльцо хозяин вышел.
Той мне ночи не забыть.
– Ты чего?
– А я дровишек
Для хозяйки нарубить.
Вот не спится человеку,
Словно дома – на войне.
Зашагал на дровосеку,
Рубит хворост при луне.
Тюк да тюк. До света рубит.
Коротка солдату ночь.
Знать, жену жалеет, любит,
Да не знает, чем помочь.
Рубит, рубит. На рассвете
Покидает дом боец.
А под свет проснулись дети,
Поглядят – пришел отец.
Поглядят – бойцы чужие,
Ружья разные, ремни.
И ребята, как большие,
Словно поняли они.
И заплакали ребята.
И подумать было тут:
Может, нынче в эту хату
Немцы с ружьями войдут…
И доныне плач тот детский
В ранний час лихого дня
С той немецкой, с той зарецкой
Стороны зовет меня.
Я б мечтал не ради славы
Перед утром боевым,
Я б желал на берег правый,
Бой пройдя, вступить живым.
И скажу я без утайки,
Приведись мне там идти,
Я хотел бы к той хозяйке
Постучаться по пути.
Попросить воды напиться —
Не затем, чтоб сесть за стол,
А затем, чтоб поклониться
Доброй женщине простой.
Про хозяина ли спросит,
«Полагаю – жив, здоров».
Взять топор, шинелку сбросить,
Нарубить хозяйке дров.
Потому – хозяин-барин
Ничего нам не сказал.

Может, нынче землю парит,
За которую стоял…
Впрочем, что там думать, братцы,
Надо немца бить спешить.
Вот и все, что Теркин вкратце
Вам имеет доложить.

Переправа

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, —
Ни приметы, ни следа.
Ночью, первым из колонны,
Обломав у края лед,
Погрузился на понтоны.
Первый взвод.
Погрузился, оттолкнулся
И пошел. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
Третий следом за вторым.
Как плоты, пошли понтоны,
Громыхнул один, другой
Басовым, железным тоном,
Точно крыша под ногой.
И плывут бойцы куда-то,
Притаив штыки в тени.
И совсем свои ребята
Сразу – будто не они,
Сразу будто не похожи
На своих, на тех ребят:
Как-то все дружней и строже,
Как-то все тебе дороже
И родней, чем час назад.
Поглядеть – и впрямь – ребята!
Как, по правде, желторот,
Холостой ли он, женатый,
Этот стриженый народ.
Но уже идут ребята,
На войне живут бойцы,
Как когда-нибудь в двадцатом
Их товарищи – отцы.
Тем путем идут суровым,
Что и двести лет назад
Проходил с ружьем кремневым

Русский труженик-солдат.
Мимо их висков вихрастых,
Возле их мальчишьих глаз
Смерть в бою свистела часто
И минет ли в этот раз?
Налегли, гребут, потея,
Управляются с шестом.
А вода ревет правее —
Под подорванным мостом.
Вот уже на середине
Их относит и кружит…
А вода ревет в теснине,
Жухлый лед в куски крошит,
Меж погнутых балок фермы
Бьется в пене и в пыли…
А уж первый взвод, наверно,
Достает шестом земли.
Позади шумит протока,
И кругом – чужая ночь.
И уже он так далеко,
Что ни крикнуть, ни помочь.
И чернеет там зубчатый,
За холодною чертой,
Неподступный, непочатый
Лес над черною водой.
Переправа, переправа!
Берег правый, как стена…
Этой ночи след кровавый
В море вынесла волна.
Было так: из тьмы глубокой,
Огненный взметнув клинок,
Луч прожектора протоку
Пересек наискосок.
И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны – в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженых ребят…
И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно..
Под огнем неразбериха —
Где свои, где кто, где связь?
Только вскоре стало тихо, —
Переправа сорвалась.
И покамест неизвестно,
Кто там робкий, кто герой,

Кто там парень расчудесный,
А наверно, был такой.
Переправа, переправа…
Темень, холод. Ночь как год.
Но вцепился в берег правый,
Там остался первый взвод.
И о нем молчат ребята
В боевом родном кругу,
Словно чем-то виноваты,
Кто на левом берегу.
Не видать конца ночлегу.
За ночь грудою взялась
Пополам со льдом и снегом
Перемешанная грязь.
И усталая с похода,
Что б там ни было, – жива,
Дремлет, скорчившись, пехота,
Сунув руки в рукава.
Дремлет, скорчившись, пехота,
И в лесу, в ночи глухой
Сапогами пахнет, потом,
Мерзлой хвоей и махрой.
Чутко дышит берег этот
Вместе с теми, что на том
Под обрывом ждут рассвета,
Греют землю животом, —
Ждут рассвета, ждут подмоги,
Духом падать не хотят.
Ночь проходит, нет дороги
Ни вперед и ни назад…
А быть может, там с полночи
Порошит снежок им в очи,
И уже давно
Он не тает в их глазницах
И пыльцой лежит на лицах —
Мертвым все равно.
Стужи, холода не слышат,
Смерть за смертью не страшна,
Хоть еще паек им пишет
Первой роты старшина,
Старшина паек им пишет,
А по почте полевой
Не быстрей идут, не тише
Письма старые домой,
Что еще ребята сами
На привале при огне
Где-нибудь в лесу писали

Друг у друга на спине…
Из Рязани, из Казани,
Из Сибири, из Москвы —
Спят бойцы.
Свое сказали
И уже навек правы.
И тверда, как камень, груда,
Где застыли их следы…
Может – так, а может – чудо?
Хоть бы знак какой оттуда,
И беда б за полбеды.
Долги ночи, жестки зори
В ноябре – к зиме седой.
Два бойца сидят в дозоре
Над холодною водой.
То ли снится, то ли мнится,
Показалось что невесть,
То ли иней на ресницах,
То ли вправду что-то есть?
Видят – маленькая точка
Показалась вдалеке:
То ли чурка, то ли бочка
Проплывает по реке?
– Нет, не чурка и не бочка —
Просто глазу маята.
– Не пловец ли одиночка?
– Шутишь, брат. Вода не та!
– Да, вода… Помыслить страшно.
Даже рыбам холодна.
– Не из наших ли вчерашних
Поднялся какой со дна?..
Оба разом присмирели.
И сказал один боец:
– Нет, он выплыл бы в шинели,
С полной выкладкой, мертвец.
Оба здорово продрогли,
Как бы ни было, – впервой.
Подошел сержант с биноклем.
Присмотрелся: нет, живой.
– Нет, живой. Без гимнастерки.
– А не фриц? Не к нам ли в тыл?
– Нет. А может, это Теркин? —
Кто-то робко пошутил.
– Стой, ребята, не соваться,
Толку нет спускать понтон.
– Разрешите попытаться?
– Что пытаться!

– Братцы, – он!
И, у заберегов корку
Ледяную обломав,
Он как он, Василий Теркин,
Встал живой, – добрался вплавь.
Гладкий, голый, как из бани,
Встал, шатаясь тяжело.
Ни зубами, ни губами
Не работает – свело.
Подхватили, обвязали,
Дали валенки с ноги.
Пригрозили, приказали —
Можешь, нет ли, а беги.
Под горой, в штабной избушке,
Парня тотчас на кровать
Положили для просушки,
Стали спиртом растирать.
Растирали, растирали…
Вдруг он молвит, как во сне:
– Доктор, доктор, а нельзя ли
Изнутри погреться мне,
Чтоб не все на кожу тратить?
Дали стопку – начал жить,
Приподнялся на кровати:
– Разрешите доложить…
Взвод на правом берегу
Жив-здоров назло врагу!
Лейтенант всего лишь просит
Огоньку туда подбросить.
А уж следом за огнем
Встанем, ноги разомнем.
Что там есть, перекалечим,
Переправу обеспечим…
Доложил по форме, словно
Тотчас плыть ему назад.
– Молодец! – сказал полковник. —
Молодец! Спасибо, брат.
И с улыбкою неробкой
Говорит тогда боец:
– А еще нельзя ли стопку,
Потому как молодец?
Посмотрел полковник строго,
Покосился на бойца.
– Молодец, а будет много —
Сразу две.
– Так два ж конца…
Переправа, переправа!

Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

О войне

– Разрешите доложить
Коротко и просто:
Я большой охотник жить
Лет до девяноста.
А война – про все забудь
И пенять не вправе.
Собирался в дальний путь,
Дан приказ: «Отставить!»
Грянул год, пришел черед,
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за все на свете.
От Ивана до Фомы,
Мертвые ль, живые,
Все мы вместе – это мы,
Тот народ, Россия.
И поскольку это мы,
То скажу вам, братцы,
Нам из этой кутерьмы
Некуда податься.
Тут не скажешь: я – не я,
Ничего не знаю,
Не докажешь, что твоя
Нынче хата с краю.
Не велик тебе расчет
Думать в одиночку.
Бомба – дура. Попадет
Сдуру прямо в точку.
На войне себя забудь,
Помни честь, однако,
Рвись до дела – грудь на грудь,
Драка – значит, драка.
И признать не премину,
Дам свою оценку,
Тут не то, что в старину, —
Стенкою на стенку.
Тут не то, что на кулак:
Поглядим, чей дюже, —
Я сказал бы даже так:
Тут гораздо хуже…

Ну, да что о том судить, —
Ясно все до точки.
Надо, братцы, немца бить,
Не давать отсрочки.
Раз война – про все забудь
И пенять не вправе,
Собирался в долгий путь,
Дан приказ: «Отставить!»
Сколько жил – на том конец,
От хлопот свободен.
И тогда ты – тот боец,
Что для боя годен.
И пойдешь в огонь любой,
Выполнишь задачу.
И глядишь – еще живой
Будешь сам в придачу.
А застигнет смертный час,
Значит, номер вышел.
В рифму что-нибудь про нас
После нас напишут.
Пусть приврут хоть во сто крат,
Мы к тому готовы,
Лишь бы дети, говорят,
Были бы здоровы…

Теркин ранен

На могилы, рвы, канавы,
На клубки колючки ржавой,
На поля, холмы – дырявой,
Изувеченной земли,
На болотный лес корявый,
На кусты – снега легли.
И густой поземкой белой
Ветер поле заволок.
Вьюга в трубах обгорелых
Загудела у дорог.
И в снегах непроходимых
Эти мирные края
В эту памятную зиму
Орудийным пахли дымом,
Не людским дымком жилья.
И в лесах, на мерзлой груде,
По землянкам без огней,
Возле танков и орудий
И простуженных коней
На войне встречали люди

Долгий счет ночей и дней.
И лихой, нещадной стужи
Не бранили, как ни зла:
Лишь бы немцу было хуже,
О себе ли речь там шла!
И желал наш добрый парень:
Пусть померзнет немец-барин,
Немец-барин не привык,
Русский стерпит – он мужик.
Шумным хлопом рукавичным,
Топотней по целине
Спозаранку день обычный
Начинался на войне.
Чуть вился дымок несмелый,
Оживал костер с трудом,
В закоптелый бак гремела
Из ведра вода со льдом.
Утомленные ночлегом,
Шли бойцы из всех берлог
Греться бегом, мыться снегом,
Снегом жестким, как песок.
А потом – гуськом по стежке,
Соблюдая свой черед,
Котелки забрав и ложки,
К кухням шел за взводом взвод.
Суп досыта, чай до пота, —
Жизнь как жизнь.
И опять война – работа:
– Становись!

*** * ***

Вслед за ротой на опушку
Теркин движется с катушкой,
Разворачивает снасть, —
Приказали делать связь.
Рота головы пригнула.
Снег чернеет от огня.
Теркин крутит: – Тула, Тула!
Тула, слышишь ты меня?
Подмигнув бойцам украдкой:
Мол, у нас да не пойдет, —
Дунул в трубку для порядку,
Командиру подает.
Командиру все в привычку, —
Голос в горсточку, как спичку

Трубку книзу, лег бочком,
Чтоб поземкой не задуло.
Все в порядке.
– Тула, Тула,
Помогите огоньком…
Не расскажешь, не опишешь,
Что за жизнь, когда в бою
За чужим огнем расслышишь
Артиллерию свою.
Воздух круто завивая,
С недалекой огневой
Ахнет, ахнет полковая,
Запоет над головой.
А с позиций отдаленных,
Сразу будто бы не в лад,
Ухнет вдруг дивизионной
Доброй матушки снаряд.
И пойдет, пойдет на славу,
Как из горна, жаром дуть,
С воем, с визгом шепелявым
Расчищать пехоте путь,
Бить, ломать и жечь в окружку.
Деревушка? – Деревушку.
Дом – так дом. Блиндаж – блиндаж.
Врешь, не высидишь – отдашь!
А еще остался кто там,
Запорошенный песком?
Погоди, встает пехота,
Дай достать тебя штыком.
Вслед за ротою стрелковой
Теркин дальше тянет провод.
Взвод – за валом огневым,
Теркин с ходу – вслед за взводом,
Топит провод, точно в воду,
Жив-здоров и невредим.
Вдруг из кустиков корявых,
Взрытых, вспаханных кругом, —
Чох! – снаряд за вспышкой ржавой.
Теркин тотчас в снег – ничком.
Вдался вглубь, лежит – не дышит,
Сам не знает: жив, убит?
Всей спиной, всей кожей слышит,
Как снаряд в снегу шипит…
Хвост овечий – сердце бьется.
Расстается с телом дух.
«Что ж он, черт, лежит – не рвется,
Ждать мне больше недосуг».

Приподнялся – глянул косо.
Он почти у самых ног —
Гладкий, круглый, тупоносый,
И над ним – сырой дымок.
Сколько б душ рванул на выброс
Вот такой дурак слепой
Неизвестного калибра —
С поросенка на убой.
Оглянулся воровато,
Подивился – смех и грех:
Все кругом лежат ребята,
Закопавшись носом в снег.
Теркин встал, такой ли ухарь,
Отряхнулся, принял вид:
– Хватит, хлопцы, землю нюхать,
Не годится, – говорит.
Сам стоит с воронкой рядом
И у хлопцев на виду,
Обратясь к тому снаряду,
Справил малую нужду…
Видит Теркин погребушку —
Не оттуда ль пушка бьет?
Передал бойцам катушку:
– Вы – вперед. А я – в обход.
С ходу двинул в дверь гранатой.
Спрыгнул вниз, пропал в дыму.
– Офицеры и солдаты,
Выходи по одному!..
Тишина. Полоска света.
Что там дальше – поглядим.
Никого, похоже, нету.
Никого. И я один.
Гул разрывов, словно в бочке,
Отдается в глубине.
Дело дрянь: другие точки
Бьют по занятой. По мне.
Бьют неплохо, спору нету,
Добрым словом помяни
Хоть за то, что погреб этот
Прочно сделали они.
Прочно сделали, надежно —
Тут не то что воевать,
Тут, ребята, чай пить можно,
Стенгазету выпускать.
Осмотрелся, точно в хате:
Печка теплая в углу,
Вдоль стены идут полати,

Банки, склянки на полу.
Непривычный, непохожий
Дух обжитого жилья:
Табаку, одежи, кожи
И солдатского белья.
Снова сунутся? Ну что же,
В обороне нынче – я…
На прицеле вход и выход,
Две гранаты под рукой.
Смолк огонь. И стало тихо.
И идут – один, другой…
Теркин, стой. Дыши ровнее.
Теркин, ближе подпусти.
Теркин, целься. Бей вернее,
Теркин. Сердце, не части.
Рассказать бы вам, ребята,
Хоть не верь глазам своим,
Как немецкого солдата
В двух шагах видал живым.
Подходил он в чем-то белом,
Наклонившись от огня,
И как будто дело делал:
Шел ко мне – убить меня.
В этот ровик, точно с печки,
Стал спускаться на заду…
Теркин, друг, не дай осечки.
Пропадешь, – имей в виду.
За секунду до разрыва,
Знать, хотел подать пример;
Прямо в ровик спрыгнул живо
В полушубке офицер.
И поднялся незадетый,
Цельный. Ждем за косяком.
Офицер – из пистолета,
Теркин – в мягкое – штыком.
Сам присел, присел тихонько.
Повело его легонько.
Тронул правое плечо.
Ранен. Мокро. Горячо.
И рукой коснулся пола;
Кровь, – чужая иль своя?
Тут как даст вблизи тяжелый,
Аж подвинулась земля!
Вслед за ним другой ударил,
И темнее стало вдруг.
«Это – наши, – понял парень, —
Наши бьют, – теперь каюк».

Оглушенный тяжким гулом,
Теркин никнет головой.
Тула, Тула, что ж ты, Тула,
Тут же свой боец живой.
Он сидит за стенкой дзота,
Кровь течет, рукав набряк.
Тула, Тула, неохота
Помирать ему вот так.
На полу в холодной яме
Неохота нипочем
Гибнуть с мокрыми ногами,
Со своим больным плечом.
Жалко жизни той, приманки,
Малость хочется пожить,
Хоть погреться на лежанке,
Хоть портянки просушить…
Теркин сник. Тоска согнула.
Тула, Тула… Что ж ты, Тула?
Тула, Тула. Это ж я…
Тула… Родина моя!..

*** * ***

А тем часом издалека,
Глухо, как из-под земли,
Ровный, дружный, тяжкий рокот
Надвигался, рос. С востока
Танки шли.
Низкогрудый, плоскодонный,
Отягченный сам собой,
С пушкой, в душу наведенной,
Страшен танк, идущий в бой.
А за грохотом и громом,
За броней стальной сидят,
По местам сидят, как дома,
Трое-четверо знакомых
Наших стриженых ребят.
И пускай в бою впервые,
Но ребята – свет пройди,
Ловят в щели смотровые
Кромку поля впереди.
Видят – вздыбился разбитый,
Развороченный накат.
Крепко бито. Цель накрыта.
Ну, а вдруг как там сидят!
Может быть, притих до срока

У орудия расчет?
Развернись машина боком —
Бронебойным припечет.
Или немец с автоматом,
Лезть наружу не дурак,
Там следит за нашим братом,
Выжидает. Как не так.
Двое вслед за командиром
Вниз – с гранатой – вдоль стены.
Тишина. – Углы темны…
– Хлопцы, занята квартира, —
Слышат вдруг из глубины.
Не обман, не вражьи шутки,
Голос вправдашный, родной:
– Пособите. Вот уж сутки
Точка данная за мной…
В темноте, в углу каморки,
На полу боец в крови.
Кто такой? Но смолкнул Теркин,
Как там хочешь, так зови.
Он лежит с лицом землистым,
Не моргнет, хоть глаз коли.
В самый срок его танкисты
Подобрали, повезли.
Шла машина в снежной дымке,
Ехал Теркин без дорог.
И держал его в обнимку
Хлопец – башенный стрелок.
Укрывал своей одежей,
Грел дыханьем. Не беда,
Что в глаза его, быть может,
Не увидит никогда…
Свет пройди, – нигде не сыщешь,
Не случалось видеть мне
Дружбы той святей и чище,
Что бывает на войне.

О награде

– Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
На медаль. И то не к спеху.
Вот закончили б войну,
Вот бы в отпуск я приехал
На родную сторону.

Буду ль жив еще? – Едва ли.
Тут воюй, а не гадай.
Но скажу насчет медали:
Мне ее тогда подай.
Обеспечь, раз я достоин.
И понять вы все должны:
Дело самое простое —
Человек пришел с войны.
Вот пришел я с полустанка
В свой родимый сельсовет.
Я пришел, а тут гулянка.
Нет гулянки? Ладно, нет.
Я в другой колхоз и в третий —
Вся округа на виду.
Где-нибудь я в сельсовете
На гулянку попаду.
И, явившись на вечерку,
Хоть не гордый человек,
Я б не стал курить махорку,
А достал бы я «Казбек».
И сидел бы я, ребята,
Там как раз, друзья мои,
Где мальцом под лавку прятал
Ноги босые свои.
И дымил бы папиросой,
Угощал бы всех вокруг.
И на всякие вопросы
Отвечал бы я не вдруг.
– Как, мол, что? – Бывало всяко.
– Трудно все же? – Как когда.
– Много раз ходил в атаку?
– Да, случалось иногда.
И девчонки на вечерке
Позабыли б всех ребят,
Только слушали б девчонки,
Как ремни на мне скрипят.
И шутил бы я со всеми,
И была б меж них одна…
И медаль на это время
Мне, друзья, вот так нужна!
Ждет девчонка, хоть не мучай,
Слова, взгляда твоего…
– Но, позволь, на этот случай
Орден тоже ничего?
Вот сидишь ты на вечерке,
И девчонка – самый цвет.
– Нет, – сказал Василий Теркин

И вздохнул. И снова: – Нет.
Нет, ребята. Что там орден.
Не загадывая вдаль,
Я ж сказал, что я не гордый,
Я согласен на медаль.

*** * ***

Теркин, Теркин, добрый малый,
Что тут смех, а что печаль.
Загадал ты, друг, немало,
Загадал далеко вдаль.
Были листья, стали почки,
Почки стали вновь листвой.
А не носит писем почта
В край родной смоленский твой.
Где девчонки, где вечерки?
Где родимый сельсовет?
Знаешь сам, Василий Теркин,
Что туда дороги нет.
Нет дороги, нету права
Побывать в родном селе.
Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

Гармонь

По дороге прифронтовой,
Запоясан, как в строю,
Шел боец в шинели новой,
Догонял свой полк стрелковый,
Роту первую свою.
Шел легко и даже браво
По причине по такой,
Что махал своею правой,
Как и левою рукой.
Отлежался. Да к тому же
Щелкал по лесу мороз,
Защемлял в пути все туже,
Подгонял, под мышки нес.
Вдруг – сигнал за поворотом,
Дверцу выбросил шофер,
Тормозит:
– Садись, пехота,
Щеки снегом бы натер.

Далеко ль?
– На фронт обратно.
Руку вылечил.
– Понятно.
Не герой?
– Покамест нет.
– Доставай тогда кисет.
Курят, едут. Гроб – дорога.
Меж сугробами – туннель.
Чуть ли что, свернешь немного,
Кто свернул – снимай шинель.
– Хорошо – как есть лопата.
– Хорошо, а то беда.
– Хорошо – свои ребята.
– Хорошо, да как когда.
Грузовик гремит трехтонный,
Вдруг колонна впереди.
Будь ты пеший или конный,
А с машиной – стой и жди.
С толком пользуйся стоянкой.
Разговор – не разговор.
Наклонился над баранкой, —
Смолк шофер,
Заснул шофер.
Сколько суток полусонных,
Сколько верст в пурге слепой
На дорогах занесенных
Он оставил за собой…
От глухой лесной опушки
До невидимой реки —
Встали танки, кухни, пушки,
Тягачи, грузовики,
Легковые – криво, косо,
В ряд, не в ряд, вперед-назад,
Гусеницы и колеса
На снегу еще визжат.
На просторе ветер резок,
Зол мороз вблизи железа,
Дует в душу, входит в грудь —
Не дотронься как-нибудь.
– Вот беда: во всей колонне
Завалящей нет гармони,
А мороз – ни стать, ни сесть…
Снял перчатки, трет ладони,
Слышит вдруг:
– Гармонь-то есть.
Уминая снег зернистый,

Впеременку – пляс не пляс —
Возле танка два танкиста
Греют ноги про запас.
– У кого гармонь, ребята?
– Да она-то здесь, браток… —
Оглянулся виновато
На водителя стрелок.
– Так сыграть бы на дорожку?
– Да сыграть – оно не вред.
– В чем же дело? Чья гармошка?
– Чья была, того, брат, нет…
И сказал уже водитель
Вместо друга своего:
– Командир наш был любитель…
Схоронили мы его.
– Так… – С неловкою улыбкой
Поглядел боец вокруг,
Словно он кого ошибкой,
Нехотя обидел вдруг.
Поясняет осторожно,
Чтоб на том покончить речь:
– Я считал, сыграть-то можно,
Думал, что ж ее беречь.
А стрелок:
– Вот в этой башне
Он сидел в бою вчерашнем…
Трое – были мы друзья.
– Да нельзя так уж нельзя.
Я ведь сам понять умею,
Я вторую, брат, войну…
И ранение имею,
И контузию одну.
И опять же – посудите —
Может, завтра – с места в бой…
– Знаешь что, – сказал водитель, —
Ну, сыграй ты, шут с тобой.
Только взял боец трехрядку,
Сразу видно – гармонист.
Для началу, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.
Позабытый деревенский
Вдруг завел, глаза закрыв,
Стороны родной смоленской
Грустный памятный мотив…
И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало

На дороге фронтовой.
От машин заиндевелых
Шел народ, как на огонь.
И кому какое дело,
Кто играет, чья гармонь.
Только двое тех танкистов,
Тот водитель и стрелок,
Все глядят на гармониста —
Словно что-то невдомек.
Что-то чудится ребятам,
В снежной крутится пыли.
Будто виделись когда-то,
Словно где-то подвезли…
И, сменивши пальцы быстро,
Он, как будто на заказ,
Здесь повел о трех танкистах,
Трех товарищах рассказ.
Не про них ли слово в слово,
Не о том ли песня вся.
И потупились сурово
В шлемах кожаных друзья.
А боец зовет куда-то,
Далеко, легко ведет.
– Ах, какой вы все, ребята,
Молодой еще народ.
Я не то еще сказал бы, —
Про себя поберегу.
Я не так еще сыграл бы, —
Жаль, что лучше не могу.
Я забылся на минутку,
Заигрался на ходу,
И давайте я на шутку
Это все переведу.
Обогреться, потолкаться
К гармонисту все идут.
Обступают.
– Стойте, братцы,
Дайте на руки подуть.
– Отморозил парень пальцы, —
Надо помощь скорую.
– Знаешь, брось ты эти вальсы,
Дай-ка ту, которую…
И опять долой перчатку,
Оглянулся молодцом
И как будто ту трехрядку
Повернул другим концом.
И забыто – не забыто,

Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
И кому еще лежать.
И кому траву живому
На земле топтать потом,
До жены прийти, до дому, —
Где жена и где тот дом?
Плясуны на пару пара
С места кинулися вдруг.
Задышал морозным паром,
Разогрелся тесный круг.
– Веселей кружитесь, дамы!
На носки не наступать!
И бежит шофер тот самый,
Опасаясь опоздать.
Чей кормилец, чей поилец,
Где пришелся ко двору?
Крикнул так, что расступились:
– Дайте мне, а то помру!..
И пошел, пошел работать,
Наступая и грозя,
Да как выдумает что-то,
Что и высказать нельзя.
Словно в праздник на вечерке
Половицы гнет в избе,
Прибаутки, поговорки
Сыплет под ноги себе.
Подает за штукой штуку:
– Эх, жаль, что нету стуку,
Эх, друг,
Кабы стук,
Кабы вдруг —
Мощеный круг!
Кабы валенки отбросить,
Подковаться на каблук,
Припечатать так, чтоб сразу
Каблуку тому – каюк!
А гармонь зовет куда-то,
Далеко, легко ведет…
Нет, какой вы все, ребята,
Удивительный народ.
Хоть бы что ребятам этим,
С места – в воду и в огонь.
Все, что может быть на свете,
Хоть бы что – гудит гармонь.
Выговаривает чисто,
До души доносит звук.

И сказали два танкиста
Гармонисту:
– Знаешь, друг…
Не знакомы ль мы с тобою?
Не тебя ли это, брат,
Что-то помнится, из боя
Доставляли мы в санбат?
Вся в крови была одежа,
И просил ты пить да пить…
Приглушил гармонь:
– Ну что же,
Очень даже может быть.
– Нам теперь стоять в ремонте.
У тебя маршрут иной.
– Это точно…
– А гармонь-то,
Знаешь что, – бери с собой.
Забирай, играй в охоту,
В этом деле ты мастак,
Весели свою пехоту.
– Что вы, хлопцы, как же так?..
– Ничего, – сказал водитель, —
Так и будет. Ничего.
Командир наш был любитель,
Это – память про него…
И с опушки отдаленной
Из-за тысячи колес
Из конца в конец колонны:
«По машинам!» – донеслось.
И опять увалы, взгорки,
Снег да елки с двух сторон…
Едет дальше Вася Теркин, —
Это был, конечно, он.

Два солдата

В поле вьюга-завируха,
В трех верстах гудит война.
На печи в избе старуха,
Дед-хозяин у окна.
Рвутся мины. Звук знакомый
Отзывается в спине.
Это значит – Теркин дома,
Теркин снова на войне.
А старик как будто ухом
По привычке не ведет.
– Перелет! Лежи, старуха. —

Или скажет:
– Недолет…
На печи, забившись в угол,
Та следит исподтишка
С уважительным испугом
За повадкой старика,
С кем жила – не уважала,
С кем бранилась на печи,
От кого вдали держала
По хозяйству все ключи.
А старик, одевшись в шубу
И в очках подсев к столу,
Как от клюквы, кривит губы —
Точит старую пилу.
– Вот не режет, точишь, точишь,
Не берет, ну что ты хочешь!.. —
Теркин встал:
– А может, дед,
У нее развода нет?
Сам пилу берет:
– А ну-ка… —
И в руках его пила,
Точно поднятая щука,
Острой спинкой повела.
Повела, повисла кротко.
Теркин щурится:
– Ну, вот.
Поищи-ка, дед, разводку,
Мы ей сделаем развод.
Посмотреть – и то отрадно:
Завалящая пила
Так-то ладно, так-то складно
У него в руках прошла.
Обернулась – и готово.
– На-ко, дед, бери, смотри.
Будет резать лучше новой,
Зря инстру́мент не кори.
И хозяин виновато
У бойца берет пилу.
– Вот что значит мы, солдаты, —
Ставит бережно в углу.
А старуха:
– Слаб глазами.
Стар годами мой солдат.
Поглядел бы, что с часами,
С той войны еще стоят…
Снял часы, глядит: машина,

Точно мельница, в пыли.
Паутинами пружины
Пауки обволокли.
Их повесил в хате новой
Дед-солдат давным-давно:
На стене простой сосновой
Так и светится пятно.
Осмотрев часы детально, —
Все ж часы, а не пила, —
Мастер тихо и печально
Посвистел:
– Плохи дела…
Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, —
Что ты думаешь, – пошли!
Крутит стрелку, ставит пятый,
Час – другой, вперед – назад.
– Вот что значит мы, солдаты. —
Прослезился дед-солдат.
Дед растроган, а старуха,
Отслонив ладонью ухо,
С печки слушает:
– Идут!
Ну и парень, ну и шут…
Удивляется. А парень
Услужить еще не прочь.
– Может, сало надо жарить?
Так опять могу помочь.
Тут старуха застонала:
– Сало, сало! Где там сало…
Теркин:
– Бабка, сало здесь.
Не был немец – значит, есть!
И добавил, выжидая,
Глядя под ноги себе:
– Хочешь, бабка, угадаю,
Где лежит оно в избе?
Бабка охнула тревожно,
Завозилась на печи.
– Бог с тобою, разве можно…
Помолчи уж, помолчи.
А хозяин плутовато
Гостя под локоть тишком:
– Вот что значит мы, солдаты,
А ведь сало под замком.
Ключ старуха долго шарит,

Лезет с печки, сало жарит
И, страдая до конца,
Разбивает два яйца.
Эх, яичница! Закуски
Нет полезней и прочней.
Полагается по-русски
Выпить чарку перед ней.
– Ну, хозяин, понемножку,
По одной, как на войне.
Это доктор на дорожку
Для здоровья выдал мне.
Отвинтил у фляги крышку:
– Пей, отец, не будет лишку.
Поперхнулся дед-солдат.
Подтянулся:
– Виноват!..
Крошку хлебушка понюхал.
Пожевал – и сразу сыт.
А боец, тряхнув над ухом
Тою флягой, говорит:
– Рассуждая так ли, сяк ли,
Все равно такою каплей
Не согреть бойца в бою,
Будьте живы!
– Пейте.
– Пью…
И сидят они по-братски
За столом, плечо в плечо.
Разговор ведут солдатский,
Дружно спорят, горячо.
Дед кипит:
– Позволь, товарищ.
Что ты валенки мне хвалишь?
Разреши-ка доложить.
Хороши? А где сушить?
Не просушишь их в землянке,
Нет, ты дай-ка мне сапог,
Да суконные портянки
Дай ты мне – тогда я бог!
Снова где-то на задворках
Мерзлый грунт боднул снаряд.
Как ни в чем – Василий Теркин,
Как ни в чем – старик солдат.
– Эти штуки в жизни нашей, —
Дед расхвастался, – пустяк!
Нам осколки даже в каше
Попадались. Точно так.

Попадет, откинешь ложкой,
А в тебя – так и мертвец.
– Но не знали вы бомбежки,
Я скажу тебе, отец.
– Это верно, тут наука,
Тут напротив не попрешь.
А скажи, простая штука
Есть у вас?
– Какая?
– Вошь.
И, макая в сало коркой,
Продолжая ровно есть,
Улыбнулся вроде Теркин
И сказал
– Частично есть…
– Значит, есть? Тогда ты – воин,
Рассуждать со мной достоин.
Ты – солдат, хотя и млад,
А солдат солдату – брат.
И скажи мне откровенно,
Да не в шутку, а всерьез.
С точки зрения военной
Отвечай на мой вопрос.
Отвечай: побьем мы немца
Или, может, не побьем?
– Погоди, отец, наемся,
Закушу, скажу потом.
Ел он много, но не жадно,
Отдавал закуске честь,
Так-то ладно, так-то складно,
Поглядишь – захочешь есть.
Всю зачистил сковородку,
Встал, как будто вдруг подрос,
И платочек к подбородку,
Ровно сложенный, поднес.
Отряхнул опрятно руки
И, как долг велит в дому,
Поклонился и старухе
И солдату самому.
Молча в путь запоясался,
Осмотрелся – все ли тут?
Честь по чести распрощался,
На часы взглянул: идут!
Все припомнил, все проверил,
Подогнал и под конец
Он вздохнул у самой двери
И сказал:

– Побьем, отец…
В поле вьюга-завируха,
В трех верстах гремит война.
На печи в избе – старуха.
Дед-хозяин у окна.
В глубине родной России,
Против ветра, грудь вперед,
По снегам идет Василий
Теркин. Немца бить идет.

О потере

Потерял боец кисет,
Заискался, – нет и нет.
Говорит боец:
– Досадно.
Столько вдруг свалилось бед:
Потерял семью. Ну, ладно.
Нет, так на́ тебе – кисет!
Запропастился куда-то,
Хвать-похвать, пропал и след.
Потерял и двор и хату.
Хорошо. И вот – кисет.
Кабы годы молодые,
А не целых сорок лет…
Потерял края родные,
Все на свете и кисет.
Посмотрел с тоской вокруг:
– Без кисета, как без рук.
В неприютном школьном доме —
Мужики, не детвора.
Не за партой – на соломе,
Перетертой, как костра́.
Спят бойцы, кому досуг.
Бородач горюет вслух:
– Без кисета у махорки
Вкус не тот уже. Слаба!
Вот судьба, товарищ Теркин.
Теркин:
– Что там за судьба!
Так случиться может с каждым, —
Возразил бородачу, —
Не такой со мной однажды
Случай был. И то молчу.
И молчит, сопит сурово.
Кое-где привстал народ.
Из мешка из вещевого

Теркин шапку достает.
Просто шапку меховую,
Той подругу боевую,
Что сидит на голове.
Есть одна. Откуда две?
– Привезли меня на танке, —
Начал Теркин, – сдали с рук.
Только нет моей ушанки,
Непорядок чую вдруг.
И не то чтоб очень зябкий, —
Просто гордость у меня.
Потому, боец без шапки —
Не боец. Как без ремня.
А девчонка перевязку
Нежно делает, с опаской,
И, видать, сама она
В этом деле зелена.
– Шапку, шапку мне, иначе
Не поеду! – Вот дела.
Так кричу, почти что плачу,
Рана трудная была.
А она, девчонка эта,
Словно «баюшки-баю»:
– Шапки вашей, – молвит, – нету,
Я вам шапку дам свою.
Наклонилась и надела.
– Не волнуйтесь, – говорит
И своей ручонкой белой
Обкололась: был небрит.
Сколько в жизни всяких шапок
Я носил уже – не счесть,
Но у этой даже запах
Не такой какой-то есть…
– Ишь ты, выдумал примету.
– Слышал звон издалека.
– А зачем ты шапку эту
Сохраняешь?
– Дорога.
Дорога бойцу, как память.
А еще сказать могу
По секрету, между нами, —
Шапку с целью берегу.
И в один прекрасный вечер
Вдруг случится разговор:
«Разрешите вам при встрече
Головной вручить убор…»
Сам привстал Василий с места

И под смех бойцов густой,
Как на сцене, с важным жестом
Обратился будто к той,
Что пять слов ему сказала,
Что таких ребят, как он,
За войну перевязала,
Может, целый батальон.
– Ишь, какие знает речи,
Из каких политбесед:
«Разрешите вам при встрече…»
Вон тут что. А ты – кисет.
– Что ж, понятно, холостому
Много лучше на войне:
Нет тоски такой по дому,
По детишкам, по жене.
– Холостому? Это точно.
Это ты как угадал.
Но поверь, что я нарочно
Не женился. Я, брат, знал!
– Что ты знал! Кому другому
Знать бы лучше наперед,
Что уйдет солдат из дому,
А война домой придет.
Что пройдет она потопом
По лицу земли живой
И заставит рыть окопы
Перед самою Москвой.
Что ты знал!..
– А ты постой-ка,
Не гляди, что с виду мал,
Я не столько,
Не полстолько, —
Четверть столько! —
Только знал.
– Ничего, что я в колхозе,
Не в столице курс прошел.
Жаль, гармонь моя в обозе,
Я бы лекцию прочел.
Разреши одно отметить,
Мой товарищ и сосед:
Сколько лет живем на свете?
Двадцать пять! А ты – кисет.
Бородач под смех и гомон
Роет вновь труху-солому,
Перещупал все вокруг:
– Без кисета, как без рук…
– Без кисета, несомненно,

Ты боец уже не тот.
Раз кисет – предмет военный,
На-ко мой, не подойдет?
Принимай, я – добрый парень.
Мне не жаль. Не пропаду.
Мне еще пять штук подарят
В наступающем году.
Тот берет кисет потертый,
Как дитя, обновке рад…
И тогда Василий Теркин
Словно вспомнил:
– Слушай, брат,
Потерять семью не стыдно —
Не твоя была вина.
Потерять башку – обидно,
Только что ж, на то война.
Потерять кисет с махоркой,
Если некому пошить, —
Я не спорю, – тоже горько,
Тяжело, но можно жить,
Пережить беду-проруху,
В кулаке держать табак,
Но Россию, мать-старуху,
Нам терять нельзя никак.
Наши деды, наши дети,
Наши внуки не велят.
Сколько лет живем на свете?
Тыщу?.. Больше! То-то, брат!
Сколько жить еще на свете, —
Год, иль два, иль тыщи лет, —
Мы с тобой за все в ответе.
То-то, брат! А ты – кисет…

Поединок

Немец был силен и ловок,
Ладно скроен, крепко сшит,
Он стоял, как на подковах,
Не пугай – не побежит.
Сытый, бритый, береженый,
Дармовым добром кормленный,
На войне, в чужой земле
Отоспавшийся в тепле.
Он ударил, не стращая,
Бил, чтоб сбить наверняка.
И была как кость большая
В русской варежке рука…

Не играл со смертью в прятки, —
Взялся – бейся и молчи, —
Теркин знал, что в этой схватке
Он слабей: не те харчи.
Есть войны закон не новый:
В отступленье – ешь ты вдоволь,
В обороне – так ли сяк,
В наступленье – натощак.
Немец стукнул так, что челюсть
Будто вправо подалась.
И тогда боец, не целясь,
Хряснул немца промеж глаз.
И еще на снег не сплюнул
Первой крови злую соль,
Немец снова в санки сунул
С той же силой, в ту же боль.
Так сошлись, сцепились близко,
Что уже обоймы, диски,
Автоматы – к черту, прочь!
Только б нож и мог помочь.
Бьются двое в клубах пара,
Об ином уже не речь, —
Ладит Теркин от удара
Хоть бы зубы заберечь.
Но покуда Теркин санки
Сколько мог
В бою берег,
Двинул немец, точно штангой,
Да не в санки,
А под вздох.
Охнул Теркин: плохо дело,
Плохо, думает боец.
Хорошо, что легок телом —
Отлетел. А то б – конец…
Устоял – и сам с испугу
Теркин немцу дал леща,
Так что собственную руку
Чуть не вынес из плеча.
Черт с ней! Рад, что не промазал,
Хоть зубам не полон счет,
Но и немец левым глазом
Наблюденья не ведет.
Драка – драка, не игрушка!
Хоть огнем горит лицо,
Но и немец красной юшкой
Разукрашен, как яйцо.
Вот он – в полвершке – противник.

Носом к носу. Теснота.
До чего же он противный —
Дух у немца изо рта.
Злобно Теркин сплюнул кровью,
Ну и запах! Валит с ног.
Ах ты, сволочь, для здоровья,
Не иначе, жрешь чеснок!
Ты куда спешил – к хозяйке?
Матка, млеко? Матка, яйки?
Оказать решил нам честь?
Подавай! А кто ты есть,
Кто ты есть, что к нашей бабке
Заявился на порог,
Не спросясь, не скинув шапки
И не вытерши сапог?
Со старухой сладить в силе?
Подавай! Нет, кто ты есть,
Что должны тебе в России
Подавать мы пить и есть?
Не калека ли убогий,
Или добрый человек —
Заблудился
По дороге,
Попросился
На ночлег?
Добрым людям люди рады.
Нет, ты сам себе силен,
Ты наводишь
Свой порядок.
Ты приходишь —
Твой закон.
Кто ж ты есть? Мне толку нету,
Чей ты сын и чей отец.
Человек по всем приметам, —
Человек ты? Нет. Подлец!
Двое топчутся по кругу,
Словно пара на кругу,
И глядят в глаза друг другу:
Зверю – зверь и враг – врагу.
Как на древнем поле боя,
Грудь на грудь, что щит на щит, —
Вместо тысяч бьются двое,
Словно схватка все решит.
А вблизи от деревушки,
Где застал их свет дневной,
Самолеты, танки, пушки
У обоих за спиной.

Но до боя нет им дела,
И ни звука с тех сторон.
В одиночку – грудью, телом
Бьется Теркин, держит фронт.
На печальном том задворке,
У покинутых дворов
Держит фронт Василий Теркин,
В забытьи глотая кровь.
Бьется насмерть парень бравый,
Так что дым стоит сырой,
Словно вся страна-держава
Видит Теркина:
– Герой!
Что страна! Хотя бы рота
Видеть издали могла,
Какова его работа
И какие тут дела.
Только Теркин не в обиде.
Не затем на смерть идешь,
Чтобы кто-нибудь увидел.
Хорошо б. А нет – ну что ж…
Бьется насмерть парень бравый —
Так, как бьются на войне.
И уже рукою правой
Он владеет не вполне.
Кость гудит от раны старой,
И ему, чтоб крепче бить,
Чтобы слева класть удары,
Хорошо б левшою быть.
Бьется Теркин,
В драке зоркий,
Утирает кровь и пот.
Изнемог, убился Теркин,
Но и враг уже не тот.
Далеко не та заправка,
И побита морда вся,
Словно яблоко-полявка,
Что иначе есть нельзя.
Кровь – сосульками. Однако
В самый жар вступает драка.
Немец горд.
И Теркин горд.
– Раз ты пес, так я – собака,
Раз ты черт,
Так сам я – черт!
Ты не знал мою натуру,
А натура – первый сорт.

В клочья шкуру —
Теркин чуру
Не попросит. Вот где черт!
Кто одной боится смерти —
Кто плевал на сто смертей.
Пусть ты черт. Да наши черти
Всех чертей
В сто раз чертей.
Бей, не милуй. Зубы стисну,
А убьешь, так и потом
На тебе, как клещ, повисну,
Мертвый буду на живом.
Отоспись на мне, будь ласков,
Да свали меня вперед.
Ах, ты вон как! Драться каской?
Ну не подлый ли народ!
Хорошо же! —
И тогда-то,
Злость и боль забрав в кулак,
Незаряженной гранатой
Теркин немца – с левой – шмяк!
Немец охнул и обмяк…
Теркин ворот нараспашку,
Теркин сел, глотает снег,
Смотрит грустно, дышит тяжко, —
Поработал человек.
Хорошо, друзья, приятно,
Сделав дело, ко двору —
В батальон идти обратно
Из разведки поутру.
По земле ступать советской,
Думать – мало ли о чем!
Автомат нести немецкий,
Между прочим, за плечом.
«Языка» – добычу ночи, —
Что идет, куда не хочет,
На три шага впереди
Подгонять:
– Иди, иди…
Видеть, знать, что каждый встречный-
Поперечный – это свой.
Не знаком, а рад сердечно,
Что вернулся ты живой.
Доложить про все по форме,
Сдать трофеи не спеша.
А потом тебя покормят, —
Будет мерою душа.

Старшина отпустит чарку,
Строгий глаз в нее кося.
А потом у печки жаркой
Ляг, поспи. Война не вся.
Фронт налево, фронт направо,
И в февральской вьюжной мгле
Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

От автора

Сто страниц минуло в книжке,
Впереди – не близкий путь.
Стой-ка, брат. Без передышки
Невозможно. Дай вздохнуть.
Дай вздохнуть, возьми в догадку:
Что теперь, что в старину —
Трудно слушать по порядку
Сказку длинную одну
Все про то же – про войну.
Про огонь, про снег, про танки,
Про землянки да портянки,
Про портянки да землянки,
Про махорку и мороз…
Вот уж нынче повелось:
Рыбаку лишь о путине,
Печнику дудят о глине,
Леснику о древесине,
Хлебопеку о квашне,
Коновалу о коне,
А бойцу ли, генералу —
Не иначе – о войне.
О войне – оно понятно,
Что война. А суть в другом:
Дай с войны прийти обратно
При победе над врагом.
Учинив за все расплату,
Дай вернуться в дом родной
Человеку. И тогда-то
Сказки нет ему иной.
И тогда ему так сладко
Будет слушать по порядку
И подробно обо всем,
Что изведано горбом,
Что исхожено ногами,
Что испытано руками,

Что повидано в глаза
И о чем, друзья, покамест
Все равно – всего нельзя…
Мерзлый грунт долби, лопата,
Танк – дави, греми – граната,
Штык – работай, бомба – бей.
На войне душе солдата
Сказка мирная милей.
Друг-читатель, я ли спорю,
Что войны милее жизнь?
Да война ревет, как море,
Грозно в дамбу упершись.
Я одно скажу, что нам бы
Поуправиться с войной,
Отодвинуть эту дамбу
За предел земли родной.
А покуда край обширный
Той земли родной – в плену,
Я – любитель жизни мирной —
На войне пою войну.
Что ж еще? И все, пожалуй,
Та же книга про бойца,
Без начала, без конца,
Без особого сюжета,
Впрочем, правде не во вред.
На войне сюжета нету.
– Как так нету?
– Так вот, нет.
Есть закон – служить до срока,
Служба – труд, солдат – не гость.
Есть отбой – уснул глубоко,
Есть подъем – вскочил, как гвоздь.
Есть война – солдат воюет,
Лют противник – сам лютует.
Есть сигнал: вперед!.. – Вперед.
Есть приказ: умри!.. – Умрет.
На войне ни дня, ни часа
Не живет он без приказа,
И не может испокон
Без приказа командира
Ни сменить свою квартиру,
Ни сменить портянки он.
Ни жениться, ни влюбиться
Он не может, – нету прав,
Ни уехать за границу
От любви, как бывший граф.
Если в песнях и поется,

Разве можно брать в расчет,
Что герой мой у колодца,
У каких-нибудь ворот,
Буде случай подвернется,
Чью-то долю ущипнет?
А еще добавим к слову;
Жив-здоров герой пока,
Но отнюдь не заколдован
От осколка-дурака,
От любой дурацкой пули,
Что, быть может, наугад,
Как пришлось, летит вслепую,
Подвернулся, – точка, брат.
Ветер злой навстречу пышет,
Жизнь, как веточку, колышет,
Каждый день и час грозя.
Кто доскажет, кто дослышит —
Угадать вперед нельзя,
И до той глухой разлуки,
Что бывает на войне,
Рассказать еще о друге
Кое-что успеть бы мне,
Тем же ладом, тем же рядом,
Только стежкою иной.
Пушки к бою едут задом, —
Это сказано не мной.

«Кто стрелял?»

Отдымился бой вчерашний,
Высох пот, металл простыл.
От окопов пахнет пашней,
Летом мирным и простым.
В полверсте, в кустах – противник,
Тут шагам и пядям счет.
Фронт. Война. А вечер дивный
По полям пустым идет.
По следам страды вчерашней,
По немыслимой тропе;
По ничьей, помятой, зряшной
Луговой, густой траве;
По земле, рябой от рытвин,
Рваных ям, воронок, рвов,
Смертным зноем жаркой битвы
Опаленных у краев…
И откуда по пустому
Долетел, донесся звук,

Добрый, давний и знакомый
Звук вечерний. Майский жук!
И ненужной горькой лаской
Растревожил он ребят,
Что в росой покрытых касках
По окопчикам сидят,
И такой тоской родною
Сердце сразу обволок!
Фронт, война. А тут иное:
Выводи коней в ночное,
Торопись на «пятачок».
Отпляшись, а там сторонкой
Удаляйся в березняк,
Провожай домой девчонку
Да целуй – не будь дурак,
Налегке иди обратно,
Мать заждалася…
И вдруг —
Вдалеке возник невнятный,
Новый, ноющий, двукратный,
Через миг уже понятный
И томящий душу звук.
Звук тот самый, при котором
В прифронтовой полосе
Поначалу все шоферы
Разбегались от шоссе.
На одной постылой ноте
Ноет, воет, как в трубе.
И бежать при всей охоте
Не положено тебе.
Ты, как гвоздь, на этом взгорке
Вбился в землю. Не тоскуй.
Ведь – согласно поговорке —
Это малый сабантуй…
Ждут, молчат, глядят ребята,
Зубы сжав, чтоб дрожь унять.
И, как водится, оратор
Тут находится под стать,
С удивительной заботой
Подсказать тебе горазд:
– Вот сейчас он с разворота
И начнет. И жизни даст,
Жизни даст!
Со страшным ревом
Самолет ныряет вниз,
И сильнее нету слова
Той команды, что готова

На устах у всех;
– Ложись!..
Смерть есть смерть. Ее прихода
Все мы ждем по старине.
А в какое время года
Легче гибнуть на войне?
Летом солнце греет жарко,
И вступает в полный цвет
Все кругом. И жизни жалко
До зарезу. Летом – нет.
В осень смерть под стать картине,
В сон идет природа вся.
Но в грязи, в окопной глине
Вдруг загнуться? Нет, друзья…
А зимой – земля, как камень,
На два метра глубиной,
Привалит тебя комками, —
Нет уж, ну ее – зимой.
А весной, весной… Да где там,
Лучше скажем наперед:
Если горько гибнуть летом,
Если осенью – не мед,
Если в зиму дрожь берет,
То весной, друзья, от этой
Подлой штуки – душу рвет.
И какой ты вдруг покорный
На груди лежишь земной,
Заслонясь от смерти черной
Только собственной спиной.
Ты лежишь ничком, парнишка
Двадцати неполных лет.
Вот сейчас тебе и крышка,
Вот тебя уже и нет.
Ты прижал к вискам ладони,
Ты забыл, забыл, забыл,
Как траву щипали кони,
Что в ночное ты водил.
Смерть грохочет в перепонках,
И далек, далек, далек
Вечер тот и та девчонка,
Что любил ты и берег.
И друзей и близких лица,
Дом родной, сучок в стене…
Нет, боец, ничком молиться
Не годится на войне.
Нет, товарищ, зло и гордо,
Как закон велит бойцу,

Смерть встречай лицом к лицу,
И хотя бы плюнь ей в морду,
Если все пришло к концу…
Ну-ка, что за перемена?
То не шутки – бой идет.
Встал один и бьет с колена
Из винтовки в самолет.
Трехлинейная винтовка
На брезентовом ремне,
Да патроны с той головкой,
Что страшна стальной броне.
Бой неравный, бой короткий,
Самолет чужой, с крестом,
Покачнулся, точно лодка,
Зачерпнувшая бортом.
Накренясь, пошел по кругу,
Кувыркается над лугом, —
Не задерживай – давай,
В землю штопором въезжай!
Сам стрелок глядит с испугом:
Что наделал невзначай.
Скоростной, военный, черный,
Современный, двухмоторный —
Самолет – стальная снасть —
Ухнул в землю, завывая,
Шар земной пробить желая
И в Америку попасть.
– Не пробил, старался слабо.
– Видно, место прогадал.
– Кто стрелял? – звонят из штаба, —
Кто стрелял, куда попал?
Адъютанты землю роют,
Дышит в трубку генерал.
– Разыскать тотчас героя,
Кто стрелял?
А кто стрелял?
Кто не спрятался в окопчик,
Поминая всех родных,
Кто он – свой среди своих —
Не зенитчик и не летчик,
А герой – не хуже их?
Вот он сам стоит с винтовкой,
Вот поздравили его.
И как будто всем неловко —
Неизвестно отчего.
Виноваты, что ль, отчасти?
И сказал сержант спроста:

– Вот что значит парню счастье,
Глядь – и орден, как с куста!
Не промедливши с ответом,
Парень сдачу подает:
– Не горюй, у немца этот —
Не последний самолет…
С этой шуткой-поговоркой,
Облетевшей батальон,
Перешел в герои Теркин, —
Это был, понятно, он.

О герое

– Нет, поскольку о награде
Речь опять зашла, друзья,
То уже не шутки ради
Кое-что добавлю я.
Как-то в госпитале было.
День лежу, лежу второй.
Кто-то смотрит мне в затылок,
Погляжу, а то – герой.
Сам собой, сказать, – мальчишка,
Недолеток-стригунок.
И мутит меня мыслишка:
Вот он мог, а я не мог…
Разговор идет меж нами,
И спроси я с первых слов:
– Вы откуда родом сами —
Не из наших ли краев?
Смотрит он:
– А вы откуда? —
Отвечаю:
– Так и так,
Сам как раз смоленский буду,
Может, думаю, земляк?
Аж привстал герой:
– Ну что вы,
Что вы, – вскинул головой, —
Я как раз из-под Тамбова, —
И потрогал орден свой.
И умолкнул. И похоже,
Подчеркнуть хотел он мне,
Что таких, как он, не может
Быть в смоленской стороне;
Что уж так они вовеки
Различаются места,
Что у них ручьи и реки

И сама земля не та,
И полянки, и пригорки,
И козявки, и жуки…
И куда ты, Васька Теркин,
Лезешь сдуру в земляки!
Так ли, нет – сказать, – не знаю,
Только мне от мысли той
Сторона моя родная
Показалась сиротой,
Сиротинкой, что не видно
На народе, на кругу…
Так мне стало вдруг обидно, —
Рассказать вам не могу.
Это да, что я не гордый
По характеру, а все ж
Вот теперь, когда я орден
Нацеплю, скажу я: врешь!
Мы в землячество не лезем,
Есть свои у нас края.
Ты – тамбовский? Будь любезен.
А смоленский – вот он я,
Не иной какой, не энский,
Безымянный корешок,
А действительно смоленский,
Как дразнили нас, рожок.
Не кичусь родным я краем,
Но пройди весь белый свет —
Кто в рожки тебе сыграет
Так, как наш смоленский дед.
Заведет, задует сивая
Лихая борода:
Ты куда, моя красивая,
Куда идешь, куда…
И ведет, поет, заяривает —
Ладно, что без слов,
Со слезою выговаривает
Радость и любовь.
И за ту одну старинную
За музыку-рожок
В край родной дорогу длинную
Сто раз бы я прошел,
Мне не надо, братцы, ордена,
Мне слава не нужна,
А нужна, больна мне родина,
Родная сторона!

Генерал

Заняла война полсвета,
Стон стоит второе лето.
Опоясал фронт страну.
Где-то Ладога… А где-то
Дон – и то же на Дону…
Где-то лошади в упряжке
В скалах зубы бьют об лед…
Где-то яблоня цветет,
И моряк в одной тельняшке
Тащит степью пулемет…
Где-то бомбы топчут город,
Тонут на море суда…
Где-то танки лезут в горы,
К Волге двинулась беда…
Где-то будто на задворке,
Будто знать про то не знал,
На своем участке Теркин
В обороне загорал.
У лесной глухой речушки,
Что катилась вдоль войны,
После доброй постирушки
Поразвесил для просушки
Гимнастерку и штаны.
На припеке обнял землю.
Руки выбросил вперед
И лежит и так-то дремлет,
Может быть, за целый год.
И речушка – неглубокий
Родниковый ручеек —
Шевелит травой-осокой
У его разутых ног.
И курлычет с тихой лаской,
Моет камушки на дне.
И выходит не то сказка,
Не то песенка во сне.
Я на речке ноги вымою.
Куда, реченька, течешь?
В сторону мою, родимую,
Может, где-нибудь свернешь.
Может, где-нибудь излучиной
По пути зайдешь туда,
И под проволокой колючею
Проберешься без труда,
Меж немецкими окопами,
Мимо вражеских постов,
Возле пушек, в землю вкопанных,
Промелькнешь из-за кустов.

И тропой своей исконною
Протечешь ты там, как тут,
И ни пешие, ни конные
На пути не переймут,
Дотечешь дорогой кружною
До родимого села.
На мосту солдаты с ружьями,
Ты под мостиком прошла,
Там печаль свою великую,
Что без края и конца,
Над тобой, над речкой, выплакать,
Может, выйдет мать бойца.
Над тобой, над малой речкою,
Над водой, чей путь далек,
Послыхать бы хоть словечко ей,
Хоть одно, что цел сынок.
Помороженный, простуженный
Отдыхает он, герой,
Битый, раненый, контуженный,
Да здоровый и живой…
Теркин – много ли дремал он,
Землю-мать прижав к щеке, —
Слышит:
– Теркин, к генералу
На одной давай ноге.
Посмотрел, поднялся Теркин,
Тут связной стоит.
– Ну что ж,
Без штанов, без гимнастерки
К генералу не пойдешь.
Говорит, чудит, а все же
Сам, волнуясь и сопя,
Непросохшую одежу
Спешно пялит на себя.
Приросла к спине – не стронет..
– Теркин, сроку пять минут.
– Ничего. С земли не сгонят,
Дальше фронта не пошлют.
Подзаправился на славу,
И хоть знает наперед,
Что совсем не на расправу
Генерал его зовет, —
Все ж у главного порога
В генеральском блиндаже —
Был бы бог, так Теркин богу
Помолился бы в душе.
Шутка ль, если разобраться:

К генералу входишь вдруг, —
Генерал – один на двадцать,
Двадцать пять, а может статься,
И на сорок верст вокруг.
Генерал стоит над нами, —
Оробеть при нем не грех, —
Он не только что чинами,
Боевыми орденами,
Он годами старше всех.
Ты, обжегшись кашей, плакал,
Ты пешком ходил под стол,
Он тогда уж был воякой,
Он ходил уже в атаку,
Взвод, а то и роту вел.
И на этой половине —
У передних наших линий,
На войне – не кто как он
Твой ЦК и твой Калинин.
Суд. Отец. Глава. Закон.
Честью, друг, считай немалой,
Заработанной в бою,
Услыхать от генерала
Вдруг фамилию свою.
Знай: за дело, за заслугу
Жмет тебе он крепко руку
Боевой своей рукой.
– Вот, брат, значит, ты какой.
Богатырь. Орел. Ну, просто —
Воин! – скажет генерал.
И пускай ты даже ростом
И плечьми всего не взял,
И одет не для парада, —
Тут война – парад потом, —
Говорят: орел, так надо
И глядеть и быть орлом.
Стой, боец, с достойным видом,
Понимай, в душе имей:
Генерал награду выдал —
Как бы снял с груди своей —
И к бойцовской гимнастерке
Прикрепил немедля сам.
И ладонью:
– Вот, брат Теркин, —
По лихим провел усам.
В скобках надобно, пожалуй,
Здесь отметить, что усы,
Если есть у генерала,

То они не для красы.
На войне ли, на параде
Не пустяк, друзья, когда
Генерал усы погладил
И сказал хотя бы:
– Да…
Есть привычка боевая,
Есть минуты и часы…
И не зря еще Чапаев
Уважал свои усы.
Словом – дальше. Генералу
Показалось под конец,
Что своей награде мало
Почему-то рад боец.
Что ж, боец – душа живая,
На войне второй уж год…
И не каждый день сбивают
Из винтовки самолет.
Молодца и в самом деле
Отличить расчет прямой.
– Вот что, Теркин, на неделю
Можешь с орденом – домой…
Теркин – понял ли, не понял,
Иль не верит тем словам?
Только дрогнули ладони
Рук, протянутых по швам.
Про себя вздохнув глубоко,
Теркин тихо отвечал:
– На неделю мало сроку
Мне, товарищ генерал…
Генерал склонился строго:
– Как так мало? Почему?
– Потому – трудна дорога
Нынче к дому моему.
Дом-то вроде недалечко,
По прямой – пустяшный путь…
– Ну а что ж?
– Да я не речка;
Чтоб легко туда шмыгнуть.
Мне по крайности вначале
Днем соваться не с руки.
Мне идти туда ночами,
Ну, а ночи коротки…
Генерал кивнул:
– Понятно!
Дело с отпуском – табак. —
Пошутил:

– А как обратно
Ты пришел бы?..
– Точно ж так…
Сторона моя лесная,
Каждый кустик мне – родня.
Я пути такие знаю,
Что поди поймай меня!
Мне там каждая знакома
Бороздeнка под межой.
Я – смоленский. Я там дома.
Я там – свой, а он – чужой.
– Погоди-ка. Ты без шуток.
Ты бы вот что мне сказал…
И как будто в ту минуту
Что-то вспомнил генерал.
На бойца взглянул душевней
И сказал, шагнув к стене:
– Ну-ка, где твоя деревня?
Покажи по карте мне.
Теркин дышит осторожно
У начальства за плечом.
– Можно, – молвит, – это можно.
Вот он Днепр, а вот мой дом.
Генерал отметил точку.
– Вот что, Теркин, в одиночку
Не резон тебе идти.
Потерпи уж, дай отсрочку,
Нам с тобою по пути…
Отпуск точно, аккуратно
За тобой прошу учесть.
И боец сказал:
– Понятно. —
И еще добавил:
– Есть.
Встал по форме у порога,
Призадумался немного,
На секунду на одну…
Генерал усы потрогал
И сказал, поднявшись:
– Ну?..
Скольких он, над картой сидя,
Словом, подписью своей,
Перед тем в глаза не видя,
Посылал на смерть людей!
Что же, всех и не увидишь,
С каждым к росстаням не выйдешь,
На прощанье всем нельзя

Заглянуть тепло в глаза.
Заглянуть в глаза, как другу,
И пожать покрепче руку,
И по имени назвать,
И удачи пожелать,
И, помедливши минутку,
Ободрить старинной шуткой:
Мол, хотя и тяжело,
А, между прочим, ничего…
Нет, на всех тебя не хватит,
Хоть какой ты генерал.
Но с одним проститься кстати
Генерал не забывал.
Обнялись они, мужчины,
Генерал-майор с бойцом, —
Генерал – с любимым сыном,
А боец – с родным отцом.
И бойцу за тем порогом
Предстояла путь-дорога
На родную сторону,
Прямиком – через войну.

О себе

Я покинул дом когда-то,
Позвала дорога вдаль.
Не мала была утрата,
Но светла была печаль.
И годами с грустью нежной —
Меж иных любых тревог —
Угол отчий, мир мой прежний
Я в душе моей берег.
Да и не было помехи
Взять и вспомнить наугад
Старый лес, куда в орехи
Я ходил с толпой ребят.
Лес – ни пулей, ни осколком
Не пораненный ничуть,
Не порубленный без толку,
Без порядку как-нибудь;
Не корчеванный фугасом,
Не поваленный огнем,
Хламом гильз, жестянок, касок
Не заваленный кругом;
Блиндажами не изрытый,
Не обкуренный зимой,
Ни своими не обжитый,

Ни чужими под землей.
Милый лес, где я мальчонкой
Плел из веток шалаши,
Где однажды я теленка,
Сбившись с ног, искал в глуши…
Полдень раннего июня
Был в лесу, и каждый лист,
Полный, радостный и юный,
Был горяч, но свеж и чист.
Лист к листу, листом прикрытый,
В сборе лиственном густом
Пересчитанный, промытый
Первым за лето дождем.
И в глуши родной, ветвистой,
И в тиши дневной, лесной
Молодой, густой, смолистый,
Золотой держался зной.
И в спокойной чаще хвойной
У земли мешался он
С муравьиным духом винным
И пьянил, склоняя в сон.
И в истоме птицы смолкли…
Светлой каплею смола
По коре нагретой елки,
Как слеза во сне, текла…
Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край недавних детских лет,
Отчий край, ты есть иль нет?
Детства день, до гроба милый,
Детства сон, что сердцу свят,
Как легко все это было
Взять и вспомнить год назад.
Вспомнить разом что придется —
Сонный полдень над водой,
Дворик, стежку до колодца,
Где песочек золотой;
Книгу, читанную в поле,
Кнут, свисающий с плеча,
Лед на речке, глобус в школе
У Ивана Ильича…
Да и не было запрета,
Проездной купив билет,
Вдруг туда приехать летом,
Где ты не был десять лет…
Чтобы с лаской, хоть не детской,
Вновь обнять старуху мать,

Не под проволокой немецкой
Нужно было проползать.
Чтоб со взрослой грустью сладкой
Праздник встречи пережить —
Не украдкой, не с оглядкой
По родным лесам кружить.
Чтоб сердечным разговором
С земляками встретить день —
Не нужда была, как вору,
Под стеною прятать тень…
Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край, страдающий в плену!
Я приду – лишь дня не знаю,
Но приду, тебя верну.
Не звериным робким следом
Я приду, твой кровный сын, —
Вместе с нашею победой
Я иду, а не один.
Этот час не за горою,
Для меня и для тебя…
А читатель той порою
Скажет:
– Где же про героя?
Это больше про себя.
Про себя? Упрек уместный,
Может быть, меня пресек.
Но давайте скажем честно:
Что ж, а я не человек?
Спорить здесь нужды не вижу,
Сознавайся в чем в другом.
Я ограблен и унижен,
Как и ты, одним врагом.
Я дрожу от боли острой,
Злобы горькой и святой.
Мать, отец, родные сестры
У меня за той чертой.
Я стонать от боли вправе
И кричать с тоски клятой.
То, что я всем сердцем славил
И любил – за той чертой.
Друг мой, так же не легко мне,
Как тебе с глухой бедой.
То, что я хранил и помнил,
Чем я жил – за той, за той —
За неписаной границей,
Поперек страны самой,

Что горит, горит в зарницах
Вспышек – летом и зимой…
И скажу тебе, не скрою, —
В этой книге, там ли, сям,
То, что молвить бы герою,
Говорю я лично сам.
Я за все кругом в ответе,
И заметь, коль не заметил,
Что и Теркин, мой герой,
За меня гласит порой.
Он земляк мой и, быть может,
Хоть нимало не поэт,
Все же как-нибудь похоже
Размышлял. А нет, ну – нет.
Теркин – дальше. Автор – вслед.

Бой в болоте

Бой безвестный, о котором
Речь сегодня поведем,
Был, прошел, забылся скоро…
Да и вспомнят ли о нем?
Бой в лесу, в кустах, в болоте,
Где война стелила путь,
Где вода была пехоте
По колено, грязь – по грудь;
Где брели бойцы понуро,
И, скользнув с бревна в ночи,
Артиллерия тонула,
Увязали тягачи.
Этот бой в болоте диком
На втором году войны
Не за город шел великий,
Что один у всей страны;
Не за гордую твердыню,
Что у матушки-реки,
А за некий, скажем ныне,
Населенный пункт Борки.
Он стоял за тем болотом
У конца лесной тропы,
В нем осталось ровным счетом
Обгорелых три трубы.
Там с открытых и закрытых
Огневых – кому забыть! —
Было бито, бито, бито,
И, казалось, что там бить?
Там в щебенку каждый камень,

В щепки каждое бревно.
Называлось там Борками
Место черное одно.
А в окружку – мох, болото,
Край от мира в стороне.
И подумать вдруг, что кто-то
Здесь родился, жил, работал,
Кто сегодня на войне.
Где ты, где ты, мальчик босый,
Деревенский пастушок,
Что по этим дымным росам,
Что по этим кочкам шел?
Бился ль ты в горах Кавказа,
Или пал за Сталинград,
Мой земляк, ровесник, брат,
Верный долгу и приказу
Русский труженик-солдат.
Или, может, в этих дымах,
Что уже недалеки,
Видишь нынче свой родимый
Угол дедовский, Борки?
И у той черты недальной,
У земли многострадальной,
Что была к тебе добра,
Влился голос твой в печальный
И протяжный стон: «Ура-а…»
Как в бою удачи мало
И дела нехороши,
Виноватого, бывало,
Там попробуй поищи.
Артиллерия толково
Говорит – она права:
– Вся беда, что танки снова
В лес свернули по дрова.
А еще сложнее счеты,
Чуть танкиста повстречал:
– Подвела опять пехота.
Залегла. Пропал запал.
А пехота не хвастливо,
Без отрыва от земли
Лишь махнет рукой лениво:
– Точно. Танки подвели.
Так идет оно по кругу,
И ругают все друг друга,
Лишь в согласье все подряд
Авиацию бранят.
Все хорошие ребята,

Как посмотришь – красота.
И ничуть не виноваты,
И деревня не взята.
И противник по болоту,
По траншейкам торфяным
Садит вновь из минометов —
Что ты хочешь делай с ним.
Адреса разведал точно,
Шлет посылки спешной почтой,
И лежишь ты, адресат,
Изнывая, ждешь за кочкой,
Скоро ль мина влепит в зад.
Перемокшая пехота
В полный смак клянет болото,
Не мечтает о другом —
Хоть бы смерть, да на сухом.
Кто-нибудь еще расскажет,
Как лежали там в тоске.
Третьи сутки кукиш кажет
В животе кишка кишке.
Посыпает дождик редкий,
Кашель злой терзает грудь.
Ни клочка родной газетки —
Козью ножку завернуть;
И ни спичек, ни махорки —
Все раскисло от воды.
– Согласись, Василий Теркин,
Хуже нет уже беды?
Тот лежит у края лужи,
Усмехнулся:
– Нет, друзья,
Во сто раз бывает хуже,
Это точно знаю я.
– Где уж хуже…
– А не спорьте,
Кто не хочет, тот не верь,
Я сказал бы: на курорте
Мы находимся теперь.
И глядит шутник великий
На людей со стороны.
Губы – то ли от черники,
То ль от холода черны,
Говорит:
– В своем болоте
Ты находишься сейчас.
Ты в цепи. Во взводе. В роте.
Ты имеешь связь и часть.

Даже сетовать неловко
При такой, чудак, судьбе.
У тебя в руках винтовка,
Две гранаты при тебе.
У тебя – в тылу ль, на фланге, —
Сам не знаешь, как силен, —
Бронебойки, пушки, танки.
Ты, брат, – это батальон.
Полк. Дивизия. А хочешь —
Фронт. Россия! Наконец,
Я скажу тебе короче
И понятней: ты – боец.
Ты в строю, прошу усвоить,
А быть может, год назад
Ты бы здесь изведал, воин,
То, что наш изведал брат.
Ноги б с горя не носили!
Где свои, где чьи края?
Где тот фронт и где Россия?
По какой рубеж своя?
И однажды ночью поздно,
От деревни в стороне
Укрывался б ты в колхозной,
Например, сенной копне…
Тут, озноб вдувая в души,
Долгой выгнувшись дугой,
Смертный свист скатился в уши,
Ближе, ниже, суше, глуше —
И разрыв!
За ним другой…
– Ну, накрыл. Не даст дослушать
Человека.
– Он такой…
И за каждым тем разрывом
На примолкнувших ребят
Рваный лист, кружась лениво,
Ветки сбитые летят.
Тянет всех, зовет куда-то,
Уходи, беда вот-вот…
Только Теркин:
– Брось, ребята,
Говорю – не попадет.
Сам сидит как будто в кресле,
Всех страхует от огня.
– Ну, а если?..
– А уж если…
Получи тогда с меня.

Слушай лучше. Я серьезно
Рассуждаю о войне.
Вот лежишь ты в той бесхозной,
В поле брошенной копне.
Немец где? До ближней хаты
Полверсты – ни дать ни взять,
И приходят два солдата
В поле сена навязать.
Из копнушки вяжут сено,
Той, где ты нашел приют,
Уминают под колено
И поют. И что ж поют!
Хлопцы, верьте мне, не верьте,
Только врать не стал бы я,
А поют худые черти,
Сам слыхал: «Москва моя».
Тут состроил Теркин рожу
И привстал, держась за пень,
И запел весьма похоже,
Как бы немец мог запеть.
До того тянул он криво,
И смотрел при этом он
Так чванливо, так тоскливо,
Так чудно, – печенки вон!
– Вот и смех тебе. Однако
Услыхал бы ты тогда
Эту песню, – ты б заплакал
От печали и стыда.
И смеешься ты сегодня,
Потому что, знай, боец:
Этой песни прошлогодней
Нынче немец не певец.
– Не певец-то – это верно,
Это ясно, час не тот…
– А деревню-то, примерно,
Вот берем – не отдает.
И с тоскою бесконечной,
Что, быть может, год берег,
Кто-то так чистосердечно,
Глубоко, как мех кузнечный,
Вдруг вздохнул:
– Ого, сынок!
Подивился Теркин вздоху,
Посмотрел, – ну, ну! – сказал, —
И такой ребячий хохот
Всех опять в работу взял.
– Ах ты, Теркин. Ну и малый.

И в кого ты удался,
Только мать, наверно, знала…
– Я от тетки родился.
– Теркин – теткин, елки-палки,
Сыпь еще назло врагу.
– Не могу. Таланта жалко.
До бомбежки берегу.
Получай тогда на выбор,
Что имею про запас.
– И за то тебе спасибо.
– На здоровье. В добрый час.
Заключить теперь нельзя ли,
Что, мол, горе не беда,
Что ребята встали, взяли
Деревушку без труда?
Что с удачей постоянной
Теркин подвиг совершил:
Русской ложкой деревянной
Восемь фрицев уложил!
Нет, товарищ, скажем прямо:
Был он долог до тоски,
Летний бой за этот самый
Населенный пункт Борки.
Много дней прошло суровых,
Горьких, списанных в расход.
– Но позвольте, – скажут снова, —
Так о чем тут речь идет?
Речь идет о том болоте,
Где война стелила путь,
Где вода была пехоте
По колено, грязь – по грудь;
Где в трясине, в ржавой каше,
Безответно – в счет, не в счет —
Шли, ползли, лежали наши
Днем и ночью напролет;
Где подарком из подарков,
Как труды ни велики,
Не Ростов им был, не Харьков,
Населенный пункт Борки.
И в глуши, в бою безвестном,
В сосняке, в кустах сырых
Смертью праведной и честной
Пали многие из них.
Пусть тот бой не упомянут
В списке славы золотой,
День придет – еще повстанут
Люди в памяти живой.

И в одной бессмертной книге
Будут все навек равны —
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;
Кто за гордую твердыню,
Что у Волги у реки,
Кто за тот, забытый ныне,
Населенный пункт Борки.
И Россия – мать родная —
Почесть всем отдаст сполна.
Бой иной, пора иная,
Жизнь одна и смерть одна.

О любви

Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то…
Не подарок, так белье
Собрала, быть может,
И что дольше без нее,
То она дороже.
И дороже этот час,
Памятный, особый,
Взгляд последний этих глаз,
Что забудь попробуй.
Обойдись в пути большом,
Глупой славы ради,
Без любви, что видел в нем,
В том прощальном взгляде.
Он у каждого из нас
Самый сокровенный
И бесценный наш запас,
Неприкосновенный.
Он про всякий час, друзья,
Бережно хранится.
И с товарищем нельзя
Этим поделиться,
Потому – он мой, он весь —
Мой, святой и скромный,
У тебя он тоже есть,
Ты подумай, вспомни.
Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна
Женщина когда-то…

И приходится сказать,
Что из всех тех женщин,
Как всегда, родную мать
Вспоминают меньше.
И не принято родной
Сетовать напрасно, —
В срок иной, в любви иной
Мать сама была женой
С тем же правом властным.
Да, друзья, любовь жены, —
Кто не знал – проверьте, —
На войне сильней войны
И, быть может, смерти.
Ты ей только не перечь,
Той любви, что вправе
Ободрить, предостеречь,
Осудить, прославить.
Вновь достань листок письма,
Перечти сначала,
Пусть в землянке полутьма,
Ну-ка, где она сама
То письмо писала?
При каком на этот раз
Примостилась свете?
То ли спали в этот час,
То ль мешали дети,
То ль болела голова
Тяжко, не впервые,
Оттого, брат, что дрова
Не горят сырые?..
Впряжена в тот воз одна,
Разве не устанет?
Да зачем тебе жена
Жаловаться станет?
Жены думают, любя,
Что иное слово
Все ж скорей найдет тебя
На войне живого.
Нынче жены все добры,
Беззаветны вдосталь,
Даже те, что до поры
Были ведьмы просто.
Смех – не смех, случалось мне
С женами встречаться,
От которых на войне
Только и спасаться.
Чем томиться день за днем

С той женою-крошкой,
Лучше ползать под огнем
Или под бомбежкой.
Лучше, пять пройдя атак,
Ждать шестую в сутки…
Впрочем, это только так,
Только ради шутки.
Нет, друзья, любовь жены, —
Сотню раз проверьте, —
На войне сильней войны
И, быть может, смерти.
И одно сказать о ней
Вы б могли вначале:
Что короче, что длинней —
Та любовь, война ли?
Но, бестрепетно в лицо
Глядя всякой правде,
Я замолвил бы словцо
За любовь, представьте.
Как война на жизнь ни шла,
Сколько ни пахала,
Но любовь пережила
Срок ее немалый.
И недаром нету, друг,
Письмеца дороже,
Что из тех далеких рук,
Дорогих усталых рук
В трещинках по коже.
И не зря взываю я
К женам настоящим:
– Жены, милые друзья,
Вы пишите чаще.
Не ленитесь к письмецу
Приписать, что надо.
Генералу ли, бойцу,
Это – как награда.
Нет, товарищ, не забудь
На войне жестокой:
У войны короткий путь,
У любви – далекий.
И ее большому дню
Сроки близки ныне.
А к чему я речь клоню?
Вот к чему, родные.
Всех, кого взяла война,
Каждого солдата
Проводила хоть одна

Женщина когда-то…
Но хотя и жалко мне,
Сам помочь не в силе,
Что остался в стороне
Теркин мой Василий.
Не случилось никого
Проводить в дорогу.
Полюбите вы его,
Девушки, ей-богу!
Любят летчиков у нас,
Конники в почете.
Обратитесь, просим вас,
К матушке-пехоте!
Полюбите молодца,
Сердце подарите,
До победного конца
Верно полюбите!
Пусть тот конник на коне,
Летчик в самолете,
И, однако, на войне
Первый ряд – пехоте.
Пусть танкист красив собой
И горяч в работе,
А ведешь машину в бой —
Поклонись пехоте.
Пусть форсист артиллерист
В боевом расчете,
Отстрелялся – не гордись,
Дела суть – в пехоте.
Обойдите всех подряд,
Лучше не найдете:
Обратите нежный взгляд,
Девушки, к пехоте.

Отдых Теркина

На войне – в пути, в теплушке,
В тесноте любой избушки,
В блиндаже иль погребушке, —
Там, где случай приведет, —
Лучше нет, как без хлопот,
Без перины, без подушки,
Примостясь кой-как друг к дружке,
Отдохнуть… Минут шестьсот.
Даже больше б не мешало,
Но солдату на войне
Срок такой для сна, пожалуй,

Можно видеть лишь во сне.
И представь, что вдруг, покинув
В некий час передний край,
Ты с попутною машиной
Попадаешь прямо в рай.
Мы здесь вовсе не желаем
Шуткой той блеснуть спроста,
Что, мол, рай с передним краем
Это – смежные места.
Рай по правде. Дом. Крылечко.
Веник – ноги обметай.
Дальше – горница и печка.
Все, что надо. Чем не рай?
Вот и в книге ты отмечен,
Раздевайся, проходи.
И плечьми у теплой печи
На свободе поведи.
Осмотрись вокруг детально,
Вот в ряду твоя кровать.
И учти, что это – спальня,
То есть место – специально
Для того, чтоб только спать.
Спать, солдат, весь срок недельный,
Самолично, безраздельно
Занимать кровать свою,
Спать в сухом тепле постельном,
Спать в одном белье нательном,
Как положено в раю.
И по строгому приказу,
Коль тебе здесь быть пришлось,
Ты помимо сна обязан
Пищу в день четыре раза
Принимать. Но как? – вопрос.
Всех привычек перемена
Поначалу тяжела.
Есть в раю нельзя с колена,
Можно только со стола.
И никто в раю не может
Бегать к кухне с котелком,
И нельзя сидеть в одеже
И корежить хлеб штыком.
И такая установка
Строго-настрого дана,
Что у ног твоих винтовка
Находиться не должна.
И в ущерб своей привычке
Ты не можешь за столом

Утереться рукавичкой
Или – так вот – рукавом.
И когда покончишь с пищей,
Не забудь еще, солдат,
Что в раю за голенище
Ложку прятать не велят.
Все такие оговорки
Разобрав, поняв путем,
Принял в счет Василий Теркин
И решил:
– Не пропадем.
Вот обед прошел и ужин.
– Как вам нравится у нас?
– Ничего. Немножко б хуже,
То и было б в самый раз…
Покурил, вздохнул и на бок.
Как-то странно голове.
Простыня – пускай одна бы,
Нет, так на, мол, сразу две.
Чистота – озноб по коже,
И неловко, что здоров,
А до крайности похоже,
Будто в госпитале вновь.
Бережет плечо в кровати,
Головой не повернет.
Вот и девушка в халате
Совершает свой обход.
Двое справа, трое слева
К ней разведчиков тотчас.
А она, как королева:
Мол, одна, а сколько вас.
Теркин смотрит сквозь ресницы:
О какой там речь красе.
Хороша, как говорится,
В прифронтовой полосе.
Хороша, при смутном свете,
Дорога, как нет другой,
И видать, ребята эти
Отдохнули день, другой…
Сон-забвенье на пороге,
Ровно, сладко дышит грудь.
Ах, как холодно в дороге
У объезда где-нибудь!
Как прохватывает ветер,
Как луна теплом бедна!
Ах, как трудно все на свете:
Служба, жизнь, зима, война.

Как тоскует о постели
На войне солдат живой!
Что ж не спится в самом деле?
Не укрыться ль с головой?
Полчаса и час проходит,
С боку на бок, навзничь, ниц.
Хоть убейся – не выходит.
Все храпят, а ты казнись.
То ли жарко, то ли зябко,
Не понять, а сна все нет.
– Да надень ты, парень, шапку, —
Вдруг дают ему совет.
Разъясняют:
– Ты не первый,
Не второй страдаешь тут.
Поначалу наши нервы
Спать без шапки не дают.
И едва надел родимый
Головной убор солдат,
Боевой, пропахший дымом
И землей, как говорят, —
Тот, обношенный на славу
Под дождем и под огнем,
Что еще колючкой ржавой
Как-то прорван был на нем;
Тот, в котором жизнь проводишь,
Не снимая, – так хорош! —
И когда ко сну отходишь,
И когда на смерть идешь, —
Видит: нет, не зря послушал
Тех, что знали, в чем резон:
Как-то вдруг согрелись уши,
Как-то стало мягче, глуше —
И всего свернуло в сон.
И проснулся он до срока
С чувством редкостным – точь-в-точь
Словно где-нибудь далеко
Побывал за эту ночь;
Словно выкупался где-то,
Где – хоть вновь туда вернись —
Не зима была, а лето,
Не война, а просто жизнь.
И с одной ногой обутой,
Шапку снять забыв свою,
На исходе первых суток
Он задумался в раю.
Хороши харчи и хата,

Осуждать не станем зря,
Только, знаете, война-то
Не закончена, друзья.
Посудите сами, братцы,
Кто б чудней придумать мог:
Раздеваться, разуваться
На такой короткий срок.
Тут обвыкнешь – сразу крышка,
Чуть покинешь этот рай.
Лучше скажем: передышка.
Больше время не теряй.
Закусил, собрался, вышел,
Дело было на мази.
Грузовик идет, – заслышал,
Голосует:
– Подвези.
И, четыре пуда грузу
Добавляя по пути,
Через борт ввалился в кузов,
Постучал: давай, крути.
Ехал – близко ли, далеко —
Кому надо, вымеряй.
Только, рай, прощай до срока,
И опять – передний край.
Соскочил у поворота, —
Глядь – и дома, у огня.
– Ну, рассказывайте, что тут,
Как тут, хлопцы, без меня?
– Сам рассказывай. Кому же
Неохота знать тотчас,
Как там, что в раю у вас…
– Хорошо. Немножко б хуже,
Верно, было б в самый раз…
Хорошо поспал, богато,
Осуждать не станем зря.
Только, знаете, война-то
Не закончена, друзья.
Как дойдем до той границы
По Варшавскому шоссе,
Вот тогда, как говорится,
Отдохнем. И то не все.
А пока – в пути, в теплушке,
В тесноте любой избушки,
В блиндаже иль погребушке,
Где нам случай приведет, —
Лучше нет, как без хлопот,
Без перины, без подушки,

Примостясь плотней друг к дружке,
Отдохнуть.
А там – вперед.

В наступлении

Столько жили в обороне,
Что уже с передовой
Сами шли, бывало, кони,
Как в селе, на водопой.
И на весь тот лес обжитый,
И на весь передний край
У землянок домовитый
Раздавался песий лай.
И прижившийся на диво,
Петушок – была пора —
По утрам будил комдива,
Как хозяина двора.
И во славу зимних буден
В бане – пару не жалей —
Секлись вениками люди
Вязки собственной своей.
На войне, как на привале,
Отдыхали про запас,
Жили, «Теркина» читали
На досуге.
Вдруг – приказ…
Вдруг – приказ, конец стоянке.
И уж где-то далеки
Опустевшие землянки,
Сиротливые дымки.
И уже обыкновенно
То, что минул целый год,
Точно день. Вот так, наверно,
И война, и все пройдет…
И солдат мой поседелый,
Коль останется живой,
Вспомнит: то-то было дело,
Как сражались под Москвой…
И с печалью горделивой
Он начнет в кругу внучат
Свой рассказ неторопливый,
Если слушать захотят…
Трудно знать. Со стариками
Не всегда мы так добры.
Там посмотрим.
А покамест

Далеко до той поры.

*** * ***

Бой в разгаре. Дымкой синей
Серый снег заволокло.
И в цепи идет Василий,
Под огнем идет в село.
И до отчего порога,
До родимого села
Через то село дорога —
Не иначе – пролегла.
Что поделаешь – иному
И еще кружнее путь.
И идет иной до дому
То ли степью незнакомой,
То ль горами где-нибудь…
Низко смерть над шапкой свищет,
Хоть кого согнет в дугу.
Цепь идет, как будто ищет
Что-то в поле на снегу.
И бойцам, что помоложе,
Что впервые так идут,
В этот час всего дороже
Знать одно, что Теркин тут.
Хорошо – хотя ознобцем
Пронимает под огнем —
Не последним самым хлопцем
Показать себя при нем.
Толку нет, что в миг тоскливый,
Как снаряд берет разбег,
Теркин так же ждет разрыва,
Камнем кинувшись на снег;
Что над страхом меньше власти
У того в бою подчас,
Кто судьбу свою и счастье
Испытал уже не раз;
Что, быть может, эта сила
Уцелевшим из огня
Человека выносила
До сегодняшнего дня, —
До вот этой бороздинки,
Где лежит, вобрав живот,
Он, обшитый кожей тонкой
Человек. Лежит и ждет…
Где-то там, за полем бранным,

Думу думает свою
Тот, по чьим часам карманным
Все часы идут в бою.
И за всей вокруг пальбою,
За разрывами в дыму
Он следит, владыка боя,
И решает, что к чему.
Где-то там, в песчаной круче,
В блиндаже сухом, сыпучем,
Глядя в карту, генерал
Те часы свои достал;
Хлопнул крышкой, точно дверкой,
Поднял шапку, вытер пот…
И дождался, слышит Теркин:
– Взвод! За Родину! Вперед!..
И хотя слова он эти —
Клич у смерти на краю —
Сотни раз читал в газете
И не раз слыхал в бою, —
В душу вновь они вступали
С одинаковою той
Властью правды и печали,
Сладкой горечи святой;
С тою силой неизменной,
Что людей в огонь ведет,
Что за все ответ священный
На себя уже берет.
– Взвод! За Родину! Вперед!..
Лейтенант щеголеватый,
Конник, спешенный в боях,
По-мальчишечьи усатый,
Весельчак, плясун, казак,
Первым встал, стреляя с ходу,
Побежал вперед со взводом,
Обходя село с задов.
И пролег уже далеко
След его в снегу глубоком —
Дальше всех в цепи следов.
Вот уже у крайней хаты
Поднял он ладонь к усам:
– Молодцы! Вперед, ребята! —
Крикнул так молодцевато,
Словно был Чапаев сам.
Только вдруг вперед подался,
Оступился на бегу,
Четкий след его прервался
На снегу…

И нырнул он в снег, как в воду,
Как мальчонка с лодки в вир.
И пошло в цепи по взводу:
– Ранен! Ранен командир!..
Подбежали. И тогда-то,
С тем и будет не забыт,
Он привстал:
– Вперед, ребята!
Я не ранен. Я – убит…
Край села, сады, задворки —
В двух шагах, в руках вот-вот…
И увидел, понял Теркин,
Что вести его черед.
– Взвод! За Родину! Вперед!..
И доверчиво по знаку,
За товарищем спеша,
С места бросились в атаку
Сорок душ – одна душа…
Если есть в бою удача,
То в исходе все подряд
С похвалой, весьма горячей,
Друг о друге говорят..
– Танки действовали славно.
– Шли саперы молодцом.
– Артиллерия подавно
Не ударит в грязь лицом.
– А пехота!
– Как по нотам,
Шла пехота. Ну да что там!
Авиация – и та…
Словом, просто – красота.
И бывает так, не скроем,
Что успех глаза слепит:
Столько сыщется героев,
Что – глядишь – один забыт,
Но для точности примерной,
Для порядка генерал,
Кто в село ворвался первым,
Знать на месте пожелал.
Доложили, как обычно:
Мол, такой-то взял село,
Но не смог явиться лично,
Так как ранен тяжело.
И тогда из всех фамилий,
Всех сегодняшних имен —
Теркин – вырвалось – Василий!
Это был, конечно, он.

Смерть и воин

За далекие пригорки
Уходил сраженья жар.
На снегу Василий Теркин
Неподобранный лежал.
Снег под ним, набрякши кровью,
Взялся грудой ледяной.
Смерть склонилась к изголовью:
– Ну, солдат, пойдем со мной.
Я теперь твоя подруга,
Недалеко провожу,
Белой вьюгой, белой вьюгой,
Вьюгой след запорошу.
Дрогнул Теркин, замерзая
На постели снеговой.
– Я не звал тебя, Косая,
Я солдат еще живой.
Смерть, смеясь, нагнулась ниже:
– Полно, полно, молодец,
Я-то знаю, я-то вижу:
Ты живой, да не – жилец.
Мимоходом тенью смертной
Я твоих коснулась щек,
А тебе и незаметно,
Что на них сухой снежок.
Моего не бойся мрака,
Ночь, поверь, не хуже дня…
– А чего тебе, однако,
Нужно лично от меня?
Смерть как будто бы замялась,
Отклонилась от него.
– Нужно мне… такую малость,
Ну почти что ничего.
Нужен знак один согласья,
Что устал беречь ты жизнь,
Что о смертном молишь часе…
– Сам, выходит, подпишись? —
Смерть подумала.
– Ну что же, —
Подпишись, и на покой.
– Нет, уволь. Себе дороже.
– Не торгуйся, дорогой.
Все равно идешь на убыль. —
Смерть подвинулась к плечу. —
Все равно стянулись губы,
Стынут зубы…

– Не хочу.
– А смотри-ка, дело к ночи,
На мороз горит заря.
Я к тому, чтоб мне короче
И тебе не мерзнуть зря…
– Потерплю.
– Ну, что ты, глупый!
Ведь лежишь, всего свело.
Я б тебя тотчас тулупом,
Чтоб уже навек тепло.
Вижу, веришь. Вот и слезы,
Вот уж я тебе милей.
– Врешь, я плачу от мороза,
Не от жалости твоей.
– Что от счастья, что от боли —
Все равно. А холод лют.
Завилась поземка в поле.
Нет, тебя уж не найдут…
И зачем тебе, подумай,
Если кто и подберет.
Пожалеешь, что не умер
Здесь, на месте, без хлопот…
– Шутишь, Смерть, плетешь тенета. —
Отвернул с трудом плечо. —
Мне как раз пожить охота,
Я и не жил-то еще…
– А и встанешь, толку мало, —
Продолжала Смерть, смеясь. —
А и встанешь – все сначала:
Холод, страх, усталость, грязь…
Ну-ка, сладко ли, дружище,
Рассуди-ка в простоте.
– Что судить! С войны не взыщешь
Ни в каком уже суде.
– А тоска, солдат, в придачу;
Как там дома, что с семьей?
– Вот уж выполню задачу —
Кончу немца – и домой.
– Так. Допустим. Но тебе-то
И домой к чему прийти?
Догола земля раздета
И разграблена, учти.
Все в забросе.
– Я работник,
Я бы дома в дело вник.
– Дом разрушен.
– Я и плотник…

– Печки нету.
– И печник…
Я от скуки – на все руки,
Буду жив – мое со мной.
– Дай еще сказать старухе:
Вдруг придешь с одной рукой?
Иль еще каким калекой, —
Сам себе и то постыл…
И со Смертью Человеку
Спорить стало свыше сил.
Истекал уже он кровью,
Коченел. Спускалась ночь…
– При одном моем условье,
Смерть, послушай… я не прочь…
И, томим тоской жестокой,
Одинок, и слаб, и мал,
Он с мольбой, не то с упреком
Уговариваться стал:
– Я не худший и не лучший,
Что погибну на войне.
Но в конце ее, послушай,
Дашь ты на день отпуск мне?
Дашь ты мне в тот день последний,
В праздник славы мировой,
Услыхать салют победный,
Что раздастся над Москвой?
Дашь ты мне в тот день немножко
Погулять среди живых?
Дашь ты мне в одно окошко
Постучать в краях родных?
И как выйдут на крылечко, —
Смерть, а Смерть, еще мне там
Дашь сказать одно словечко?
Полсловечка?
– Нет. Не дам…
Дрогнул Теркин, замерзая
На постели снеговой.
– Так пошла ты прочь, Косая,
Я солдат еще живой.
Буду плакать, выть от боли,
Гибнуть в поле без следа,
Но тебе по доброй воле
Я не сдамся никогда.
– Погоди. Резон почище
Я найду, – подашь мне знак…
– Стой! Идут за мною. Ищут.
Из санбата.

– Где, чудак?
– Вон, по стежке занесенной…
Смерть хохочет во весь рот:
– Из команды похоронной.
– Все равно: живой народ.
Снег шуршит, подходят двое.
Об лопату звякнул лом.
– Вот еще остался воин.
К ночи всех не уберем.
– А и то устали за день,
Доставай кисет, земляк.
На покойничке присядем
Да покурим натощак.
– Кабы, знаешь, до затяжки —
Щей горячих котелок.
– Кабы капельку из фляжки.
– Кабы так – один глоток.
– Или два…
И тут, хоть слабо,
Подал Теркин голос свой:
– Прогоните эту бабу,
Я солдат еще живой.
Смотрят люди: вот так штука!
Видят: верно, – жив солдат.
– Что ты думаешь!
– А ну-ка,
Понесем его в санбат.
– Ну и редкостное дело, —
Рассуждают не спеша. —
Одно дело – просто тело,
А тут – тело и душа.
– Еле-еле душа в теле…
– Шутки, что ль, зазяб совсем.
А уж мы тебя хотели,
Понимаешь, в наркомзем…
– Не толкуй. Заждался малый.
Вырубай шинель во льду.
Поднимай.
А Смерть сказала:
– Я, однако, вслед пойду.
Земляки – они к работе
Приспособлены к иной.
Врете, мыслит, растрясете —
И еще он будет мой.
Два ремня да две лопаты,
Две шинели поперек.
– Береги, солдат, солдата.

– Понесли. Терпи, дружок.
Норовят, чтоб меньше тряски,
Чтоб ровнее как-нибудь,
Берегут, несут с опаской:
Смерть сторонкой держит путь.
А дорога – не дорога, —
Целина, по пояс снег.
– Отдохнули б вы немного,
Хлопцы…
– Милый человек, —
Говорит земляк толково, —
Не тревожься, не жалей.
Потому несем живого,
Мертвый вдвое тяжелей.
А другой:
– Оно известно.
А еще и то учесть,
Что живой спешит до места, —
Мертвый дома – где ни есть.
– Дело, стало быть, в привычке, —
Заключают земляки. —
Что ж ты, друг, без рукавички?
На-ко теплую, с руки…
И подумала впервые
Смерть, следя со стороны:
«До чего они, живые,
Меж собой свои – дружны.
Потому и с одиночкой
Сладить надобно суметь,
Нехотя даешь отсрочку».
И, вздохнув, отстала Смерть.

Теркин пишет

…И могу вам сообщить
Из своей палаты,
Что, большой любитель жить,
Выжил я, ребята.
И хотя натер бока,
Належался лежнем,
Говорят, зато нога
Будет лучше прежней.
И намерен я опять
Вскоре без подмоги
Той ногой траву топтать,
Встав на обе ноги…
Озабочен я сейчас

Лишь одной задачей,
Чтоб попасть в родную часть,
Никуда иначе.
С нею жил и воевал,
Курс наук усвоил.
Отступая, пыль глотал,
Наступая, снег черпал
Валенками воин.
И покуда что она
Для меня – солдата —
Все на свете, все сполна:
И родная сторона,
И семья, и хата.
И охота мне скорей
К ней в ряды вклиниться
И, дождавшись добрых дней,
По Смоленщине своей
Топать до границы.
Впрочем, даже суть не в том,
Я скажу точнее:
Доведись другим путем
До конца идти, – пойдем,
Где угодно, с нею!
Если ж пуля в третий раз
Клюнет насмерть, злая,
То по крайности средь вас,
Братцы, свой последний час
Встретить я желаю.
Только с этим мы спешить
Без нужды не станем.
Я большой любитель жить,
Как сказал заране.
И, поскольку я спешу
Повстречаться с вами,
Генералу напишу
Теми же словами.
Полагаю, генерал
Как-никак уважит, —
Он мне орден выдавал,
В просьбе не откажет.
За письмом, надеюсь, вслед
Буду сам обратно…
Ну и повару привет
От меня двукратный.
Пусть и впредь готовит так,
Заправляя жирно,
Чтоб в котле стоял черпак

По команде «смирно»…
И одним слова свои
Заключить хочу я:
Что великие бои,
Как погоду, чую.
Так бывает у коня
Чувство близкой свадьбы…
До того большого дня
Мне без палок встать бы!
Сплю скорей да жду вестей.
Все сказал до корки…
Обнимаю вас, чертей.
Ваш
Василий Теркин.

Теркин – Теркин

Чья-то печка, чья-то хата,
На дрова распилен хлев…
Кто назябся – дело свято,
Тому надо обогрев.
Дело свято – чья там хата,
Кто их нынче разберет.
Грейся, радуйся, ребята,
Сборный, смешанный народ.
На полу тебе солома,
Задремалось, так ложись.
Не у тещи, и не дома,
Не в раю, однако, жизнь.
Тот сидит, разувши ногу,
Приподняв, глядит на свет.
Всю ощупывает строго, —
Узнает – его иль нет.
Тот, шинель смахнув без страху,
Высоко задрав рубаху,
Прямо в печку хочет влезть.
– Не один ты, братец, здесь.
– Отслонитесь, хлопцы. Темень…
– Что ты, правда, как тот немец…
– Нынче немец сам не тот.
– Ну, брат, он еще дает,
Отпускает, не скупится…
– Все же с прежним не сравнится, —
Снял сапог с одной ноги.
– Дело ясное, – беги!
– Охо-хо. Война, ребятки.
– А ты думал! Вот чудак.

– Лучше нет – чайку в достатке,
Хмель – он греет, да не так.
– Это чья же установка
Греться чаем? Вот и врешь.
– Эй, не ставь к огню винтовку…
– А еще кулеш хорош…
Опрокинутый истомой,
Теркин дремлет на спине,
От беседы в стороне.
Так ли, сяк ли, Теркин дома,
То есть – снова на войне…
Это раненым известно:
Воротись ты в полк родной —
Все не то: иное место
И народ уже иной.
Прибаутки, поговорки
Не такие ловит слух…
– Где-то наш Василий Теркин? —
Это слышит Теркин вдруг.
Привстает, шурша соломой,
Что там дальше – подстеречь.
Никому он не знакомый —
И о нем как будто речь.
Но сквозь шум и гам веселый,
Что кипел вокруг огня,
Вот он слышит новый голос:
– Это кто там про меня?..
– Про тебя? —
Без оговорки
Тот опять:
– Само собой.
– Почему?
– Так я же Теркин.
Это слышит Теркин мой.
Что-то странное творится,
Непонятное уму.
Повернулись тотчас лица
Молча к Теркину. К тому.
Люди вроде оробели:
– Теркин – лично?
– Я и есть.
– В самом деле?
– В самом деле.
– Хлопцы, хлопцы, Теркин здесь!
– Не свернете ли махорки? —
Кто-то вытащил кисет.
И не мой, а тот уж Теркин

Говорит:
– Махорки? Нет.
Теркин мой – к огню поближе,
Отгибает воротник.
Поглядит, а он-то рыжий —
Теркин тот, его двойник.
Если б попросту махорки
Теркин выкурил второй,
И не встрял бы, может, Теркин,
Промолчал бы мой герой.
Но, поскольку водит носом,
Задается человек,
Теркин мой к нему с вопросом:
– А у вас небось «Казбек»?
Тот помедлил чуть с ответом:
Мол, не понял ничего.
– Что ж, трофейной сигаретой
Угощу. —
Возьми его!
Видит мой Василий Теркин —
Не с того зашел конца.
И не то чтоб чувством горьким
Укололо молодца, —
Не любил людей спесивых,
И, обиду затая,
Он сказал, вздохнув лениво:
– Все же Теркин – это я…
Смех, волненье.
– Новый Теркин!
– Хлопцы, двое…
– Вот беда…
– Как дойдет их до пятерки,
Разбудите нас тогда.
– Нет, брат, шутишь, – отвечает
Теркин тот, поджав губу, —
Теркин – я.
– Да кто их знает, —
Не написано на лбу.
Из кармана гимнастерки
Рыжий – книжку:
– Что ж я вам…
– Точно: Теркин…
– Только Теркин
Не Василий, а Иван.
Но, уже с насмешкой глядя,
Тот ответил моему:
– Ты пойми, что рифмы ради

Можно сделать хоть Фому.
Этот выдохнул затяжку:
– Да, но Теркин-то – герой.
Тот шинелку нараспашку:
– Вот вам орден, вот другой,
Вот вам Теркин-бронебойщик,
Верьте слову, не молве.
И машин подбил я больше —
Не одну, а целых две…
Теркин будто бы растерян,
Грустно щурится в огонь.
– Я бы мог тебя проверить,
Будь бы здесь у нас гармонь.
Все кругом:
– Гармонь найдется,
Есть у старшего.
– Не тронь.
– Что не тронь?
– Смотри, проснется…
– Пусть проснется.
– Есть гармонь!
Только взял боец трехрядку,
Сразу видно: гармонист.
Для началу, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.
И к мехам припал щекою,
Строг и важен, хоть не брит,
И про вечер над рекою
Завернул, завел навзрыд…
Теркин мой махнул рукою:
– Ладно. Можешь, – говорит, —
Но одно тебя, брат, губит:
Рыжесть Теркину нейдет.
– Рыжих девки больше любят, —
Отвечает Теркин тот.
Теркин сам уже хохочет,
Сердцем щедрым наделен.
И не так уже хлопочет
За себя, – что Теркин он.
Чуть обидно, да приятно,
Что такой же рядом с ним.
Непонятно, да занятно
Всем ребятам остальным.
Молвит Теркин:
– Сделай милость,
Будь ты Теркин насовсем.
И пускай однофамилец

Буду я…
А тот:
– Зачем?..
– Кто же Теркин?
– Ну и лихо!.. —
Хохот, шум, неразбериха…
Встал какой-то старшина
Да как крикнет:
– Тишина!
Что вы тут не разберете,
Не поймете меж собой?
По уставу каждой роте
Будет придан Теркин свой.
Слышно всем? Порядок ясен?
Жалоб нету? Ни одной?
Разойдись!
И я согласен
С этим строгим старшиной.
Я бы, может быть, и взводам
Придал Теркина в друзья…
Впрочем, все тут мимоходом
К разговору вставил я.

От автора

По которой речке плыть, —
Той и славушку творить…
С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной,
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой.
Но еще не знал я, право,
Что с печатного столбца
Всем придешься ты по нраву,
А иным войдешь в сердца.
До войны едва в помине
Был ты, Теркин, на Руси.
Теркин? Кто такой? А ныне
Теркин – кто такой? – спроси.
– Теркин, как же!
– Знаем.
– Дорог.
– Парень свой, как говорят.
– Словом, Теркин, тот, который
На войне лихой солдат,
На гулянке гость не лишний,
На работе – хоть куда…

Жаль, давно его не слышно,
Может, что худое вышло?
Может, с Теркиным беда?
– Не могло того случиться.
– Не похоже.
– Враки.
– Вздор…
– Как же, если очевидца
Подвозил один шофер.
В том бою лежали рядом,
Теркин будто бы привстал,
В тот же миг его снарядом
Бронебойным – наповал.
– Нет, снаряд ударил мимо.
А слыхали так, что мина…
– Пуля-дура…
– А у нас
Говорили, что фугас.
– Пуля, бомба или мина —
Все равно, не в том вопрос.
А слова перед кончиной
Он какие произнес?
– Говорил насчет победы.
Мол, вперед. Примерно так…
– Жаль, – сказал, – что до обеда
Я убитый, натощак.
Неизвестно, мол, ребята,
Отправляясь на тот свет,
Как там, что: без аттестата
Признают нас или нет?
– Нет, иное почему-то
Слышал раненый боец.
Молвил Теркин в ту минуту:
«Мне – конец, войне – конец».
Если так, тогда не верьте,
Разве это невдомек:
Не подвержен Теркин смерти,
Коль войне не вышел срок…
Шутки, слухи в этом духе
Автор слышит не впервой.
Правда правдой остается,
А молва себе – молвой.
Нет, товарищи, герою,
Столько лямку протащив,
Выходить теперь из строя? —
Извините! – Теркин жив!
Жив-здоров. Бодрей, чем прежде.

Помирать? Наоборот,
Я в такой теперь надежде:
Он меня переживет.
Все худое он изведал,
Он терял родимый край
И одну политбеседу
Повторял:
– Не унывай!
С первых дней годины горькой
Мир слыхал сквозь грозный гром,
Повторял Василий Теркин:
– Перетерпим. Перетрем…
Нипочем труды и муки,
Горечь бедствий и потерь.
А кому же книги в руки,
Как не Теркину теперь?!
Рассуди-ка, друг-товарищ,
Посмотри-ка, где ты вновь
На привалах кашу варишь,
В деревнях грызешь морковь.
Снова воду привелося
Из какой черпать реки!
Где стучат твои колеса,
Где ступают сапоги!
Оглянись, как встал с рассвета
Или ночь не спал, солдат,
Был иль не был здесь два лета,
Две зимы тому назад.
Вся она – от Подмосковья
И от Волжского верховья
До Днепра и Заднепровья —
Вдаль на запад сторона, —
Прежде отданная с кровью,
Кровью вновь возвращена.
Вновь отныне это свято:
Где ни свет, то наша хата,
Где ни дым, то наш костер,
Где ни стук, то наш топор,
Что ни груз идет куда-то, —
Наш маршрут и наш мотор!
И такую-то махину,
Где гони, гони машину, —
Есть где ехать вдаль и вширь,
Он пешком, не вполовину,
Всю промерил, богатырь.
Богатырь не тот, что в сказке —
Беззаботный великан,

А в походной запояске,
Человек простой закваски,
Что в бою не чужд опаски,
Коль не пьян. А он не пьян.
Но покуда вздох в запасе,
Толку нет о смертном часе.
В муках тверд и в горе горд,
Теркин жив и весел, черт!
Праздник близок, мать-Россия,
Оберни на запад взгляд:
Далеко ушел Василий,
Вася Теркин, твой солдат.
То серьезный, то потешный,
Нипочем, что дождь, что снег, —
В бой, вперед, в огонь кромешный
Он идет, святой и грешный,
Русский чудо-человек.
Разносись, молва, по свету:
Объявился старый друг…
– Ну-ка, к свету.
– Ну-ка, вслух.

Дед и баба

Третье лето. Третья осень.
Третья озимь ждет весны.
О своих нет-нет и спросим
Или вспомним средь войны.
Вспомним с нами отступавших,
Воевавших год иль час,
Павших, без вести пропавших,
С кем видались мы хоть раз,
Провожавших, вновь встречавших,
Нам попить воды подавших,
Помолившихся за нас.
Вспомним вьюгу-завируху
Прифронтовой полосы,
Хату с дедом и старухой,
Где наш друг чинил часы.
Им бы не было износу
Впредь до будущей войны,
Но, как водится, без спросу
Снял их немец со стены:
То ли вещью драгоценной
Те куранты посчитал,
То ль решил с нужды военной, —
Как-никак цветной металл.

Шла зима, весна и лето.
Немец жить велел живым.
Шла война далеко где-то
Чередом глухим своим.
И в твоей родимой речке
Мылся немец тыловой.
На твоем сидел крылечке
С непокрытой головой.
И кругом его порядки,
И немецкий, привозной
На смоленской узкой грядке
Зеленел салат весной.
И ходил сторонкой, боком
Ты по улочке своей, —
Уберегся ненароком,
Жить живи, дышать не смей.
Так и жили дед да баба
Без часов своих давно,
И уже светилось слабо
На пустой стене пятно…
Но со страстью неизменной
Дед судил, рядил, гадал
О кампании военной,
Как в отставке генерал.
На дорожке возле хаты
Костылем старик чертил
Окруженья и охваты,
Фланги, клинья, рейды в тыл…
– Что ж, за чем там остановка? —
Спросят люди. – Срок не мал…
Дед-солдат моргал неловко,
Кашлял:
– Перегруппировка… —
И таинственно вздыхал.
У людей уже украдкой
Наготове был упрек,
Словно добрую догадку
Дед по скупости берег.
Словно думал подороже
Запросить с души живой.
– Дед, когда же?
– Дед, ну что же?
– Где ж он, дед, Буденный твой?
И едва войны погудки
Заводил вдали восток,
Дед, не медля ни минутки,
Объявил, что грянул срок.

Отличал тотчас по слуху
Грохот наших батарей.
Бегал, топал:
– Дай им духу!
Дай еще! Добавь! Прогрей!
Но стихала канонада,
Потухал зарниц пожар.
– Дед, ну что же?
– Думать надо,
Здесь не главный был удар.
И уже казалось деду, —
Сам хотел того иль нет, —
Перед всеми за победу
Лично он держал ответ.
И, тая свою кручину,
Для всего на свете он
И угадывал причину,
И придумывал резон.
Но когда пора настала,
Долгожданный вышел срок,
То впервые воин старый
Ничего сказать не мог…
Все тревоги, все заботы
У людей слились в одну:
Чтоб за час до той свободы
Не постигла смерть в плену.

*** * ***

В ночь, как все, старик с женой
Поселились в яме.
А война – не стороной,
Нет, над головами.
Довелось под старость лет:
Ни в пути, ни дома,
А у входа на тот свет
Ждать в часы приема.
Под накатом из жердей,
На мешке картошки,
С узелком, с горшком углей,
С курицей в лукошке…
Две войны прошел солдат
Целый, невредимый.
Пощади его, снаряд,
В конопле родимой!
Просвисти над головой,

Но вблизи не падай,
Даже если ты и свой, —
Все равно не надо!
Мелко крестится жена,
Сам не скроешь дрожи!
Ведь живая смерть страшна
И солдату тоже.
Стихнул грохот огневой
С полночи впервые.
Вдруг – шаги за коноплей.
– Ну, идут… немые…
По картофельным рядам
К погребушке прямо.
– Ну, старик, не выйти нам
Из готовой ямы.
Но старик встает, плюет
По-мужицки в руку,
За топор – и наперед:
Заслонил старуху.
Гибель верную свою,
Как тот миг ни горек,
Порешил встречать в бою,
Держит свой топорик.
Вот шаги у края – стоп!
И на шубу глухо
Осыпается окоп.
Обмерла старуха.
Все же вроде как жива, —
Наше место свято, —
Слышит русские слова:
– Жители, ребята?..
– Детки! Родненькие… Детки!..
Уронил топорик дед.
– Мы, отец, еще в разведке,
Тех встречай, что будут вслед.
На подбор орлы-ребята,
Молодец до молодца.
И старшой у аппарата, —
Хоть ты что, знаком с лица.
– Закурить? Верти, папаша. —
Дед садится, вытер лоб.
– Ну, ребята, счастье ваше —
Голос подали. А то б…
И старшой ему кивает:
– Ничего. На том стоим.
На войне, отец, бывает —
Попадает по своим.

– Точно так. – И тут бы деду
В самый раз, что покурить,
В самый раз продлить беседу:
Столько ждал! – Поговорить.
Но они спешат не в шутку.
И еще не снялся дым…
– Погоди, отец, минутку,
Дай сперва освободим…
Молодец ему при этом
Подмигнул для красоты,
И его по всем приметам
Дед узнал:
– Так это ж ты!
Друг-знакомец, мастер-ухарь,
С кем сидели у стола.
Погляди скорей, старуха!
Узнаешь его, орла?
Та как глянула:
– Сыночек!
Голубочек. Вот уж гость.
Может, сала съешь кусочек,
Воевал, устал небось?
Смотрит он, шутник тот самый:
– Закусить бы счел за честь,
Но ведь нету, бабка, сала?
– Да и нет, а все же есть…
– Значит, цел, орел, покуда.
– Ну, отец, не только цел:
Отступал солдат отсюда,
А теперь, гляди, кто буду, —
Вроде даже офицер.
– Офицер? Так-так. Понятно, —
Дед кивает головой. —
Ну, а если… на попятный,
То опять как рядовой?..
– Нет, отец, забудь. Отныне
Нерушим простой завет:
Ни в большом, ни в малом чине
На попятный ходу нет.
Откажи мне в черствой корке,
Прогони тогда за дверь.
Это я, Василий Теркин,
Говорю. И ты уж верь.
– Да уж верю! Как получше,
На какой теперь манер:
Господин, сказать, поручик
Иль товарищ офицер?

– Стар годами, слаб глазами,
И, однако, ты, старик,
За два года с господами
К обращению привык…
Дед – плеваться, а старуха,
Подпершись одной рукой,
Чуть склонясь и эту руку
Взявши под локоть другой,
Все смотрела, как на сына
Смотрит мать из уголка.
– Закуси еще, – просила, —
Закуси, поешь пока…
И спешил, а все ж отведал,
Угостился, как родной.
Табаку отсыпал деду
И простился.
– Связь, за мной! —
И уже пройдя немного, —
Мастер памятлив и тут, —
Теркин будто бы с порога
Про часы спросил:
– Идут?
– Как не так! – и вновь причина
Бабе кинуться в слезу.
– Будет, бабка! Из Берлина
Двое новых привезу.

На Днепре

За рекой еще Угрою,
Что осталась позади,
Генерал сказал герою:
– Нам с тобою по пути…
Вот, казалось, парню счастье,
Наступать расчет прямой:
Со своей гвардейской частью
На войне придет домой.
Но едва ль уже мой Теркин,
Жизнью тертый человек,
При девчонках на вечерке
Помышлял курить «Казбек»…
Все же с каждым переходом,
С каждым днем, что ближе к ней,
Сторона, откуда родом,
Земляку была больней.
И в пути, в горячке боя,
На привале и во сне

В нем жила сама собою
Речь к родимой стороне:
– Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Приднепровский отчий край,
Здравствуй, сына привечай!
Здравствуй, пестрая осинка,
Ранней осени краса,
Здравствуй, Ельня, здравствуй, Глинка,
Здравствуй, речка Лучеса…
Мать-земля моя родная,
Я твою изведал власть,
Как душа моя больная
Издали к тебе рвалась!
Я загнул такого крюку,
Я прошел такую даль,
И видал такую муку,
И такую знал печаль!
Мать-земля моя родная,
Дымный дедовский большак,
Я про то не вспоминаю,
Не хвалюсь, а только так!..
Я иду к тебе с востока,
Я тот самый, не иной.
Ты взгляни, вздохни глубоко,
Встреться наново со мной.
Мать-земля моя родная,
Ради радостного дня
Ты прости, за что – не знаю,
Только ты прости меня!..
Так в пути, в горячке боя,
В суете хлопот и встреч
В нем жила сама собою
Эта песня или речь.
Но война – ей все едино,
Все – хорошие края:
Что Кавказ, что Украина,
Что Смоленщина твоя.
Через реки и речонки,
По мостам, и вплавь, и вброд,
Мимо, мимо той сторонки
Шла дивизия вперед.
А левее той порою,
Ранней осенью сухой,
Занимал село героя
Генерал совсем другой…
Фронт полнел, как половодье,

Вширь и вдаль. К Днепру, к Днепру
Кони шли, прося поводья,
Как с дороги ко двору.
И в пыли, рябой от пота,
Фронтовой смеялся люд:
Хорошо идет пехота.
Раз колеса отстают.
Нипочем, что уставали
По пути к большой реке
Так, что ложку на привале
Не могли держать в руке.
Вновь сильны святым порывом,
Шли вперед своим путем,
Со страдальчески-счастливым,
От жары открытым ртом.
Слева наши, справа наши,
Не отстать бы на ходу.
– Немец кухни с теплой кашей
Второпях забыл в саду.
– Подпереть его да в воду.
– Занял берег, сукин сын!
– Говорят, уж занял с ходу
Населенный пункт Берлин…
Золотое бабье лето
Оставляя за собой,
Шли войска – и вдруг с рассвета
Наступил днепровский бой…
Может быть, в иные годы,
Очищая русла рек,
Все, что скрыли эти воды,
Вновь увидит человек.
Обнаружит в илах сонных,
Извлечет из рыбьей мглы,
Как стволы дубов мореных,
Орудийные стволы;
Русский танк с немецким в паре,
Что нашли один конец,
И обоих полушарий
Сталь, резину и свинец;
Хлам войны – понтона днище,
Трос, оборванный в песке,
И топор без топорища,
Что сапер держал в руке.
Может быть, куда как пуще
И об этом топоре
Скажет кто-нибудь в грядущей
Громкой песне о Днепре;

О страде неимоверной
Кровью памятного дня.
Но о чем-нибудь, наверно,
Он не скажет за меня.
Пусть не мне еще с задачей
Было сладить. Не беда.
В чем-то я его богаче, —
Я ступал в тот след горячий,
Я там был. Я жил тогда…
Если с грузом многотонным
Отстают грузовики,
И когда-то мост понтонный
Доберется до реки, —
Под огнем не ждет пехота,
Уставной держась статьи,
За паром идут ворота;
Доски, бревна – за ладьи.
К ночи будут переправы,
В срок поднимутся мосты,
А ребятам берег правый
Свесил на воду кусты.
Подплывай, хватай за гриву,
Словно доброго коня.
Передышка под обрывом
И защита от огня.
Не беда, что с гимнастерки,
Со всего ручьем течет…
Точно так Василий Теркин
И вступил на берег тот.
На заре туман кудлатый,
Спутав дымы и дымки,
В берегах сползал куда-то,
Как река поверх реки.
И еще в разгаре боя,
Нынче, может быть, вот-вот,
Вместе с берегом, с землею
Будет в воду сброшен взвод.
Впрочем, всякое привычно, —
Срок войны, что жизни век.
От заставы пограничной
До Москвы-реки столичной
И обратно – столько рек!
Вот уже боец последний
Вылезает на песок
И жует сухарь немедля,
Потому – в Днепре намок,
Мокрый сам, шуршит штанами.

Ничего! – На то десант.
– Наступаем. Днепр за нами,
А, товарищ лейтенант?..
Бой гремел за переправу,
А внизу, южнее чуть —
Немцы с левого на правый,
Запоздав, держали путь.
Но уже не разминуться,
Теркин строго говорит:
– Пусть на левом в плен сдаются,
Здесь пока прием закрыт.
А на левом с ходу, с ходу
Подоспевшие штыки
Их толкали в воду, в воду,
А вода себе теки…
И еще меж берегами
Без разбору, наугад
Бомбы сваи помогали
Загонять, стелить накат…
Но уже из погребушек,
Из кустов, лесных берлог
Шел народ – родные души —
По обочинам дорог…
К штабу на берег восточный
Плелся стежкой, стороной
Некий немец беспорточный,
Веселя народ честной.
– С переправы?
– С переправы.
Только-только из Днепра.
– Плавал, значит?
– Плавал, дьявол,
Потому – пришла жара…
– Сытый, черт!
Чистопородный.
– В плен спешит, как на привал…
Но уже любимец взводный —
Теркин, в шутки не встревал.
Он курил, смотрел нестрого,
Думой занятый своей.
За спиной его дорога
Много раз была длинней.
И молчал он не в обиде,
Не кому-нибудь в упрек, —
Просто, больше знал и видел,
Потерял и уберег…
– Мать-земля моя родная,

Вся смоленская родня,
Ты прости, за что – не знаю,
Только ты прости меня!
Не в плену тебя жестоком,
По дороге фронтовой,
А в родном тылу глубоком
Оставляет Теркин твой.
Минул срок годины горькой,
Не воротится назад.
– Что ж ты, брат, Василий Теркин,
Плачешь вроде?..
– Виноват…

Про солдата-сироту

Нынче речи о Берлине.
Шутки прочь, – подай Берлин.
И давно уж не в помине,
Скажем, древний город Клин.
И на Одере едва ли
Вспомнят даже старики,
Как полгода с бою брали
Населенный пункт Борки.
А под теми под Борками
Каждый камень, каждый кол
На три жизни вдался в память
Нам с солдатом-земляком.
Был земляк не стар, не молод,
На войне с того же дня
И такой же был веселый,
Наподобие меня.
Приходилось парню драпать,
Бодрый дух всегда берег,
Повторял: «Вперед, на запад»,
Продвигаясь на восток.
Между прочим, при отходе,
Как сдавали города,
Больше вроде был он в моде,
Больше славился тогда.
И по странности, бывало,
Одному ему почет,
Так что даже генералы
Были будто бы не в счет.
Срок иной, иные даты.
Разделен издревле труд:
Города сдают солдаты,
Генералы их берут.

В общем, битый, тертый, жженый,
Раной меченный двойной,
В сорок первом окруженный,
По земле он шел родной.
Шел солдат, как шли другие,
В неизвестные края:
«Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?..»
И в плену семью кидая,
За войной спеша скорей,
Что он думал, не гадаю,
Что он нес в душе своей.
Но какая ни морока,
Правда правдой, ложью ложь.
Отступали мы до срока,
Отступали мы далеко,
Но всегда твердили:
– Врешь!..
И теперь взглянуть на запад
От столицы. Край родной!
Не на шутку был он заперт
За железною стеной.
И до малого селенья
Та из плена сторона
Не по щучьему веленью
Вновь сполна возвращена.
По веленью нашей силы,
Русской, собственной своей.
Ну-ка, где она, Россия,
У каких гремит дверей!
И, навеки сбив охоту
В драку лезть на свой авось,
Враг ее – какой по счету! —
Пал ничком и лапы врозь.
Над какой столицей круто
Взмыл твой флаг, отчизна-мать!
Подождемте до салюта,
Чтобы в точности сказать.
Срок иной, иные даты.
Правда, ноша не легка…
Но продолжим про солдата,
Как сказали, земляка.
Дом родной, жена ли, дети,
Брат, сестра, отец иль мать
У тебя вот есть на свете, —
Есть куда письмо послать.
А у нашего солдата —

Адресатом белый свет.
Кроме радио, ребята,
Близких родственников нет.
На земле всего дороже,
Коль имеешь про запас
То окно, куда ты сможешь
Постучаться в некий час.
На походе за границей,
В чужедальней стороне,
Ах, как бережно хранится
Боль-мечта о том окне!
А у нашего солдата, —
Хоть сейчас войне отбой, —
Ни окошка нет, ни хаты,
Ни хозяйки, хоть женатый,
Ни сынка, а был, ребята, —
Рисовал дома с трубой…
Под Смоленском наступали.
Выпал отдых. Мой земляк
Обратился на привале
К командиру: так и так, —
Отлучиться разрешите,
Дескать, случай дорогой,
Мол, поскольку местный житель,
До двора – подать рукой.
Разрешают в меру срока…
Край известный до куста.
Но глядит – не та дорога,
Местность будто бы не та.
Вот и взгорье, вот и речка,
Глушь, бурьян солдату в рост,
Да на столбике дощечка,
Мол, деревня Красный Мост.
И нашлись, что были живы,
И скажи ему спроста
Все по правде, что служивый —
Достоверный сирота.
У дощечки на развилке,
Сняв пилотку, наш солдат
Постоял, как на могилке,
И пора ему назад.
И, подворье покидая,
За войной спеша скорей,
Что он думал, не гадаю,
Что он нес в душе своей…
Но, бездомный и безродный,
Воротившись в батальон,

Ел солдат свой суп холодный
После всех, и плакал он.
На краю сухой канавы,
С горькой, детской дрожью рта,
Плакал, сидя с ложкой в правой,
С хлебом в левой, – сирота.
Плакал, может быть, о сыне,
О жене, о чем ином,
О себе, что знал: отныне
Плакать некому о нем.
Должен был солдат и в горе
Закусить и отдохнуть,
Потому, друзья, что вскоре
Ждал его далекий путь.
До земли советской края
Шел тот путь в войне, в труде.
А война пошла такая —
Кухни сзади, черт их где!
Позабудешь и про голод
За хорошею войной.
Шутки, что ли, сутки – город,
Двое суток – областной.
Срок иной, пора иная —
Бей, гони, перенимай.
Белоруссия родная,
Украина золотая,
Здравствуй, пели, и прощай.
Позабудешь и про жажду,
Потому что пиво пьет
На войне отнюдь не каждый
Тот, что брал пивной завод.
Так-то с ходу ли, не с ходу,
Соступив с родной земли,
Пограничных речек воду
Мы с боями перешли.
Счет сведен, идет расплата
На свету, начистоту.
Но закончим про солдата,
Про того же сироту.
Где он нынче на поверку.
Может, пал в бою каком,
С мелкой надписью фанерку
Занесло сырым снежком.
Или снова был он ранен,
Отдохнул, как долг велит,
И опять на поле брани
Вместе с нами брал Тильзит?

И, Россию покидая,
За войной спеша скорей,
Что он думал, не гадаю,
Что он нес в душе своей.
Может, здесь еще бездонней
И больней душе живой,
Так ли, нет, – должны мы помнить
О его слезе святой.
Если б ту слезу руками
Из России довелось
На немецкий этот камень
Донести, – прожгла б насквозь.
Счет велик, идет расплата.
И за той большой страдой
Не забудемте, ребята,
Вспомним к счету про солдата,
Что остался сиротой.
Грозен счет, страшна расплата
За мильоны душ и тел.
Уплати – и дело свято,
Но вдобавок за солдата,
Что в войне осиротел.
Далеко ли до Берлина,
Не считай, шагай, смоли, —
Вдвое меньше половины
Той дороги, что от Клина,
От Москвы уже прошли.
День идет за ночью следом,
Подведем штыком черту.
Но и в светлый день победы
Вспомним, братцы, за беседой
Про солдата-сироту…

По дороге на Берлин

По дороге на Берлин
Вьется серый пух перин.
Провода умолкших линий,
Ветки вымокшие лип
Пух перин повил, как иней,
По бортам машин налип.
И колеса пушек, кухонь
Грязь и снег мешают с пухом.
И ложится на шинель
С пухом мокрая метель…
Скучный климат заграничный,
Чуждый край краснокирпичный,

Но война сама собой,
И земля дрожит привычно,
Хрусткий щебень черепичный
Отряхая с крыш долой…
Мать-Россия, мы полсвета
У твоих прошли колес,
Позади оставив где-то
Рек твоих раздольный плес.
Долго-долго за обозом
В край чужой тянулся вслед
Белый цвет твоей березы
И в пути сошел на нет.
С Волгой, с древнею Москвою
Как ты нынче далека.
Между нами и тобою —
Три не наших языка.
Поздний день встает не русский
Над немилой стороной.
Черепичный щебень хрусткий
Мокнет в луже под стеной.
Всюду надписи, отметки,
Стрелки, вывески, значки,
Кольца проволочной сетки,
Загородки, дверцы, клетки —
Все нарочно для тоски…
Мать-земля родная наша,
В дни беды и в дни побед
Нет тебя светлей и краше
И желанней сердцу нет.
Помышляя о солдатской
Непредсказанной судьбе,
Даже лечь в могиле братской
Лучше, кажется, в тебе.
А всего милей до дому,
До тебя дойти живому,
Заявиться в те края:
– Здравствуй, родина моя!
Воин твой, слуга народа,
С честью может доложить:
Воевал четыре года,
Воротился из похода
И теперь желает жить.
Он исполнил долг во славу
Боевых твоих знамен.
Кто еще имеет право
Так любить тебя, как он!
День и ночь в боях сменяя,

В месяц шапки не снимая,
Воин твой, защитник-сын,
Шел, спешил к тебе, родная,
По дороге на Берлин.
По дороге неминучей
Пух перин клубится тучей.
Городов горелый лом
Пахнет паленым пером.
И под грохот канонады
На восток, из мглы и смрада,
Как из адовых ворот,
Вдоль шоссе течет народ.
Потрясенный, опаленный,
Всех кровей, разноплеменный,
Горький, вьючный, пеший люд…
На восток – один маршрут.
На восток, сквозь дым и копоть,
Из одной тюрьмы глухой
По домам идет Европа.
Пух перин над ней пургой.
И на русского солдата
Брат француз, британец брат,
Брат поляк и все подряд
С дружбой будто виноватой,
Но сердечною глядят.
На безвестном перекрестке
На какой-то встречный миг —
Сами тянутся к прическе
Руки девушек немых.
И от тех речей, улыбок
Залит краской сам солдат;
Вот Европа, а спасибо
Все по-русски говорят.
Он стоит, освободитель,
Набок шапка со звездой.
Я, мол, что ж, помочь любитель,
Я насчет того простой.
Мол, такая служба наша,
Прочим флагам не в упрек…
– Эй, а ты куда, мамаша?
– А туда ж, – домой, сынок.
В чужине, в пути далече,
В пестром сборище людском
Вдруг слова родимой речи,
Бабка в шубе, с посошком.
Старость вроде, да не дряхлость
В ту котомку впряжена.

По-дорожному крест-накрест
Вся платком оплетена,
Поздоровалась и встала,
Земляку-бойцу под стать,
Деревенская, простая
Наша труженица-мать.
Мать святой извечной силы,
Из безвестных матерей,
Что в труде неизносимы
И в любой беде своей;
Что судьбою, повторенной
На земле сто раз подряд,
И растят в любви бессонной,
И теряют нас, солдат;
И живут, и рук не сложат,
Не сомкнут своих очей,
Коль нужны еще, быть может,
Внукам вместо сыновей.
Мать одна в чужбине где-то!
– Далеко ли до двора?
– До двора? Двора-то нету,
А сама из-за Днепра…
Стой, ребята, не годится,
Чтобы этак с посошком
Шла домой из-за границы
Мать солдатская пешком.
Нет, родная, по порядку
Дай нам делать, не мешай.
Перво-наперво лошадку
С полной сбруей получай.
Получай экипировку,
Ноги ковриком укрой.
А еще тебе коровку
Вместе с приданной овцой.
В путь-дорогу чайник с кружкой
Да ведерко про запас,
Да перинку, да подушку, —
Немцу в тягость, нам как раз…
– Ни к чему. Куда, родные? —
А ребята – нужды нет —
Волокут часы стенные
И ведут велосипед.
– Ну, прощай. Счастливо ехать! —
Что-то силится сказать
И закашлялась от смеха,
Головой качает мать.
– Как же, детки, путь не близкий,

Вдруг задержат где меня:
Ни записки, ни расписки
Не имею на коня,
– Ты об этом не печалься,
Поезжай да поезжай.
Что касается начальства, —
Свой у всех передний край.
Поезжай, кати, что с горки,
А случится что-нибудь,
То скажи, не позабудь:
Мол, снабдил Василий Теркин, —
И тебе свободен путь.
Будем живы, в Заднепровье
Завернем на пироги.
– Дай господь тебе здоровья
И от пули сбереги…
Далеко, должно быть, где-то
Едет нынче бабка эта,
Правит, щурится от слез.
И с боков дороги узкой,
На земле еще не русской —
Белый цвет родных берез.
Ах, как радостно и больно
Видеть их в краю ином!..
Пограничный пост контрольный,
Пропусти ее с конем!

В бане

На околице войны —
В глубине Германии —
Баня! Что там Сандуны
С остальными банями!
На чужбине отчий дом —
Баня натуральная.
По порядку поведем
Нашу речь похвальную.
Дом ли, замок, все равно,
Дело безобманное:
Банный пар занес окно
Пеленой туманною.
Стулья графские стоят
Вдоль стены в предбаннике.
Снял подштанники солдат,
Докурил без паники.
Докурил, рубаху с плеч
Тащит через голову.

Про солдата в бане речь, —
Поглядим на голого.
Невысок, да грудь вперед
И в кости надежен.
Телом бел, – который год
Загорал в одеже.
И хоть нет сейчас на нем
Форменных регалий,
Что знаком солдат с огнем,
Сразу б угадали.
Подивились бы спроста,
Что остался целым.
Припечатана звезда
На живом, на белом.
Неровна, зато красна,
Впрямь под стать награде,
Пусть не спереди она, —
На лопатке сзади.
С головы до ног мельком
Осмотреть атлета:
Там еще рубец стручком,
Там иная мета.
Знаки, точно письмена
Памятной страницы.
Тут и Ельня, и Десна,
И родная сторона
В строку с заграницей.
Столько верст и столько вех,
Не забыть иную.
Но разделся человек,
Так идет в парную,
Он идет, но как идет,
Проследим сторонкой:
Так ступает, точно лед
Под ногами тонкий;
Будто делает с трудом
Шаг – и непременно:
– Ух, ты! – крякает, притом
Щурится блаженно.
Говор, плеск, веселый гул,
Капли с потных сводов…
Ищет, руки протянув,
Прежде пар, чем воду.
Пар бодает в потолок,
Ну-ка, с ходу на полок!
В жизни мирной или бранной,
У любого рубежа,

Благодарны ласке банной
Наше тело и душа.
Ничего, что ты природой
Самый русский человек,
А берешь для бани воду
Из чужих, далеких рек.
Много хуже для здоровья,
По зиме ли, по весне,
Возле речек Подмосковья
Мыться в бане на войне.
– Ну-ка ты, псковской, елецкий
Иль еще какой земляк,
Зачерпни воды немецкой
Да уважь, плесни черпак.
Не жалей, добавь на пфенниг,
А теперь погладить швы
Дайте, хлопцы, русский веник,
Даже если он с Литвы.
Честь и слава помпохозу,
Снаряжавшему обоз,
Что советскую березу
Аж за Кенигсберг завез.
Эй, славяне, что с Кубани,
С Дона, с Волги, с Иртыша,
Занимай высоты в бане,
Закрепляйся не спеша!
До того, друзья, отлично
Так-то всласть, не торопясь,
Парить веником привычным
Заграничный пот и грязь.
Пар на славу, молодецкий,
Мокрым доскам горячо.
Ну-ка, где ты, друг елецкий,
Кинь гвардейскую еще!
Кинь еще, а мы освоим
С прежней дачей заодно.
Вот теперь спасибо, воин,
Отдыхай. Теперь – оно!
Кто не нашей подготовки,
Того с полу на полок
Не встянуть и на веревке, —
Разве только через блок.
Тут любой старик любитель,
Сунься только, как ни рьян,
Больше двух минут не житель,
А и житель – не родитель,
Потому не даст семян.

Нет, куда, куда, куда там,
Хоть кому, кому, кому
Браться париться с солдатом, —
Даже черту самому.
Пусть он жиловатый парень,
Да такими вряд ли он,
Как солдат, жарами жарен
И морозами печен.
Пусть он, в общем, тертый малый,
Хоть, понятно, черта нет,
Да поди сюда, пожалуй,
Так узнаешь, где тот свет.
На полке, полке, что тесан
Мастерами на войне,
Ходит веник жарким чесом
По малиновой спине.
Человек поет и стонет,
Просит:
– Гуще нагнетай. —
Стонет, стонет, а не донят:
– Дай! Дай! Дай! Дай!
Не допариться в охоту,
В меру тела для бойца —
Все равно, что немца с ходу
Не доделать до конца.
Нет, тесни его, чтоб вскоре
Опрокинуть навзничь в море,
А который на земле —
Истолочь живьем в «котле».
И за всю войну впервые —
Немца нет перед тобой.
В честь победы огневые
Грянут следом за Москвой.
Грянет залп многоголосый,
Заглушая шум волны.
И пошли стволы, колеса
На другой конец войны.
С песней тронулись колонны
Не в последний ли поход?
И ладонью запыленной
Сам солдат слезу утрет.
Кто-то свистнет, гикнет кто-то,
Грусть растает, как дымок,
И война – не та работа,
Если праздник недалек.
И война – не та работа,
Ясно даже простаку,

Если по три самолета
В помощь придано штыку.
И не те как будто люди,
И во всем иная стать,
Если танков и орудий —
Сверх того, что негде стать.
Сила силе доказала:
Сила силе – не ровня.
Есть металл прочней металла,
Есть огонь страшней огня!
Бьют Берлину у заставы
Судный час часы Москвы…
А покамест суд да справа —
Пропотел солдат на славу,
Кость прогрел, разгладил швы,
Новый с ног до головы —
И слезай, кончай забаву…
А внизу – иной уют,
В душевой и ванной
Завершает голый люд
Банный труд желанный.
Тот упарился, а тот
Борется с истомой.
Номер первый спину трет
Номеру второму.
Тот, механик и знаток,
У светца хлопочет,
Тот макушку мылит впрок,
Тот мозоли мочит;
Тот платочек носовой,
Свой трофей карманный,
Моет мыльною водой,
Дармовою банной.
Ну, а наш слегка остыл
И – конец лежанке.
В шайке пену нарастил,
Обработал фронт и тыл,
Не забыл про фланги.
Быстро сладил с остальным,
Обдался и вылез.
И невольно вслед за ним
Все поторопились.
Не затем, чтоб он стоял
Выше в смысле чина,
А затем, что жизни дал
На полке мужчина.
Любит русский человек

Праздник силы всякий,
Оттого и хлеще всех
Он в труде и драке.
И в привычке у него
Издавна, извечно
За лихое удальство
Уважать сердечно.
И с почтеньем все глядят,
Как опять без паники
Не спеша надел солдат
Новые подштанники.
Не спеша надел штаны
И почти что новые,
С точки зренья старшины,
Сапоги кирзовые.
В гимнастерку влез солдат,
А на гимнастерке —
Ордена, медали в ряд
Жарким пламенем горят…
– Закупил их, что ли, брат,
Разом в военторге?
Тот стоит во всей красе,
Занят самокруткой.
– Это что! Еще не все, —
Метит шуткой в шутку.
– Любо-дорого. А где ж
Те, мол, остальные?..
– Где последний свой рубеж
Держит немец ныне.
И едва простился он,
Как бойцы в восторге
Вслед вздохнули:
– Ну, силен!
– Все равно, что Теркин.

От автора

«Светит месяц, ночь ясна,
Чарка выпита до дна…»
Теркин, Теркин, в самом деле,
Час настал, войне отбой.
И как будто устарели
Тотчас оба мы с тобой.
И как будто оглушенный
В наступившей тишине,
Смолкнул я, певец смущенный,
Петь привыкший на войне.

В том беды особой нету:
Песня, стало быть, допета.
Песня новая нужна,
Дайте срок, придет она.
Я сказать хотел иное,
Мой читатель, друг и брат,
Как всегда, перед тобою
Я, должно быть, виноват.
Больше б мог, да было к спеху,
Тем, однако, дорожи,
Что, случалось, врал для смеху,
Никогда не лгал для лжи.
И, по совести, порою
Сам вздохнул не раз, не два,
Повторив слова героя,
То есть Теркина слова!
«Я не то еще сказал бы, —
Про себя поберегу.
Я не так еще сыграл бы, —
Жаль, что лучше не могу».
И хотя иные вещи
В годы мира у певца
Выйдут, может быть, похлеще
Этой книги про бойца, —
Мне она всех прочих боле
Дорога, родна до слез,
Как тот сын, что рос не в холе,
А в годину бед и гроз…
С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной,
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой.
Я забыть того не вправе,
Чем твоей обязан славе,
Чем и где помог ты мне,
Повстречавшись на войне.
От Москвы, от Сталинграда
Неизменно ты со мной —
Боль моя, моя отрада,
Отдых мой и подвиг мой!
Эти строки и страницы —
Дней и верст особый счет,
Как от западной границы
До своей родной столицы,
И от той родной столицы
Вспять до западной границы,
А от западной границы

Вплоть до вражеской столицы
Мы свой делали поход.
Смыли весны горький пепел
Очагов, что грели нас.
С кем я не был, с кем я не пил
В первый раз, в последний раз…
С кем я только не был дружен
С первой встречи близ огня.
Скольким душам был я нужен,
Без которых нет меня.
Скольких их на свете нету,
Что прочли тебя, поэт,
Словно бедной книге этой
Много, много, много лет.
И сказать, помыслив здраво:
Что ей будущая слава!
Что ей критик, умник тот,
Что читает без улыбки,
Ищет, нет ли где ошибки, —
Горе, если не найдет.
Не о том с надеждой сладкой
Я мечтал, когда украдкой
На войне, под кровлей шаткой,
По дорогам, где пришлось,
Без отлучки от колес,
В дождь, укрывшись плащ-палаткой,
Иль зубами сняв перчатку
На ветру, в лютой мороз,
Заносил в свою тетрадку
Строки, жившие вразброс.
Я мечтал о сущем чуде:
Чтоб от выдумки моей
На войне живущим людям
Было, может быть, теплей,
Чтобы радостью нежданной
У бойца согрелась грудь,
Как от той гармошки драной,
Что случится где-нибудь.
Толку нет, что, может статься,
У гармошки за душой
Весь запас, что на два танца, —
Разворот зато большой.
И теперь, как смолкли пушки,
Предположим наугад,
Пусть нас где-нибудь в пивнушке
Вспомнит после третьей кружки
С рукавом пустым солдат;

Пусть в какой-нибудь каптерке
У кухонного крыльца
Скажут в шутку: «Эй ты, Теркин!»
Про какого-то бойца;
Пусть о Теркине почтенный
Скажет важно генерал, —
Он-то скажет непременно, —
Что медаль ему вручал;
Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
– Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке…
Я доволен был бы, право,
И – не гордый человек —
Ни на чью иную славу
Не сменю того вовек.
Повесть памятной годины,
Эту книгу про бойца,
Я и начал с середины
И закончил без конца
С мыслью, может, дерзновенной
Посвятить любимый труд
Павшим памяти священной,
Всем друзьям поры военной,
Всем сердцам, чей дорог суд.

1941–1945

Дом у дороги Лирическая хроника

Глава 1

Я начал песню в трудный год,
Когда зимой студеной
Война стояла у ворот
Столицы осажденной.
Но я с тобою был, солдат,
С тобою неизменно —
До той и с той зимы подряд
В одной страде военной.
Твоей судьбой я только жил
И пел ее доныне,
А эту песню отложил,
Прервав на половине.
И как вернуться ты не мог
С войны к жене-солдатке,
Так я не мог
Весь этот срок
Вернуться к той тетрадке.
Но как ты помнил на войне
О том, что сердцу мило,
Так песня, начавшись во мне,
Жила, кипела, ныла.
А я ее в себе берег,
Про будущее прочил,
И боль и радость этих строк
Меж строк скрывая прочих.
Я нес ее и вез с собой
От стен родной столицы —
Вслед за тобой,
Вслед за тобой —
До самой заграницы.
От рубежа до рубежа —
На каждом новом месте
Ждала с надеждою душа
Какой-то встречи, вести…
И где бы ни переступал
Каких домов пороги,
Я никогда не забывал
О доме у дороги,
О доме горестном, тобой
Покинутом когда-то.
И вот в пути, в стране чужой
Я встретил дом солдата.

Тот дом без крыши, без угла,
Согретый по-жилому,
Твоя хозяйка берегла
За тыщи верст от дому.
Она тянула кое-как
Вдоль колеи шоссейной —
С меньшим, уснувшим на руках,
И всей гурьбой семейной.
Кипели реки подо льдом,
Ручьи взбивали пену,
Была весна, и шел твой дом
На родину из плена.
Он шел в Смоленщину назад,
Что так была далече…
И каждый наш солдатский взгляд
Теплел при этой встрече.
И как там было не махнуть
Рукой: «Бывайте живы!»,
Не обернуться, не вздохнуть
О многом, друг служивый.
О том хотя бы, что не все
Из тех, что дом теряли,
На фронтовом своем шоссе
Его и повстречали.
Ты сам, шагая в той стране
С надеждой и тревогой,
Его не встретил на войне, —
Другою шел дорогой.
Но дом твой в сборе, налицо.
К нему воздвигнуть стены,
Приставить сени и крыльцо —
И будет дом отменный.
С охотой руки приложить —
И сад, как прежде, дому
Заглянет в окна.
Жить да жить,
Ах, жить да жить живому!
А мне бы петь о жизни той,
О том, как пахнет снова
На стройке стружкой золотой,
Живой смолой сосновой.
Как, огласив войне конец
И долголетье миру,
Явился беженец-скворец
На новую квартиру.
Как жадно в рост идет трава
Густая на могилах.

Трава – права,
И жизнь жива,
Но я про то хочу сперва,
Про что забыть не в силах.
Так память горя велика,
Глухая память боли.
Она не стишится, пока
Не выскажется вволю.
И в самый полдень торжества,
На праздник возрожденья
Она приходит, как вдова
Бойца, что пал в сраженье.
Как мать, что сына день за днем
Ждала с войны напрасно,
И позабыть еще о нем,
И не скорбеть всечасно
Не властна.
Пусть меня простят,
Что снова я до срока
Вернусь, товарищи, назад,
К той памяти жестокой.
И все, что выразится здесь,
Да вникнет в душу снова,
Как плач о родине, как песнь
Ее судьбы суровой.

Глава 2

В тот самый час воскресным днем,
По праздничному делу,
В саду косил ты под окном
Траву с росою белой.
Трава была травы добрей —
Горошек, клевер дикий,
Густой метелкою пырей
И листья земляники.
И ты косил ее, сопя,
Кряхтя, вздыхая сладко.
И сам подслушивал себя,
Когда звенел лопаткой:
Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.
Таков завет и звук таков,
И по косе вдоль жала,
Смывая мелочь лепестков,

Роса ручьем бежала.
Покос высокий, как постель,
Ложился, взбитый пышно,
И непросохший сонный шмель
В покосе пел чуть слышно.
И с мягким махом тяжело
Косье в руках скрипело.
И солнце жгло,
И дело шло,
И все, казалось, пело:
Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.
И палисадник под окном,
И сад, и лук на грядах —
Все это вместе было дом,
Жилье, уют, порядок.
Не тот порядок и уют,
Что, никому не веря,
Воды напиться подают,
Держась за клямку двери.
А тот порядок и уют,
Что всякому с любовью
Как будто чарку подают
На доброе здоровье.
Помытый пол блестит в дому
Опрятностью такою,
Что просто радость по нему
Ступить босой ногою.
И хорошо за стол свой сесть
В кругу родном и тесном,
И, отдыхая, хлеб свой есть,
И день хвалить чудесный.
Тот вправду день из лучших дней,
Когда нам вдруг с чего-то —
Еда вкусней,
Жена милей
И веселей работа.
Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.
Домой ждала тебя жена,
Когда с нещадной силой
Старинным голосом война
По всей стране завыла.

И, опершися на косье,
Босой, простоволосый,
Ты постоял – и понял все,
И не дошел прокоса.
Не докосил хозяин луг,
В поход запоясался,
А в том саду все тот же звук
Как будто раздавался:
Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.
И был ты, может быть, уже
Забыт самой войною,
И на безвестном рубеже
Зарыт иной землею.
Не умолкая, тот же звук,
Щемящий звон лопатки,
В труде, во сне тревожил слух
Твоей жене-солдатке.
Он сердце ей насквозь изжег
Тоскою неизбытой,
Когда косила тот лужок
Сама косой небитой.
Слепили слезы ей глаза,
Палила душу жалость.
Не та коса,
Не та роса,
Не та трава, казалось…
Пусть горе женское пройдет,
Жена тебя забудет
И замуж, может быть, зайдет
И будет жить, как люди.
Но о тебе и о себе,
О давнем дне разлуки
Она в любой своей судьбе
Вздохнет при этом звуке:
Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.

Глава 3

Еще не здесь, еще вдали
От этих нив и улиц
Стада недоеные шли

И беженцы тянулись.
Но шла, гудела, как набат,
Беда по всей округе.
За черенки взялись лопат,
За тачки бабьи руки.
Готовы были день и ночь
Копать с упорством женским,
Чтоб чем-нибудь войскам помочь
На рубеже смоленском.
Чтоб хоть в родимой стороне,
У своего порога,
Хотя б на малый срок войне
Перекопать дорогу.
И сколько рук – не перечтешь! —
Вдоль той канавы длинной
Живьем приваливали рожь
Сырой тяжелой глиной.
Живьем хлеба, живьем траву
Приваливали сами.
А он уж бомбы на Москву
Возил над головами.
Копали ров, валили вал,
Спешили, будто к сроку.
А он уж по земле ступал,
Гремел неподалеку.
Ломал и путал фронт и тыл
От моря и до моря,
Кровавым заревом светил,
В ночи смыкая зори.
И страшной силой буревой,
В медовый срок покоса,
В дыму, в пыли перед собой
От фронта гнал колеса.
И столько вывалило вдруг
Гуртов, возов, трехтонок,
Коней, подвод, детей, старух,
Узлов, тряпья, котомок…
Моя великая страна,
У той кровавой даты
Как ты была еще бедна
И как уже богата!
Зеленой улицей села,
Где пыль легла порошей,
Огромный край война гнала
С поспешно взятой ношей.
Смятенье, гомон, тяжкий стон
Людской страды горячей.

И детский плач, и патефон,
Поющий, как на даче, —
Смешалось все, одной беды —
Войны знаменьем было…
Уже до полудня воды
В колодцах не хватило.
И ведра глухо грунт скребли,
Гремя о стенки сруба,
Полупустые кверху шли,
И к капле, прыгнувшей в пыли,
Тянулись жадно губы.
А сколько было там одних —
С жары совсем соловых —
Курчавых, стриженых, льняных,
Чернявых, русых и иных
Ребяческих головок.
Нет, ты смотреть не выходи
Ребят на водопое.
Скорей своих прижми к груди,
Пока они с тобою.
Пока с тобой,
В семье родной,
Они, пускай не в холе,
В любой нужде,
В своем гнезде —
Еще на зависть доля.
И приведись на горький путь
Сменить свое подворье —
Самой детей одеть, обуть —
Еще, поверь, – полгоря.
И, притерпевшись, как-никак
Брести в толпе дорожной
С меньшим, уснувшим на руках,
С двумя при юбке – можно!
Идти, брести,
Присесть в пути
Семьей на отдых малый.
Да кто сейчас
Счастливей вас!
Смотри-ка, есть, пожалуй.
Где светит свет хоть краем дня,
Где тучей вовсе застится.
И счастье счастью не ровня,
И горе – горю разница.
Ползет, скрипит кибитка-дом,
И головы детишек
Хитро укрыты лоскутом

Железной красной крыши.
И служит кровлей путевой
Семье, войной гонимой,
Та кровля, что над головой
Была в краю родимом.
В краю ином
Кибитка-дом,
Ее уют цыганский
Не как-нибудь
Налажен в путь, —
Мужской рукой крестьянской.
Ночлег в пути, ребята спят,
Зарывшись в глубь кибитки.
И в небо звездное глядят
Оглобли, как зенитки.
Не спит хозяин у огня.
На этом трудном свете
Он за детей, и за коня,
И за жену в ответе.
И ей, хоть лето, хоть зима,
Все ж легче путь немилый.
А ты реши-ка все сама,
Своим умом и силой.
В полдневный зной
И в дождь ночной
Укрой в дороге деток.
Далекий мой,
Родимый мой,
Живой ли, мертвый – где ты?..
Нет, ни жена, ни даже мать,
Что думала о сыне,
Не в силах были угадать
Всего, что станет ныне.
Куда там было в старину, —
Все нынче по-иному:
Ушел хозяин на войну,
Война подходит к дому.
И, чуя гибель, этот дом
И сад молчат тревожно.
И фронт – уж вот он – за холмом
Вздыхает безнадежно.
И пыльных войск отход, откат
Не тот, что был вначале.
И где колонны кое-как,
Где толпы зашагали.
Все на восток, назад, назад,
Все ближе бьют орудья.

А бабы воют и висят
На изгороди грудью.
Пришел, настал последний час,
И нет уже отсрочки.
– А на кого ж вы только нас
Кидаете, сыночки?..
И то, быть может, не упрек,
А боль за них и жалость.
И в горле давящий комок
За все, что с жизнью сталось.
И сердце женское вдвойне
Тоска, тревога гложет,
Что своего лишь там, в огне,
Жена представить может.
В огне, в бою, в чадном дыму
Кровавой рукопашной.
И как, должно быть, там ему,
Живому, смерти страшно.
Не подсказала б та беда,
Что бабьим воем выла,
Не знала б, может, никогда,
Что до смерти любила.
Любила – взгляд не оброни
Никто, одна любила.
Любила так, что от родни,
От матери отбила.
Пускай не девичья пора,
Но от любви на диво —
В речах остра,
В делах быстра,
Как змейка вся ходила.
В дому – какое ни житье —
Детишки, печь, корыто —
Еще не видел он ее
Нечесаной, немытой.
И весь она держала дом
В опрятности тревожной,
Считая, может, что на том
Любовь вовек надежней.
И та любовь была сильна
Такою властной силой,
Что разлучить одна война
Могла.
И разлучила.

Глава 4

Томила б только ты бойца,
Война, тоской знакомой,
Да не пылила б у крыльца
Его родного дома.
Давила б грузным колесом
Тех, что твои по списку,
Да не губила б детский сон
Пальбой артиллерийской.
Гремя, бесилась бы спьяна
У своего предела, —
И то была бы ты, война,
Еще святое дело.
Но ты повыгнала ребят
В подвалы, в погребушки,
Ты с неба наземь наугад
Свои кидаешь чушки.
И люди горькой стороны
У фронта сбились тесно,
Боясь и смерти и вины
Какой-то неизвестной.
А ты все ближе ко двору,
И дети, чуя горе,
Пугливым шепотом игру
Ведут в углу, не споря…
В тот первый день из горьких дней,
Как собрался в дорогу,
Велел отец беречь детей,
Смотреть за домом строго.
Велел детей и дом беречь, —
Жена за все в ответе.
Но не сказал, топить ли печь
Сегодня на рассвете.
Но не сказал, сидеть ли тут,
Бежать ли в свет куда-то.
Все бросить вдруг.
А где нас ждут,
Где просят?
Свет – не хата.
Здесь потолок над головой,
Здесь – дом, в хлеву – корова…
А немец, может, он иной
И не такой суровый, —
Пройдет, минет.
А вдруг как нет?
Не тою славен славой.
А что ж, тогда ты в сельсовет
Пойдешь искать управы?

Каким сгрозишь ему судом,
Как встанет на пороге,
Как в дом войдет?
Нет, кабы дом
Подальше от дороги…
…Последних четверо солдат
Калитку в сад открыли,
Железом кованых лопат
Устало грюкнули не в лад,
Присели, закурили.
И улыбнулся, обратясь
К хозяйке, старший вроде:
– Хотим тут пушечку у вас
Поставить в огороде.
Сказал, как будто человек
Проезжий, незнакомый,
С конем просился на ночлег,
С телегой возле дома.
Ему и ласка и привет.
– Не уходите только,
Не покидайте нас…
– Да нет, —
Переглянулись горько.
– Да нет, от этой конопли
Мы не уйдем, мамаша.
Затем, чтоб все уйти могли, —
Такая служба наша.
– И ты спеши, – сказал боец, —
Поскольку эту пушку,
А заодно и твой дворец
Уж он возьмет на мушку.
А впрочем, малость погоди, —
Прислушавшись, добавил: —
Кладет уж вон где, впереди,
Как раз по переправе.
Земля вокруг как на волне,
И день оглох от грома.
– Вот жизнь: хозяин на войне,
А ты, выходит, дома.
А у нее про всех готов
Один вопрос печальный:
– Сивцов – фамилия. Сивцов.
Не слышали случайно?
– Сивцов? Постой, подумать дай.
Ну да, слыхал Сивцова.
Сивцов – ну как же, Николай,
Так он – живой, здоровый.

Не твой? Ага, а твой Андрей?
Андрей, скажи на милость…
Но чем-то вроде дорог ей
И тот однофамилец.
– Ну, что, друзья, кончай курить. —
Разметил план лопатой
И стал усердно землю рыть
Солдат в саду солдата.
Не для того, чтоб там взросла
Какая-либо штука,
И не нарочно, не со зла,
А как велит наука.
Он рыл окоп, по форме чтоб
И глубина и бруствер…
Ах, сколько в том рытье одном
Покорной делу грусти.
Он делал дело – землю рыл,
Но, может, думал мельком
И даже, может, говорил,
Вздыхал:
– Земля, земелька…
Уже они по грудь в земле,
Зовет к столу солдатка,
Как будто помочи в семье,
Обед и отдых сладкий.
– Устали, кушайте.
– Ну что ж,
Горячего, покамест…
– Еще, признаться, грунт хорош,
А то бывает – камень…
И первым старший ложку нес,
А вслед за ним солдаты.
– А что, богатый был колхоз?
– Нет, не сказать богатый,
Не так, а все-таки. Хлеба
Сильнее за Угрою… —
– Смотри, притихнула пальба.
– Детишек трое?
– Трое…
И общий вздох:
– С детьми – беда. —
И разговор с заминкой.
Жирна не вовремя еда,
Грустна, как на поминках.
– Спасибо наше за обед,
Хозяюшка, спасибо.
А что касается… так – нет,

Не жди, беги как-либо.
– Постой, – сказал другой солдат,
В окно с тревогой глядя: —
Смотри, народ как раз назад
Потек.
– Чего бы ради?
Дорога пыльная полна,
Идут, бредут понуро.
С востока к западу война
Оглобли завернула.
– Выходит, он уж впереди.
– А что ж теперь, куда же?
– Молчи, хозяйка, и сиди,
Что дальше – день покажет.
А нам стеречь твой огород,
Хозяйка, – дело худо,
Выходит, наш теперь черед
Искать ходов отсюда.
И по лихой нужде своей
Теперь они, солдаты,
Казалось, женщины слабей,
И не виновны перед ней,
А все же виноваты.
– Прощай, хозяйка, жди, придем,
Настанут наши сроки.
И твой найдем приметный дом
У столбовой дороги.
Придем, найдем, а может, нет;
Война, – нельзя ручаться.
Еще спасибо за обед.
– И вам спасибо, братцы.
Прощайте. —
Вывела людей.
И с просьбой безнадежной:
– Сивцов, – напомнила, – Андрей,
Услышите, возможно…
Шагнула вслед, держась за дверь,
В слезах, и сердце сжалось,
Как будто с мужем лишь теперь
Навеки распрощалась.
Как будто он ушел из рук
И скрылся без оглядки…
И ожил вдруг в ушах тот звук,
Щемящий звон лопатки:
Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —

И мы домой…

Глава 5

Вам не случилось быть при том,
Когда в ваш дом родной
Входил, гремя своим ружьем,
Солдат земли иной?
Не бил, не мучил и не жег, —
Далеко до беды.
Вступил он только на порог
И попросил воды.
И, наклонившись над ковшом,
С дороги весь в пыли,
Попил, утерся и ушел
Солдат чужой земли.
Не бил, не мучил и не жег, —
Всему свой срок и ряд.
Но он входил, уже он мог
Войти, чужой солдат.
Чужой солдат вошел в ваш дом,
Где свой не мог войти.
Вам не случилось быть при том?
И Бог не приведи!
Вам не случилось быть при том,
Когда, хмельной, дурной,
За вашим тешится столом
Солдат земли иной?
Сидит, заняв тот край скамьи,
Тот угол дорогой,
Где муж, отец, глава семьи
Сидел, – не кто другой.
Не доведись вам злой судьбой
Не старой быть при том
И не горбатой, не кривой
За горем и стыдом.
И до колодца по селу,
Где есть чужой солдат,
Как по толченому стеклу,
Ходить вперед-назад.
Но если было суждено
Все это, все в зачет,
Не доведись хоть то одно,
Чему еще черед.
Не доведись вам за войну,
Жена, сестра иль мать,
Своих

Живых
Солдат в плену
Воочью увидать.
…Сынов родной земли,
Их стыдным, сборным строем
По той земле вели
На запад под конвоем.
Идут они по ней
В позорных сборных ротах,
Иные без ремней,
Иные без пилоток.
Иные с горькой, злой
И безнадежной мукой
Несут перед собой
На перевязи руку…
Тот хоть шагать здоров,
Тому ступить задача, —
В пыли теряя кровь,
Тащись, пока ходячий.
Тот, воин, силой взят
И зол, что жив остался.
Тот жив и счастью рад,
Что вдруг отвоевался.
Тот ничему цены
Еще не знает в мире.
И все идут, равны
В колонне по четыре.
Ботинок за войну
Одних не износили,
И вот они в плену,
И этот плен – в России.
Поникнув от жары,
Переставляют ноги.
Знакомые дворы
По сторонам дороги.
Колодец, дом и сад
И все вокруг приметы.
День или год назад
Брели дорогой этой?
Год или только час
Прошел без проволочки?..
«А на кого ж вы нас
Кидаете, сыночки!..»
Теперь скажи в ответ
И встреть глаза глазами,
Мол, не кидаем, нет,
Глядите, вот мы с вами.

Порадуй матерей
И жен в их бабьей скорби.
Да не спеши скорей
Пройти. Не гнись, не горбись…
Бредут ряды солдат
Угрюмой вереницей.
И бабы всем подряд
Заглядывают в лица.
Не муж, не сын, не брат
Проходят перед ними,
А только свой солдат —
И нет родни родимей.
И сколько тех рядов
Ты молча проводила
И стриженых голов,
Поникнувших уныло.
И вдруг – ни явь, ни сон —
Послышалось как будто, —
Меж многих голосов
Один:
– Прощай, Анюта…
Метнулась в тот конец,
Теснясь в толпе горячей,
Нет, это так. Боец
Кого-то наудачу
Назвал в толпе. Шутник.
До шуток здесь кому-то.
Но если ты меж них,
Окликни ты Анютой.
Ты не стыдись меня,
Что вниз сползли обмотки,
Что, может, без ремня
И, может, без пилотки.
И я не попрекну
Тебя, что под конвоем
Идешь. И за войну
Живой, не стал героем.
Окликни – отзовусь.
Я здесь, твоя Анюта.
Я до тебя прорвусь.
Хоть вновь навек прощусь
С тобой. Моя минута!
Но как спросить сейчас,
Произнести хоть слово:
А нет ли здесь у вас,
В плену, его, Сивцова
Андрея?

Горек стыд.
Спроси, а он, пожалуй,
И мертвый не простит,
Что здесь его искала.
Но если здесь он, вдруг
Идет в колонне знойной,
Закрыв глаза…
– Цурюк!
Цурюк! – кричит конвойный.
Ему ни до чего
И дела нету, право,
И голос у него,
Как у ворон, картавый:
– Цурюк! —
Не молод он,
Устал, до черта жарко,
До черта обозлен,
Себя – и то не жалко…
Бредут ряды солдат
Угрюмой вереницей.
И бабы всем подряд
Заглядывают в лица.
Глазами поперек
И вдоль колонны ловят.
И с чем-то узелок,
Какой ни есть кусок
У многих наготове.
Не муж, не сын, не брат,
Прими, что есть, солдат,
Кивни, скажи что-либо,
Мол, тот гостинец свят
И дорог, мол. Спасибо.
Дала из добрых рук,
За все, что стало вдруг,
С солдата не спросила.
Спасибо, горький друг,
Спасибо, мать-Россия.
А сам, солдат, шагай
И на беду не сетуй:
Ей где-то есть же край,
Не может быть, что нету.
Пусть пахнет пыль золой,
Поля – горелым хлебом
И над родной землей
Висит чужое небо.
И жалкий плач ребят,
Не утихая, длится,

И бабы всем подряд
Заглядывают в лица…
Нет, мать, сестра, жена
И все, кто боль изведал,
Та боль не отмщена
И не прошла с победой.
За этот день один
В селе одном смоленском —
Не отплатил Берлин
Своим стыдом вселенским.
Окаменела память,
Крепка сама собой.
Да будет камнем камень,
Да будет болью боль.

Глава 6

Еще не та была пора,
Что входит прямо в зиму.
Еще с картошки кожура
Счищалась об корзину.
Но становилась холодна
Земля нагрева летнего.
И на ночь мокрая копна
Впускала неприветливо.
И у костра был сон – не сон.
Под робкий треск валежника
Теснила осень из лесов
Тех горьких дней ночлежника.
Манила памятью жилья,
Тепла, еды и прочего.
Кого в зятья,
Кого в мужья, —
Куда придется прочила.
Внушала голосом молвы,
Дождем, погодой золкою,
Что из-под Ельни до Москвы
Идти – дорога долгая…
…В холодной пуне, у стены,
От лишних глаз украдкой,
Сидел отставший от войны
Солдат с женой-солдаткой.
В холодной пуне, не в дому,
Солдат, под стать чужому,
Хлебал, что вынесла ему
Жена тайком из дому.
Хлебал с усердьем горевым,

Забрав горшок в колени.
Жена сидела перед ним
На том остывшем сене,
Что в давний час воскресным днем,
По праздничному делу
В саду косил он под окном,
Когда война приспела.
Глядит хозяйка: он – не он
За гостя в этой пуне.
Недаром, видно, тяжкий сон
Ей снился накануне.
Худой, заросший, словно весь
Посыпанный золою.
Он ел, чтоб, может быть, заесть
Свой стыд и горе злое.
– Бельишка пару собери
Да свежие портянки,
Чтоб мне в порядке до зари
Сниматься со стоянки.
– Все собрала уже, дружок,
Все есть. А ты в дороге
Хотя б здоровье поберег,
И первым делом ноги.
– А что еще? Чудные вы,
С такой заботой, бабы.
Начнем-ка лучше с головы, —
Ее сберечь хотя бы.
И на лице солдата – тень
Усмешки незнакомой.
– Ах, я как вспомню: только день
Ты этот дома.
– Дома!
Я б тоже рад не день побыть, —
Вздохнул. – Прими посуду.
Спасибо. Дай теперь попить.
С войны вернусь, – побуду.
И сладко пьет, родной, большой,
Плечьми упершись в стену,
По бороде его чужой
Катятся капли в сено.
– Да, дома, правду говорят,
Что и вода сырая
Куда вкусней, – сказал солдат,
В раздумье утирая
Усы бахромкой рукава,
И помолчал с минуту. —
А слух такой, что и Москва

На очереди, будто…
Идти – не штука, был бы толк, —
Добавил он с заминкой
И так невесело примолк,
Губами сжав сенинку.
Жена подвинулась к нему
С участливой тревогой.
Мол, верить стоит не всему,
Болтают нынче много.
А немец, может, он теперь
К зиме остепенится…
А он опять:
– Ну, что же, верь
Тому, что нам годится.
Один хороший капитан
Со мной блуждал вначале.
Еще противник по пятам
За нами шел. Не спали,
Не ели мы тогда в пути.
Ну, смерть. Так он, бывало,
Твердил: идти, ползком ползти —
Хотя бы до Урала.
Так человек был духом зол
И ту идею помнил.
– И что же?
– Шел и не дошел.
– Отстал?
– От раны помер.
Болотом шли. А дождь, а ночь,
А тоже холод лютый.
– И не могли ничем помочь?
– И не могли, Анюта…
Лицом к плечу его припав,
К руке – девчонкой малой,
Она схватила за рукав
Его и все держала,
Как будто думала она
Сберечь его хоть силой,
С кем разлучить одна война
Могла, и разлучила.
И друг у друга отняла
В воскресный день июня.
И вновь ненадолго свела
Под крышей этой пуни.
И вот он рядом с ней сидит
Перед другой разлукой.
Не на нее ли он сердит

За этот стыд и муку?
Не ждет ли он, чтобы сама
Жена ему сказала:
– Сойти с ума – идти. Зима.
А сколько до Урала!
И повторяла бы:
– Пойми,
Кому винить солдата,
Что здесь жена его с детьми,
Что здесь – родная хата.
Смотри, пришел домой сосед
И не слезает с печи…
А он тогда сказал бы:
– Нет,
Жена, дурные речи…
Быть может, горький свой удел,
Как хлеб щепоткой соли,
Приправить, скрасить он хотел
Таким геройством, что ли?
А может, просто он устал,
Да так, что через силу
Еще к родным пришел местам,
А дальше – не хватило.
И только совесть не в ладу
С приманкой – думкой этой:
Я дома. Дальше не пойду
Искать войну по свету.
И неизвестно, что верней,
А к горю – в сердце смута.
– Скажи хоть что-нибудь, Андрей.
– Да что сказать, Анюта?
Ведь говори не говори,
А будет легче разве
Сниматься завтра до зари
И пробираться к Вязьме?
Никем не писанный маршрут
Распознавать на звездах.
Дойти до фронта – тяжкий труд,
Дойдешь, а там – не отдых.
Там день один, как год, тяжел,
Что́ день, порой минута…
А тот – он шел и не дошел,
Но все идет как будто.
Ослабший, раненый идет,
Что в гроб кладутся краше.
Идет.
«Товарищи, вперед.

Дойдем. Настанет наше!
Дойдем, иному не бывать,
Своих достигнем линий.
И воевать – не миновать.
А отдыхать?
В Берлине!»
На каждом падая шагу
И поднимаясь снова,
Идет. А как же я могу
Отстать, живой, здоровый?
Мы с ним прошли десятки сел,
Где как, где смертным лазом.
И раз он шел, да не дошел,
Так я дойти обязан.
Дойти. Хоть я и рядовой,
Отстать никак не волен.
Еще добро бы он живой,
А то он – павший воин.
Нельзя! Такие вот дела… —
И ей погладил руку.
А та давно уж поняла,
Что боль – не боль еще была,
Разлука – не разлука.
Что все равно – хоть наземь ляг,
Хоть вдруг лишись дыханья…
Прощалась прежде, да не так,
А вот когда прощанье!
Тихонько руку отняла
И мужние колени
С покорным плачем обняла
На том угретом сене…
И ночь прошла у них.
И вдруг
Сквозь кромку сна на зорьке,
Сквозь запах сена в душу звук
Вошел ей давний, горький:
Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой…

Глава 7

Все сборы в путь любой жены
И без войны не сладки.
И без войны тревог полны
Все сборы в жизни краткой.

Но речь одна, когда добром, —
Не по нужде суровой
Мы край на край и дом на дом
Иной сменить готовы.
Другая речь – в годину бед
Жене самой, без мужа,
Из дома выйти в белый свет
И дверь закрыть снаружи.
С детьми из теплого угла,
С гнезда родного сняться,
Где, может быть, еще могла
Ты весточки дождаться.
С котомкой выйти за порог —
И, всей той мукой мучась,
Брести…
Но если на Восток, —
То как бы ни был путь жесток, —
Бывает горше участь.
Как на родной земле своей,
Так ты, и дом теряя,
Хоть под кустом, а все ж на ней —
В любом далеком крае.
А вот когда чужим судом
Обмен решен иначе, —
Не край на край, не дом на дом,
А плен —
На плен с придачей.
С какой придачей – погоди:
Расчеты эти впереди.
Еще он твой – последний час
В твоем дому, пока
Переведут тебе приказ
С чужого языка.
Но твой – он выбран не тобой —
Лежит на Запад путь.
И взять ни имени с собой,
Ни отчества. Забудь.
Забудь себя еще живой
И номер получи.
И только этот номер свой
На память заучи.
И только можешь ты молчать,
Приказ в дорогу дан.
На нем недвижная печать
И подпись: комендант.
И в нем твой дом, и хлеб, и соль,
Что от немых властей.

И хоть самой – на снег босой,
Троих одеть успей.
Рукой дрожащею лови
Крючки, завязки, мать.
Нехитрой ложью норови
Ребячий страх унять.
Зови меньших живей, живей,
Как в гости, в тот поход.
И только старшенькой своей
Не лги – и так поймет.
И соберись, и уложись,
И в час беды такой
Еще хозяйкой окажись
Проворной и лихой.
И всю свою в дорогу кладь,
Как из огня, схвати.
И перед тем, как выйти, мать,
Не оглянись и не присядь, —
Нельзя.
И дом – прости!..
Прости-прощай, родимый дом,
Раскрытый, разоренный,
И пуня с давешним сенцом,
И садик занесенный.
Прости-прощай, родимый дом,
И двор, и дровосека,
И все, что памятно кругом
Заботой, замыслом, трудом, —
Всей жизнью человека.
Дом, где он жил среди хлопот
И всем хозяйством правил.
И, чтоб годам был виден счет,
Он надпись: тыща девятьсот
Такой-то год поставил.
Среди такой большой земли,
Родной, заветный угол,
Где эти девочки росли
И наряжали кукол.
И где как будто жизнь прошла,
Куда хозяйка дома
Как будто девочкой вошла
К парнишке молодому.
Где пел по веснам свой скворец
И жил, как все на свете,
Порядком вечным: мать, отец,
Потом скворчата-дети.
Пришла в родную сторону

Чужая злая сила.
И порознь мужа и жену
Из дома проводила.
И где-то, где-то он сейчас,
Какой идет дорогой,
Солдат, что воинскую часть
Свою искал с тревогой.
Теперь меж небом и землей,
Огнем вокруг объятой,
Она была его семьей,
Его родною хатой.
И человек среди людей,
Как хлебом и одеждой,
Он был обязан только ей
Своей мечтой-надеждой.
В пути, за тридевять земель,
У Волги ли, у Дона
Свою в виду держал он цель,
Солдат, – дойти до дома.
Хоть кружным, может быть, путем —
Дойдем, придем с победой
Домой!
А что уже тот дом —
Не все ты знал и ведал.
В тот первый день из горьких дней,
Как собрался в дорогу,
Велел отец беречь детей,
Смотреть за домом строго.
Велел сидеть в своем углу
В недобрую годину,
А сам жену в чужом тылу,
В глухом плену покинул.
Ну что ж, солдат, взыщи с нее,
С жены своей, солдатки,
За то, что, может быть, жилье
Родное не в порядке;
Что не могла глядеть назад,
Где дом пылал зажженный,
Как гнал ее чужой солдат
На станцию с колонной;
Что не могла она сберечь
В саду трехлеток-яблонь;
Что шла, покинув дом и печь,
А так детишки зябли!
Что шла, как пленные, в толпе
На Запад под конвоем;
Что не отправила тебе

Письма с дороги, воин.
За все с того, кто виноват,
По всем статьям устава
Взыщи со строгостью, солдат,
Твое, хозяин, право.
Всего и нужно для суда
И для сведенья счетов
Прийти с победою туда,
Проверить, как и что там.
Отдать поклон краям своим,
Припав к земле с винтовкой,
Сквозь смерть прийти туда живым, —
За малым остановка.
Сквозь смерть иди, не умирай,
В жару лица не утирай,
В снегах не мерзни в зиму.
Там, впереди, твой отчий край,
Солдат, твой дом родимый.
Шагай, солдат, свои права
Имея в этом мире,
Шагай, воюй и год, и два,
И три, и все четыре!..
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
Пускай всегда годину ту
На память нам приводит
И первый снег, и рожь в цвету,
Когда под ветром ходит.
И каждый дом и каждый сад
В ряду – большой и малый.
И дня восход и дня закат
Над темным лесом – алый.
Пускай во всем, чем жизнь полна,
Во всем, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было.
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье!

Родился мальчик в дни войны,
Да не в отцовском доме, —
Под шум чужой морской волны
В бараке на соломе.
Еще он в мире не успел
Наделать шуму даже,
Он вскрикнуть только что посмел —
И был уже под стражей.
Уже в числе всех прочих он
Был там, на всякий случай,
Стеной-забором огражден
И проволокой колючей.
И часовые у ворот
Стояли постоянно,
И счетверенный пулемет
На вышке деревянной.
Родился мальчик, брат меньшой
Троих детей крестьянки,
И подают его родной
В подаренной портянке.
И он к груди ее прирос —
Беда в придачу к бедам,
И вкус ее соленых слез
Он с молоком отведал.
И начал жить, пока живой,
Жилец тюрьмы с рожденья.
Чужое море за стеной
Ворочало каменья.
Свирепый ветер по ночам
Со свистом рвался в щели,
В худую крышу дождь стучал,
Как в полог колыбели.
И мать в кругу птенцов своих
Тепло, что с нею было,
Теперь уже не на троих,
На четверых делила.
В сыром тряпье лежала мать,
Своим дыханьем грея
Сынка, что думала назвать
Андреем – в честь Андрея,
Отцовским именем родным.
И в каторжные ночи
Не пела – думала над ним:
– Сынок, родной сыночек.
Зачем ты, горестный такой,

Слеза моя, росиночка,
На свет явился в час лихой,
Краса моя, кровиночка?
Зачем в такой недобрый срок
Зазеленела веточка?
Зачем случился ты, сынок,
Моя родная деточка?
Зачем ты тянешься к груди
Озябшими ручонками,
Не чуя горя впереди,
В тряпье сучишь ножонками?
Живым родился ты на свет,
А в мире зло несытое.
Живым – беда, а мертвым – нет,
У смерти под защитою.
Целуя зябкий кулачок,
На сына мать глядела:
– А я при чем, – скажи сынок, —
А мне какое дело?
Скажи: какое дело мне,
Что ты в беде, родная?
Ни о беде, ни о войне,
Ни о родимой стороне,
Ни о немецкой чужине
Я, мама, знать не знаю.
Зачем мне знать, что белый свет
Для жизни годен мало?
Ни до чего мне дела нет,
Я жить хочу сначала.
Я жить хочу, и пить, и есть,
Хочу тепла и света,
И дела нету мне, что здесь
У вас зима, не лето.
И дела нету мне, что здесь
Шумит чужое море
И что на свете только есть
Большое, злое горе.
Я мал, я слаб, я свежесть дня
Твоею кожей чую,
Дай ветру дунуть на меня —
И руки развяжу я.
Но ты не дашь ему подуть,
Не дашь, моя родная,
Пока твоя вздыхает грудь,
Пока сама живая.
И пусть не лето, а зима,
И ветошь греет слабо,

Со мной ты выживешь сама,
Где выжить не могла бы.
И пусть ползет сырой туман
И ветер дует в щели,
Я буду жить, ведь я так мал,
Я теплюсь еле-еле.
Я мал, я слаб, я нем, и глуп,
И в мире беззащитен;
Но этот мир мне все же люб —
Затем, что я в нем житель.
Я сплю крючком, ни встать, ни сесть
Еще не в силах, пленник,
И не лежал раскрытый весь
Я на твоих коленях.
Я на полу не двигал стул,
Шагая вслед неловко,
Я одуванчику не сдул
Пушистую головку.
Я на крыльцо не выползал
Через порог упрямый,
И даже «мама» не сказал,
Чтоб ты слыхала, мама.
Но разве знает кто-нибудь,
Когда родятся дети,
Какой большой иль малый путь
Им предстоит на свете?
Быть может, счастьем был бы я
Твоим, твой горький, лишний, —
Ведь все большие сыновья
Из маленьких повышли.
Быть может, с ними белый свет
Меня поставит вровень.
А нет, родимая, ну, нет, —
Не я же в том виновен,
Что жить хочу, хочу отца
Признать, обнять на воле.
Ведь я же весь в него с лица —
За то и люб до боли.
Тебе приметы дороги,
Что никому не зримы.
Не дай меня, побереги…
– Не дам, не дам, родимый.
Не дам, не дам, уберегу
И заслоню собою,
Покуда чувствовать могу,
Что ты вот здесь, со мною.
…И мальчик жил, со всех сторон

В тюрьме на всякий случай
Стеной-забором огражден
И проволокой колючей.
И часовые у ворот
Стояли постоянно,
И счетверенный пулемет
На вышке деревянной.
И люди знали: мальчик им —
Родня в беде недетской.
Он виноват, как все, одним:
Что крови не немецкой.
И по утрам, слыхала мать,
Являлся Однорукий,
Кто жив, кто помер, проверять
По правилам науки.
Вдоль по бараку взад-вперед
С немецким табелем пройдет:
Кто умер – ставит галочку,
Кто жив – тому лишь палочку.
И ровным голосом своим,
Ни на кого не глядя,
Убрать покойников – живым
Велит порядка ради.
И мальчик жил. Должно быть, он
Недаром по природе
Был русской женщиной рожден,
Возросшей на свободе.
Должно быть, он среди больших
И маленьких в чужбине
Был по крови крепыш мужик,
Под стать отцу – мужчине.
Он жил да жил. И всем вокруг
Он был в судьбе кромешной
Ровня в беде, тюремный друг,
Был свой – страдалец здешний.
И чья-то добрая рука
В постель совала маме
У потайного камелька
В золе нагретый камень.
А чья-то добрая рука
В жестянке воду грела,
Чтоб мать для сына молока
В груди собрать сумела.
Старик поблизости лежал
В заветной телогрейке
И, умирая, завещал
Ее мальцу, Андрейке.

Из новоприбывших иной —
Гостинцем не погребуй —
Делился с пленною семьей
Последней крошкой хлеба.
И так, порой полумертвы,
У смерти на примете,
Все ж дотянули до травы
Живые мать и дети.
Прошел вдоль моря вешний гром
По хвойным перелескам.
И очутились всем двором
На хуторе немецком.
Хозяин был ни добр, ни зол, —
Ему убраться с полем.
А тут работницу нашел —
Везет за двух, – доволен.
Харчи к столу отвесил ей
По их немецкой норме,
А что касается детей, —
То он рабочих кормит.
А мать родную не учить,
Как на куски кусок делить,
Какой кусок ни скудный,
Какой дележ ни трудный.
И не в новинку день-деньской,
Не привыкать солдатке
Копать лопатою мужской
Да бабьей силой грядки.
Но хоть земля – везде земля,
А как-то по-другому
Чужие пахнут тополя
И прелая солома.
И хоть весна – везде весна,
А жутко вдруг и странно:
В Восточной Пруссии она
С детьми, Сивцова Анна.
Журчал по-своему ручей
В чужих полях нелюбых,
И солона казалась ей
Вода в бетонных трубах.
И на чужом большом дворе
Под кровлей черепичной
Петух, казалось, на заре
Горланит непривычно.
Но там, в чужбине, выждав срок, —
Где что – не разбирая, —
Малютка вылез за порог

Хозяйского сарая.
И дочка старшая в дому,
Кому меньшого нянчить,
Нашла в Германии ему
Пушистый одуванчик.
И слабый мальчик долго дул,
Дышал на ту головку.
И двигал ящик, точно стул,
В ходьбе ловя сноровку.
И, засмотревшись на дворе,
Едва не рухнул в яму.
И все пришло к своей поре,
Впервые молвил:
– Мама.
И мать зажмурилась от слез,
От счастья и от боли,
Что это слово произнес
Ее меньшой в неволе…
Покоса раннего пора
За дальними пределами
Пришла. Запахли клевера,
Ромашки, кашки белые.
И эта памятная смесь
Цветов поры любимой
Была для сердца точно весть
Со стороны родимой.
И этих запахов тоска
В тот чуждый край далекий
Как будто шла издалека —
Издалека с востока.
И мать с детьми могла тогда
Подчас поверить в чудо:
– Вот наш отец придет сюда
И нас возьмет отсюда.
Могло пригрезиться самой
В надежде и тревоге,
Как будто он спешит домой,
Да припоздал в дороге.
А на недальнем рубеже,
У той границы где-то,
Война в четвертое уже
Свое вступала лето.
И по дорогам фронтовым
Мы на дощечках сами
Себе самим,
Кто был живым,
Как заповедь писали:

Не пощади
Врага в бою,
Освободи
Семью
Свою.

Глава 9

Я начал песню в трудный год,
Когда зимой студеной
Война стояла у ворот
Столицы осажденной.
И завершаю в год иной,
Когда от стен Берлина
Пришел солдат с войны домой
Своей дорогой длинной.
Чего, чего не повидал,
Казалось, все знакомо.
Но вот пришел, на взгорке стал —
И ни двора, ни дома.
И там, где канули в огне
Венцы, столбы, стропила, —
Темна, жирна по целине,
Как конопля, крапива.
Да груда глины с кирпичом,
Золою перебитая,
Едва видна на месте том,
Уже травой прошитая.
Глухой, нерадостный покой
Хозяина встречает.
Калеки-яблони с тоской
Гольем ветвей качают.
Глядит солдат: ну, ладно – дом,
А где жена, где дети?..
Да, много лучше о другом,
О добром петь на свете.
Но не минуешь горьких слез,
Которым срок не минул.
Не каждой матери пришлось
Обнять родного сына.
Не каждой женщине – жене,
Родной сестре, невесте —
О тех, что сгинули в войне,
В конце дождаться вести.
Ответ не каждому письму, —
Иное без ответа.
Привет не каждому тому,

Чье сердце ждет привета.
Но если та горька печаль,
Чье место свято в доме,
То, может, легче, да едва ль,
Печаль особой доли.
Печаль подвижника-бойца,
Что год за годом кряду
Войну исполнил до конца,
И вот тебе награда!
Присел на камушке солдат
У бывшего порога,
Больную с палочкою в ряд
Свою устроил ногу.
Давай солдат курить табак,
Сходиться люди стали,
Не из чего-нибудь, а так —
В свидетели печали.
Стоят над нею, опершись
На грабли, на мотыги.
Вздохнул один и молвил:
– Жизнь… —
Другой сказал:
– Как в книге…
А третьи только и могли
Добавить осторожно:
– Еще не все домой пришли
Из той дали острожной.
И отвести старались взгляд
Соседи в разговоре,
Чтоб не видать, как он, солдат,
Давясь, глотает горе.
Не мог он душу освежить
Тем трудным, скрытым плачем…
Все так.
А надо было жить.
И жить хозяин начал.
Погостевал денек-другой.
– Ну что ж, на том спасибо. —
И потянул с больной ногой
На старую селибу.
Перекурил, шинель долой,
Разметил план лопатой.
Коль ждать жену с детьми домой,
Так надо строить хату.
А где боец за столько лет
Себе жилья не строил!
Не только там, где лесу нет,

А нет земли порою.
Где нет земли, один песок,
А то, как камень, грунт жесток,
А то – болото. Мука!
А на земле – не штука.
Так-сяк, колхоз
Леску подвез,
Помог до крыши сруба.
А дальше сам
Мостил, тесал, —
Займись – оно и любо.
И все спешил покончить в срок,
Как будто в хате новой
Скорей солдат увидеть мог
Семью живой-здоровой.
К покосу был окончен дом,
Как раз к поре горячей.
А сам солдат ютился в нем
Со дня, как строить начал.
На свежеструганом полу,
Что облекал прохладой,
Он отдыхал в своем углу
С великою отрадой.
Да что! У смерти на краю,
На каждом новоселье,
И то любитель был свою
Обжить, устроить келью.
Не знаешь, год иль день там быть,
А все же и в землянке
Охота гвоздь какой-то вбить,
Зажечь фитиль в жестянке.
Водой, дровами запастись,
Соломой побогаче.
А там – приказ. И в ночь снялись,
И с тем жильем навек простись! —
А жить нельзя иначе!
Соорудил хозяин стол,
Лежанку возле печи.
И все в порядок произвел
Желанной ради встречи.
Гадал, старался что к чему
Приладить, вспомнить кстати…
И так тоскливо самому
Вдруг стало в этой хате.
Такая горькая нашла
Душе его минута.
– Зачем не ты меня ждала,

А я тебя, Анюта?
И не мила, не дорога
Ему своя светлица…
Пошел солдат с людьми в луга,
Чтоб на людях забыться.
Чтоб горе делом занялось,
Солдат вставал с рассвета
И шире, шире гнал прокос —
За все четыре лета.
Вслед за косой качал солдат
Спиной, от пота серой.
И точно время на свой лад,
Своею мерил мерой.
И добрым ладом шли часы,
И грудь дышала жадно
Цветочным запахом росы,
Живой травы из-под косы —
Горькавой и прохладной.
И сладкий пек июльский зной,
Как в годы молодые,
Когда еще солдат с женой
Ходил в луга впервые.
В луга верст за пять от села.
И пот кипел на коже,
И точно сила, как была, —
Не та, не та, а все же!..
И косу вытерши травой
На остановке краткой,
Он точно голос слушал свой,
Когда звенел лопаткой.
И голос тот как будто вдаль
Взывал с тоской и страстью.
И нес с собой его печаль,
И боль, и веру в счастье.
Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.

1942–1946

За далью – даль

Пора! Ударил отправленье
Вокзал, огнями залитой.
И жизнь, что прожита с рожденья,
Уже как будто за чертой.
Я видел, может быть, полсвета
И вслед за веком жить спешил,
А между тем дороги этой
За столько лет не совершил;
Хотя своей считал дорогой
И про себя ее берег,
Как книгу, что прочесть до срока
Все собирался и не мог.
Мешало многое другое,
Что нынче в памяти у всех.
Мне нужен был запас покоя,
Чтоб ей отдаться без помех.
Но книги первую страницу
Я открываю в срок такой,
Когда покой, как говорится,
Опять уходит на покой…
Я еду. Малый дом со мною,
Что каждый в путь с собой берет.
А мир огромный за стеною,
Как за бортом вода, ревет.
Он над моей поет постелью
И по стеклу сечет крупой,
Дурной, безвременной метелью
Свистит и воет вразнобой.
Он полон сдавленной тревоги,
Беды, что очереди ждет.
Он здесь еще слышней, в дороге,
Лежащей прямо на восход…
Я еду. Спать бы на здоровье,
Но мне покамест не до сна:
Еще огнями Подмосковья
Снаружи ночь озарена.
Еще мне хватит этой полки,
Еще московских суток жаль.
Еще такая даль до Волги,
А там-то и начнется даль —
За той великой водной гранью.
И эта лестница из шпал,
Пройдя Заволжье,
Предуралье,

Взойдет отлого на Урал.
Урал, чьей выработки сталью
Звенит под нами магистраль.
А за Уралом —
Зауралье,
А там своя, иная даль.
А там Байкал, за тою далью, —
В полсуток обогнуть едва ль, —
А за Байкалом —
Забайкалье.
А там еще другая даль,
Что обернется далью новой.
А та, неведомая мне,
Еще с иной, большой, суровой,
Сомкнется и пройдет в окне…
А той порой, отменно точный,
Всего пути исполнив срок,
Придет состав дальневосточный
На Дальний, собственно, Восток;
Где перед станцией последней,
У пограничного столба,
Сдается мне, с земли соседней
Глухая слышится пальба…
Но я еще с Москвою вместе,
Еще во времени одном,
И, точно дома перед сном
Ее последних жду известий;
Она свой голос подает
И мне в моей дороге дальней.
А там из-за моря восход
Встает, как зарево, печальный.
И день войны, нещадный день,
Вступает в горы и долины,
Где городов и деревень
Дымятся вновь и вновь руины.
И длится вновь бессонный труд,
Страда защитников Кореи.
С утра усталые ревут
Береговые батареи…
Идут бои, горит земля.
Не нов, не нов жестокий опыт:
Он в эти горы и поля
Перенесен от стен Европы.
И вы, что горе привезли
На этот берег возрожденный,
От вашей собственной земли
Всем океаном отделенный, —

Хоть в цвет иной рядитесь вы,
Но ошибется мир едва ли:
Мы вас встречали у Москвы
И до Берлина провожали…
Народ – подвижник и герой —
Оружье зла оружьем встретил.
За грех войны – карал войной,
За смерть – печатью смерти метил.
В борьбе исполнен новых сил,
Он в годы грозных испытаний
Восток и Запад пробудил, —
И вот —
Полмира в нашем стане!
Что ж, или тот урок забыт
И вновь, под новым только флагом,
Живой душе война грозит,
Идет на мир знакомым шагом?
И, чуждый жизни, этот шаг,
Врываясь в речь ночных известий,
У человечества в ушах
Стоит, как явь и как предвестье.
С ним не забыться, не уснуть,
С ним не обвыкнуть и не сжиться.
Он – как земля во рву на грудь
Зарытым заживо ложится…
Дорога дальняя моя,
Окрестный мир страны обширной,
Родные русские поля,
В ночи мерцающие мирно, —
Не вам ли памятны года,
Когда по этой магистрали
Во тьме оттуда и туда
Составы без огней бежали;
Когда тянулись в глубь страны
По этой насыпи и рельсам
Заводы – беженцы войны —
И с ними люди – погорельцы;
Когда, стволы зениток ввысь
Подняв над «улицей зеленой»,
Безостановочно неслись
Туда, на запад, эшелоны.
И только, может, мельком взгляд
Тоски немой и бесконечной —
Из роты маршевой солдат
Кидал на санитарный встречный…
Та память вынесенных мук
Жива, притихшая, в народе,

Как рана, что нет-нет – и вдруг
Заговорит к дурной погоде.
Но, люди, счастье наше в том,
Что счастья мы хотим упорно,
Что на века свой строим дом,
Свой мир живой и рукотворный.
Он всех людских надежд оплот,
Он всем людским сердцам доступен.
Его ли смерти мы уступим?..
На Спасской башне полночь бьет…

В дороге

Лиха беда – пути начало,
Запев дается тяжело,
А там, глядишь: пошло, пожалуй?
Строка к строке – ну да, пошло.
Да как пошло!
Сама дорога, —
Ты только душу ей отдай, —
Твоя надежная подмога,
Тебе несет за далью – даль.
Перо поспешно по бумаге
Ведет, и весело тебе:
Взялся огонь, и доброй тяги
Играет музыка в трубе.
И счастья верные приметы:
Озноб, тревожный сердца стук,
И сладким жаром лоб согретый,
И дрожь до дела жадных рук…
…Когда в безвестности до срока,
Не на виду еще, поэт
Творит свой подвиг одиноко,
Заветный свой хранит секрет;
Готовит людям свой подарок,
В тиши затеянный давно, —
Он может быть больным и старым,
Усталым – счастлив все равно.
И даже пусть найдет морока —
Нелепый толк, обидный суд,
Когда бранить его жестоко
На первом выходе начнут, —
Он слышит это и не слышит
В заботах нового труда,
Тем часом он – поэт, он пишет,
Он занимает города.
И все при нем в том добром часе:

Его Варшава и Берлин,
И слава, что еще в запасе,
И он на свете не один.
И пусть за критиками следом
В тот гордый мир войдет жена,
Коснувшись к слову, за обедом
Вопросов хлеба и пшена, —
Все эти беды —
К малым бедам,
Одна беда ему страшна.
Она придет в иную пору,
Когда он некий перевал
Преодолел, взошел на гору
И отовсюду виден стал.
Когда он всеми шумно встречен,
Самим Фадеевым отмечен,
Пшеном в избытке обеспечен,
Друзьями в классики намечен,
Почти уже увековечен,
И хвать писать —
Пропал запал!
Пропал запал.
По всем приметам,
Твой горький день вступил в права.
Все – звоном, запахом и цветом —
Нехороши тебе слова;
Недостоверны мысли, чувства,
Ты строго взвесил их – не те…
И все вокруг мертво и пусто,
И тошно в этой пустоте.
Да, дело будто бы за малым,
А хвать-похвать – и ни рожна.
И здесь беда, что впрямь страшна,
Здесь худо быть больным, усталым,
Здесь горько молодость нужна!
Чтоб не смириться виновато,
Не быть у прошлого в долгу,
Не говорить: я мог когда-то,
А вот уж больше не могу.
Но верным прежней быть гордыне,
Когда ты щедрый, не скупой,
И все, что сделано доныне,
Считаешь только черновой;
Когда, заминкой не встревожен,
Еще беспечен ты и смел,
Еще не думал, что положен
Тебе хоть где-нибудь предел;

Когда – покамест суд да справа —
Богат, широк – полна душа —
Ты водку пьешь еще для славы, —
Не потому, что хороша.
И врешь еще для интересу,
Что нету сна,
И жизнь сложна…
Ах, как ты горько, до зарезу,
Попозже, молодость, нужна!
Пришла беда – и вроде не с кем
Делиться этою бедой.
А время жмет на все железки,
И не проси его:
– Постой!
Повремени, крутое время,
Дай осмотреться, что к чему.
Дай мне в пути поспеть со всеми,
А то, мол, тяжко одному…
И знай, поэт, ты нынче вроде
Как тот солдат, что от полка
Отстал случайно на походе.
И сушит рот ему тоска.
Бредет обочиной дороги.
Туда ли, нет – не знает сам,
И счет в отчаянной тревоге
Ведет потерянным часам.
Один в пути – какой он житель!
Догнать, явиться: виноват,
Отстал, взыщите, накажите…
А как наказан, так – солдат!
Так свой опять – и дело свято.
Хоть потерпел, зато учен.
А что еще там ждет солдата,
То все на свете нипочем…
…Изведав горькую тревогу,
В беде уверившись вполне,
Я в эту бросился дорогу,
Я знал, она поможет мне.
Иль не меня четыре года,
Покамест шла войны страда,
Трепала всякая погода,
Мотала всякая езда.
И был мне тот режим не вреден,
Я жил со всеми наравне.
Давай-ка, брат, давай поедем:
Не только свету, что в окне.
Скорее вон из кельи тесной,

И все не так, и ты хорош, —
Самообман давно известный,
Давно испытанный, а все ж —
Пусть трезвый опыт не перечит,
Что нам дорога – лучший быт.
Она трясет и бьет,
А – лечит.
И старит нас,
А – молодит!
Понять ли доброму соседу,
Что подо мной внизу в купе,
Как сладки мне слова: «Я еду,
Я еду», – повторять себе.
И сколько есть в дороге станций,
Наверно б, я на каждой мог
Сойти с вещами и остаться
На некий неизвестный срок.
Я рад любому месту в мире,
Как новожил московский тот,
Что счастлив жить в любой квартире,
Какую бог ему пошлет.
Я в скуку дальних мест не верю,
И край, где нынче нет меня,
Я ощущаю, как потерю
Из жизни выбывшего дня.
Я сердце по свету рассеять
Готов. Везде хочу поспеть.
Нужны мне разом
Юг и север,
Восток и запад,
Лес и степь;
Моря и каменные горы,
И вольный плес равнинных рек,
И мой родной далекий город,
И тот, где не был я вовек;
И те края, куда я еду,
И те места, куда – нет-нет —
По зарастающему следу
Уводит память давних лет…
Есть два разряда путешествий:
Один – пускаться с места вдаль;
Другой – сидеть себе на месте,
Листать обратно календарь.
На этот раз резон особый
Их сочетать позволит мне.
И тот и тот – мне кстати оба,
И путь мой выгоден вдвойне.

Помимо прочего, при этом
Я полон радости побыть
С самим собою, с белым светом,
Что в жизни вспомнить, что забыть…
Но знай, читатель, эти строки,
С отрадой лежа на боку,
Сложил я, будучи в дороге,
От службы как бы в отпуску, —
Подальше как бы от начальства.
И если доброй ты души,
Ты на меня не ополчайся
И суд свой править не спеши.
Не метусись, как критик вздорный,
По пустякам не трать огня.
И не ищи во мне упорно
Того, что знаешь без меня…
Повремени вскрывать причины
С угрюмой важностью лица.
Прочти хотя б до половины,
Авось прочтешь и до конца.

Семь тысяч рек

Еще сквозь сон на верхней полке
Расслышал я под стук колес,
Как слово первое о Волге
Негромко кто-то произнес.
Встаю – вагон с рассвета в сборе,
Теснясь у каждого окна,
Уже толпится в коридоре, —
Уже вблизи была она.
И пыл волненья необычный
Всех сразу сблизил меж собой,
Как перед аркой пограничной
Иль в первый раз перед Москвой…
И мы стоим с майором в паре,
Припав к стеклу, плечо в плечо,
С кем ночь в купе одном проспали
И не знакомились еще.
Стоим и жадно курим оба,
Полны взаимного добра,
Как будто мы друзья до гроба
Иль вместе выпили с утра.
И уступить спешим друг другу
Мы лучший краешек окна.
И вот мою он тронул руку
И словно выдохнул:

– Она!
– Она!
И тихо засмеялся,
Как будто Волгу он, сосед,
Мне обещал, а сам боялся,
Что вдруг ее на месте нет.
– Она! —
И справа, недалеко,
Моста не видя впереди,
Мы видим плес ее широкий
В разрыве поля на пути.
Казалось, поезд этот с ходу —
Уже спасенья не проси —
Взлетит, внизу оставив воду,
Убрав колеса, как шасси.
Но нет, смиренно ход убавив
У будки крохотной поста,
Втянулся он, как подобает,
В тоннель решетчатый моста.
И загремел над ширью плеса,
Покамест сотни звонких шпал,
Поспешно легших под колеса,
Все до одной не перебрал…
И не успеть вглядеться толком,
А вот уже ушла из глаз
И позади осталась Волга,
В пути не покидая нас;
Не уступая добровольно
Раздумий наших и речей
Ничьей иной красе окольной
И даже памяти ничьей.
Ни этой дали, этой шири,
Что новый край за ней простер.
Ни дерзкой славе рек Сибири,
Коль их касался разговор.
Ни заграницам отдаленным,
Ни любопытной старине,
Ни городам, вчера рожденным,
Как будто взятым на войне.
Ни новым замыслам ученым,
Ни самым, может быть, твоим
Воспоминаньям береженым,
Местам, делам и дням иным…
Должно быть, той влекущей силой,
Что люди знали с давних лет,
Она сердца к себе манила,
Звала их за собою вслед.

Туда, где нынешнею славой
Не смущена еще ничуть,
Она привычно, величаво
Свой древний совершала путь…
Семь тысяч рек,
Ни в чем не равных:
И с гор стремящих бурный бег,
И меж полей в изгибах плавных
Текущих вдаль – семь тысяч рек
Она со всех концов собрала —
Больших и малых – до одной,
Что от Валдая до Урала
Избороздили шар земной.
И в том родстве переплетенном,
Одной причастные семье,
Как будто древом разветвленным
Расположились по земле.
Пусть воды их в ее теченье
Неразличимы, как одна.
Краев несчетных отраженье
Уносит волжская волна.
В нее смотрелось пол-России —
Равнины, горы и леса,
Сады и парки городские
И вся наземная краса:
Кремлевских стен державный гребень,
Соборов главы и кресты;
Ракиты старых сельских гребель,
Многопролетные мосты;
Заводы, вышки буровые,
Деревни с пригородом смесь,
И школьный дом, где ты впервые
Узнал, что в мире Волга есть…
Вот почему нельзя не верить,
Любуясь этою волной,
Что сводит Волга – берег в берег —
Восток и Запад над собой;
Что оба края воедино
Над нею сблизились навек;
Что Волга – это середина
Земли родной.
Семь тысяч рек!
В степи к назначенному сроку,
Извечный свой нарушив ход,
Она пришла донской дорогой
В бескрайний плес всемирных вод.
Ее стремленью уступила

Водораздельная гора.
И стало явью то, что было
Мечтой еще царя Петра,
Наметкой смутной поколений,
Нуждой, что меж несчетных дел
И нужд иных великий Ленин
Уже тогда в виду имел…
Пусть в океанском том смешенье
Ее волна растворена.
Земли родимой отраженье
Уже и там несет она.
Пусть реки есть, каким дорога
Сама собой туда дана
И в мире слава их полна;
Пусть реки есть мощней намного —
Но Волга-матушка одна!
И званье матушки носила
В пути своем не век, не два —
На то особые права —
Она,
Да матушка Россия,
Да с ними матушка Москва.
…Сидим в купе с майором рядом,
Как будто взяли перевал.
Он, мой сосед, под Сталинградом
За эту Волгу воевал.

Две кузницы

На хуторском глухом подворье,
В тени обкуренных берез
Стояла кузница в Загорье,
И я при ней с рожденья рос.
И отсвет жара горнового
Под закопченным потолком,
И свежесть пола земляного,
И запах дыма с деготком —
Привычны мне с тех пор, пожалуй,
Как там, взойдя к отцу в обед,
Мать на руках меня держала,
Когда ей было двадцать лет…
Я помню нашей наковальни
В лесной тиши сиротский звон,
Такой усталый и печальный
По вечерам, как будто он
Вещал вокруг о жизни трудной,
О скудном выручкою дне

В той небогатой, малолюдной,
Негромкой нашей стороне,
Где меж болот, кустов и леса
Терялись бойкие пути;
Где мог бы все свое железо
Мужик под мышкой унести;
Где был заказчик – гость случайный,
Что к кузнецу раз в десять лет
Ходил, как к доктору, от крайней
Нужды, когда уж мочи нет.
И этот голос наковальни,
Да скрип мехов, да шум огня
С далекой той поры начальной
В ушах не молкнет у меня.
Не молкнет память жизни бедной,
Обидной, горькой и глухой,
Пускай исчезнувшей бесследно,
С отцом ушедшей на покой.
И пусть она не повторится,
Но я с нее свой начал путь,
Я и добром, как говорится,
Ее обязан помянуть.
За все ребячьи впечатленья,
Что в зрелый век с собой принес,
За эту кузницу под тенью
Дымком обкуренных берез.
На малой той частице света
Была она для всех вокруг
Тогдашним клубом, и газетой,
И академией наук.
И с топором отхожим плотник,
И старый воин – грудь в крестах,
И местный мученик-охотник
С ружьишком ветхим на гвоздях;
И землемер, и дьякон медный,
И в блестках сбруи коновал,
И скупщик лиха Ицка бедный, —
И кто там только не бывал!
Там был приют суждений ярых
О недалекой старине,
О прежних выдумщиках-барах,
Об ихней пище и вине;
О загранице и России,
О хлебных сказочных краях;
О боге, о нечистой силе,
О полководцах и царях;
О нуждах мира волостного,

Затменьях солнца и луны;
О наставленьях Льва Толстого
И притесненьях от казны…
Там человеческой природе
Отрада редкая была
Побыть в охоту на народе,
Забыть, что жизнь невесела.
Сиди, пристроившись в прохладе,
Чужой махоркою дыми,
Кряхти, вздыхай – не скуки ради,
А за компанию с людьми.
И словно всяк – хозяин-барин,
И ни к чему спешить домой…
Но я особо благодарен
Тем дням за ранний навык мой.
За то, что там ребенком малым
Познал, какие чудеса
Творит союз огня с металлом
В согласье с волей кузнеца.
Я видел в яви это диво,
Как у него под молотком
Рождалось все, чем пашут ниву,
Корчуют лес и рубят дом.
Я им гордился бесконечно,
Я знал уже, что мастер мог
Тем молотком своим кузнечным
Сковать такой же молоток.
Я знал не только понаслышке,
Что труд его в большой чести,
Что без железной кочедыжки
И лаптя даже не сплести.
Мне с той поры в привычку стали
Дутья тугой, бодрящий рев,
Тревожный свет кипящей стали
И под ударом взрыв паров.
И садкий бой кувалды древней,
Что с горделивою тоской
Звенела там, в глуши деревни,
Как отзвук славы заводской.
Полжизни с лишком миновало,
И дался случай мне судьбой
Кувалду главную Урала
В работе видеть боевой.
И хоть волною грозной жара
Я был далеко отстранен,
Земля отчетливо дрожала
Под той кувалдой в тыщи тонн.

Казалось, с каждого удара
У всех под пятками она
С угрюмым стоном припадала,
До скальных недр потрясена…
И пусть тем грохотом вселенским
Я был вначале оглушен,
Своей кувалды деревенской
Я в нем родной расслышал звон.
Я запах, издавна знакомый,
Огня с окалиной вдыхал,
Я был в той кузнице, как дома,
Хоть знал,
Что это был Урал.
Урал!
Завет веков и вместе —
Предвестье будущих времен,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он —
Урал!
Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.
Когда на запад эшелоны,
На край пылающей земли
Ту мощь брони незачехленной
Стволов и гусениц везли, —
Тогда, бывало, поголовно
Весь фронт огромный повторял
Со вздохом нежности сыновней
Два слова:
– Батюшка Урал…
Когда, добром его груженный,
На встречной скорости состав,
Как сквозь тоннель гремит бетонный,
С прогибом рельсов даль прорвав, —
Не диво мне, что люд вагонный,
Среди своих забот, забав,
Невольно связь речей теряя,
На миг как будто шапку снял,
Примолкнет, сердцем повторяя
Два слова:
– Батюшка Урал…
Урал!
Я нынче еду мимо,
И что-то сжалося в груди:
Тебя, как будто край родимый,

Я оставляю позади.
Но сколько раз в дороге дальней
Я повторю – как лег, как встал —
И все теплей и благодарней
Два слова:
– Батюшка Урал…
Урал!
Невольною печалью
Я отдаю прощанью дань…
А за Уралом —
Зауралье,
А там своя, иная даль.

Две дали

Иная даль, иная зона,
И не гранит под полотном —
Глухая мякоть чернозема
Да степь без края за окном.
И на ее равнине плоской —
Где малой рощицей, где врозь —
Старообразные березки
Белеют – голые, как кость.
Идут, сквозные, негустые,
Вдоль горизонта зеленя
Да травы изжелта-седые,
Под ветром ждущие огня.
И час за часом край все шире,
Уже он день и два в окне,
Уже мы едем в той стране,
Где говорят:
– У нас, в Сибири…
Сибирь!
Не что-то там в дали,
Во мгле моей дороги длинной,
Не бог весть где, не край земли,
А край такой же серединный,
Как на Урале был Урал,
А там – Поволжье, Подмосковье,
И все, что ты уже терял
За неустанной встречной новью.
И ненасытная мечта
В пути находит неизменно:
Две дали разом – та и та —
Влекут к себе одновременно…
Стожок подщипанный сенца,
Колодец, будка путевая.

И в оба от нее конца
Уходят, землю обвивая,
Две эти дали, как одна.
И обе вдруг душе предстали.
И до краев душа полна
Теплом восторга и печали…
Опять рассвет вступил в окно —
Ему все ближе путь с востока,
А тот стожок давным-давно
Уже на западе далеко.
И словно год назад прошли
Уральской выемки откосы,
Где громоздились из земли
Пласты породы, как торосы.
И позади, вдали места,
Что так же шли в окне вагона.
И Волга – с волжского моста,
И все за нею перегоны.
Столичный пригород, огни,
Что этот поезд провожали,
И те, что в этот час в тени
Или в лучах закатных, дали…
С дороги – через всю страну —
Я вижу отчий край смоленский
И вспомнить вновь не премину
Мой первый город деревенский.
Он славой с древности гремел,
Но для меня в ребячью пору
Названья даже не имел —
Он был один, был просто город .
И, как тогда я ни был мал,
Я не забыл и не забуду
Тот запах, что в избу вступал
С отцом, приехавшим оттуда.
Как будто, с поскрипом сеней,
С морозным облаком надворья,
В былинках сена из саней
Сам город прибывал в Загорье.
Нездешний, редкий, привозной,
Тревожно-праздничный и пряный,
То запах жизни был иной —
Такой немыслимой и странной.
Он долго жил для нас во всем:
В гостинце каждом и покупке,
В нагольном старом полушубке,
Что побыл в городе с отцом…
Волненью давнему парнишки

Доступна полностью душа,
Как вспомню запах первой книжки
И самый вкус карандаша…
Всем, чем к земле родной привязан,
Чем каждый день и час дышу,
Я, как бы ни было, обязан
Той книжке и карандашу;
Тому ребячьему смятенью,
С каким касался их рукой
И приступал к письму и чтенью —
Науке первой городской.
И что ж такого, что с годами
Я к той поре глухим не стал
И все взыскательнее память
К началу всех моих начал!
Я счастлив тем, что я оттуда,
Из той зимы, из той избы.
И счастлив тем, что я не чудо
Особой, избранной судьбы.
Мы все – почти что поголовно —
Оттуда люди, от земли,
И дальше деда родословной
Не знаем: предки не вели,
Не беспокоились о древе,
Рождались, жили в свой черед.
Хоть род и мой – он так же древен,
Как, скажем, твой, читатель, род…
Читатель!
Друг из самых лучших,
Из всех попутчиков попутчик,
Из всех своих особо свой,
Все кряду слушать мастер дивный,
Неприхотливый, безунывный.
(Не то что слушатель иной,
Что нам встречается в натуре:
То у него сонливый вид,
То он свистит, глаза прищуря,
То сам прорваться норовит.)
Пусть ты меня уже оставил,
Загнув странички уголок,
Зевнул – хоть это против правил, —
И даже пусть на некий срок
Вздремнул ты, лежа или сидя,
Устав от множества стихов, —
Того не зная и не видя,
Я на тебя и не в обиде:
Я сам, по слабости, таков.

Меня, опять же, не убудет,
Коль скажешь ты иль кто другой:
Не многовато ль, дескать, будет
Подряд материи такой,
Как отступленья, восклицанья
Да оговорок этих тьма?
Не стать ли им чрезмерной данью
Заветам старого письма?
Я повторю великодушно:
Не хлопочи о том, дружок, —
Читай, пока не станет скучно,
А там – бросай.
И я – молчок.
Тебя я тотчас покидаю,
Поникнув скромно головой.
Я не о том совсем мечтаю,
Чтоб был читатель волевой,
Что, не страшась печатной тины,
Вплоть до конца несет свой крест
И в силу самодисциплины
Что преподносят, то и ест.
Нет, мне читатель слабовольный,
Нестойкий, пуганый милей:
Уж если вник, – с меня довольно,
Горжусь победою моей,
Волнуясь, руки потираю:
Ты – мой.
И холод по спине:
А вдруг такого потеряю?
Тогда конец и горе мне.
Тогда забьюсь в куток под лавкой
И затаю свою беду.
А нет – на должность с твердой ставкой
В Союз писателей пойду…
Продолжим, стало быть, беседу.
Для одного тебя, учти,
Я с юных дней иду и еду
И столько лет уже в пути.
И все одна командировка, —
Она мне слишком дорога…
Но что там – вроде остановка?
– Какая станция?
– Тайга.
Состав стоит, пробег немалый
В пути оставив за хвостом.
И от уставшего металла
Внизу течет звенящий стон.

Снаружи говор оживленный,
В огне перрон, как днем светло.
Опять за стенкою вагонной
Полтыщи верст в ночи прошло.
Прошли мосты, мелькнули реки,
Минули целые края,
Которых, может быть, вовеки
Вот так и не увижу я,
И что за земли – знать не буду —
Во сне ушли из-под колес…
А тут еще весны причуды, —
Не вспять ли время подалось?
Как будто мы в таежный пояс
Вошли за станцией Тайгой.
Теплом полей обдутый поезд
Как будто взял маршрут другой.
Как будто вдруг сменился климат:
Зима – и все вокруг бело.
Сухой пурги дремотным дымом
Костлявый лес заволокло…
Но, с путевой надежной сталью
Смыкая туго сталь колес,
Спешит состав за новой далью,
Гребет пространство паровоз.
И разрывает мир единый,
Что отступает с двух сторон,
На две большие половины,
На юг и север вдоль окон.
Сквозь муть пурги еще невнятно
Вступает новый край в права.
А где-то там, в дали обратной, —
Урал, и Волга, и Москва,
Смоленск, мосты и переправы
Днепра, Березины, Двины,
Весь запад – до границ державы
И дальше – по следам войны,
По рубежам ее остывшим,
По блиндажам ее оплывшим,
По стольким памятным местам…
Я здесь, в пути, но я и там —
И в той дороге незабвенной,
У тех, у дорогих могил,
Где мой герой поры военной
С войсками фронта проходил.
Хоть та пора все дале, дале,
Все больше верст, все больше дней.
Хоть свет иной, желанной дали

В окне вагона все видней.

Литературный разговор

А скажем прямо, что не шутки —
Уже одно житье-бытье,
Когда в дороге третьи сутки —
Еще едва ли треть ее.
Когда в пути почти полмира
Через огромные края
Пройдет вагон – твоя квартира,
Твой дом и улица твоя…
В такой дороге крайне дорог
Особый лад на этот срок,
Чтоб все тебе пришлося впору,
Как добрый по ноге сапог.
И время года, и погода,
И звук привычного гудка,
И даже радио в охоту,
И самовар проводника…
С людьми в дороге надо сжиться,
Чтоб стали как свои тебе
Впервые встреченные лица
Твоих соседей по купе.
Как мой майор, седой и тучный,
С краснотцей жесткой бритых щек,
Иль этот старичок научный,
Сквозной, как молодой сморчок.
И чтоб в привычку стали вскоре,
Как с давних пор заведено,
Полузнакомства в коридоре,
Где на двоих-троих окно;
Где моряка хрустящий китель
В соседстве с мягким пиджаком,
Где областной руководитель —
Не в кабинете со звонком;
Где в орденах старик кудрявый
Таит в улыбке торжество
Своей, быть может, громкой славы,
Безвестной спутникам его;
Где дама строгая в пижаме
Загромоздит порой проход,
Смущая щеголя с усами,
Что не растут такие сами
Без долгих, вдумчивых забот;
Где все – как все: горняк, охотник,
Путеец, врач солидных лет

И лысый творческий работник,
С утра освоивший буфет.
Все сведены дорожной далью:
И тот, и та, и я, и вы,
И даже – к счету – поп с медалью
Восьмисотлетия Москвы…
И только держатся особо,
Друг другом заняты вполне, —
Выпускники, наверно, оба —
Молодожены в стороне.
Рука с рукой – по-детски мило —
Они у крайнего окна
Стоят посередине мира —
Он и она,
Муж и жена.
Своя безмолвная беседа
У этой новенькой четы.
На край земли, быть может, едут,
А может, только до Читы.
Ну, до какой-нибудь Могочи,
Что за Читою невдали.
А может, путь того короче.
А что такое край земли?
Тот край и есть такое место,
Как раз такая сторона,
Куда извечно,
Как известно,
Была любовь устремлена.
Ей лучше знать, что все едино,
Что место, где ни загадай,
Оно – и край, и середина,
И наша близь, и наша даль.
А что ей в мире все напасти,
Когда при ней ее запас!
А что такое в жизни счастье?
Вот это самое как раз —
Их двое, близко ли, далеко,
В любую часть земли родной,
С надеждой ясной и высокой
Держащих путь – рука с рукой…
Нет, хорошо в дороге долгой
В купе освоить уголок
С окошком, столиком и полкой
И ехать, лежа поперек
Дороги той.
И ты не прежний,
Не тот, чем звался, знался, жил,

А безымянный, безмятежный,
Спокойный, дальний пассажир.
И нет на лбу иного знака,
Дымишь, как всякий табакур.
Отрада полная.
Однако
Не обольщайся чересчур…
Хоть не в твоей совсем натуре
Трибуной тешиться в пути,
Но эту дань литературе
И здесь приходится нести.
Провинциальный ли, столичный —
Читатель наш воспитан так,
Что он особо любит личный
Иметь с писателем контакт;
Заполнить устную анкету
И на досуге, без помех
Призвать, как принято, к ответу
Не одного тебя, а всех.
Того-то вы не отразили,
Того-то не дали опять.
А сколько вас в одной России?
Наверно, будет тысяч пять?
Мол, дело, собственно, не в счете,
Но мимо вас проходит жизнь,
А вы, должно быть, водку пьете,
По кабинетам запершись.
На стройку вас, в колхозы срочно,
Оторвались, в себя ушли…
И ты киваешь:
– Точно, точно,
Не отразили, не учли…
Но вот другой:
– Ах, что там – стройка,
Завод, колхоз! Не в этом суть.
Бывает, их наедет столько,
Творцов, певцов.
А толку – чуть.
Роман заранее напишут,
Приедут, пылью той подышат,
Потычут палочкой в бетон,
Сверяя с жизнью первый том.
Глядишь, роман, и все в порядке:
Показан метод новой кладки.
Отсталый зам, растущий пред
И в коммунизм идущий дед;
Она и он – передовые,

Мотор, запущенный впервые,
Парторг, буран, прорыв, аврал,
Министр в цехах и общий бал…
И все похоже, все подобно
Тому, что есть иль может быть,
А в целом – вот как несъедобно,
Что в голос хочется завыть.
Да неужели
В самом деле
Тоска такая все кругом —
Все наши дни, труды, идеи
И завтра нашего закон?
Нет, как хотите, добровольно
Не соглашусь, не уступлю.
Мне в жизни радостно и больно,
Я верю, мучаюсь, люблю.
Я счастлив жить, служить отчизне,
Я за нее ходил на бой.
Я и рожден на свет для жизни —
Не для статьи передовой.
Кончаю книгу в раздраженье.
С души воротит: где же край?
А края нет. Есть продолженье.
Нет, братец, хватит. Совесть знай.
И ты киваешь:
– Верно, верно,
Понятно, критика права…
Но ты их слушать рад безмерно —
Все эти горькие слова.
За их судом и шуткой грубой
Ты различаешь без труда
Одно, что дорого и любо
Душе, мечте твоей всегда, —
Желанье той счастливой встречи
С тобой иль с кем-нибудь иным,
Где жар живой, правдивой речи,
А не вранья холодный дым;
Где все твое незаменимо,
И есть за что тебя любить,
И ты тот самый, тот любимый,
Каким еще ты можешь быть.
И ради той любви бесценной,
Забыв о горечи годов,
Готов трудиться ты и денно
И нощно —
Душу сжечь готов.
Готов на все суды и толки

Махнуть рукой. Все в этом долге,
Все в этой доблести. А там…
Вдруг новый голос с верхней полки:
– Не выйдет…
– То есть как?
– Не дам…
Не то чтоб это окрик зычный,
Нет, но особый жесткий тон,
С каким начальники обычно
Отказ роняют в телефон.
– Не выйдет, – протянул вторично.
– Но кто вы там, над головой?
– Ты это знаешь сам отлично…
– А все же?
– Я – редактор твой.
И с полки, голову со смехом
Мой третий свесил вдруг сосед:
– Ты думал что? Что ты уехал
И от меня? Нет, милый, нет.
Мы и в пути с тобой соседи,
И все я слышу в полусне.
Лишь до поры мешать беседе,
Признаться, не хотелось мне.
Мне было попросту занятно,
Смотрю: ну до чего хорош.
Ну как горяч невероятно,
Как смел! И как ты на попятный
От самого себя пойдешь.
Как, позабавившись игрою,
Ударишь сам себе отбой.
Зачем? Затем, что я с тобою —
Всегда, везде – редактор твой.
Ведь ты над белою бумагой,
Объятый творческой мечтой,
Ты, умник, без меня ни шагу,
Ни строчки и ни запятой.
Я только мелочи убавлю
Там, сям – и ты как будто цел.
И все нетронутым оставлю,
Что сам ты вычеркнуть хотел.
Там карандаш, а тут резинка,
И все по чести, все любя.
И в свет ты выйдешь как картинка,
Какой задумал я тебя.
– Стой, погоди, – сказал я строго,
Хоть самого кидало в дрожь. —
Стой, погоди, ты слишком много,

Редактор, на себя берешь!
И, голос вкрадчиво снижая,
Он отвечает:
– Не беру.
Отнюдь. Я все препоручаю
Тебе и твоему перу.
Мне самому-то нет расчету
Корпеть, черкать, судьбу кляня.
Понятно? Всю мою работу
Ты исполняешь за меня.
Вот в чем секрет, аника-воин,
И спорить незачем теперь.
Все так. И я тобой доволен
И не нарадуюсь, поверь.
Я всем тебя предпочитаю,
Примером ставлю – вот поэт,
Кого я просто не читаю:
Тут опасаться нужды нет.
И подмигнул мне хитрым глазом:
Мол, ты, да я, да мы с тобой…
Но тут его прервал я разом:
– Поговорил – слезай долой.
В каком ни есть ты важном чине,
Но я тебе не подчинен
По той одной простой причине,
Что ты не явь, а только сон
Дурной. Бездарность и безделье
Тебя, как пугало земли,
Зачав с угрюмого похмелья,
На белый свет произвели.
В труде, в страде моей бессонной
Тебя и знать не знаю я.
Ты есть за этой только зоной,
Ты – только тень.
Ты – лень моя.
Встряхнусь – и нет тебя в помине,
И не слышна пустая речь.
Ты только в слабости, в унынье
Меня способен подстеречь.
Когда, утратив пыл работы,
И я порой клоню к тому,
Что где-то кто-то или что-то
Перу помеха моему…
И о тебе все эти строчки,
Чтоб кто другой, смеясь, прочел, —
Ведь я их выдумал до точки,
Я сам. А ты-то здесь при чем?

А между тем народ вагонный,
Как зал, заполнив коридор,
Стоял и слушал возбужденно
Весь этот жаркий разговор.
И молча тешились забавой
Майор с научным старичком.
И пустовала полка справа:
В купе мы ехали втроем.
И только – будь я суевером —
Я б утверждать, пожалуй, мог,
Что с этой полки запах серы
В отдушник медленно протек…

Огни Сибири

Сибирь!
Леса и горы скопом,
Земли довольно, чтоб на ней
Раздаться вширь
Пяти Европам
Со всею музыкой своей.
Могучий край всемирной славы,
Что грозной щедростью стяжал,
Завод и житница державы,
Ее рудник и арсенал.
Край, где несметный клад заложен,
Под слоем – слой мощней вдвойне.
Иной еще не потревожен,
Как донный лед на глубине.
Родимый край лихих Сибирских
Трем войнам памятных полков
С иртышских,
Томских,
Обских,
Бийских
И енисейских берегов…
Сестра Урала и Алтая,
Своя, родная вдаль и вширь,
С плечом великого Китая
Плечо сомкнувшая, Сибирь!
Сибирь!
И лег и встал – и снова —
Вдоль полотна пути Сибирь.
Но как дремучестью суровой
Еще объят ее пустырь!
Идет, идет в окне экспресса
Вдоль этой просеки одной

Неотодвинутого леса
Оббитый ветром перестой.
По хвойной тьме – березы проседь…
Откосы сумрачные гор…
И все кругом – как бы укор
Из давней давности доносит.
Земля пробитых в глушь путей,
Несчетных верст и редких дымов,
Как мало знала ты людей,
Кому была б землей родимой!
Кому была бы той одной,
Что с нами в радости и в горе,
Как юг иль степь душе иной,
Как взморье с теплою волной,
Как мне навек мое Загорье…
Недоброй славы край глухой.
В новинку твой нелегок норов.
Ушел тот век, настал другой,
Но ты – все ты – с твоим укором.
И в старых песнях не устал
Взывать с тоской неутолимой
Твой Александровский централ
И твой бродяга с Сахалина.
Да, горделивая душа
Звучит и в песнях, с бурей споря,
О диком береге Иртыша
И о твоем священном море.
Но, может быть, в твоей судьбе,
И величавой и суровой,
Чего недодано тебе —
Так это мощной песни новой!
Что из конца прошла б в конец
По всем краям с зазывной силой
И с миллионами сердец
Тебя навеки породнила.
Та честь была бы дорога,
И слава – не товар лежалый,
Когда бы мне принадлежала
В той песне добрая строка…
И снова – сутки прочь, и снова —
Сибирь!
Как свист пурги – Сибирь, —
Звучит и ныне это слово,
Но та ли только эта быль?!
В часы дорожные ночные
Вглядишься – глаз не отвести:
Как Млечный Путь, огни земные

Вдоль моего текут пути
Над глухоманью вековечной,
Что днем и то была темна.
И, точно в небе, эта млечность
Тревожна чем-то и скрытна…
Текут, бегут огни Сибири,
И с нерассказанной красой
Сквозь непроглядность этой шири
И дали длятся полосой.
Лучатся в тех угрюмых зонах,
Где время шло во мгле слепой,
Дробятся в дебрях потрясенных,
Смыкая зарева бессонных
Таежных кузниц меж собой.
И в том немеркнущем свеченье
Вдали угадываю я
Ночное позднее движенье,
Оседлый мир, тепло жилья,
Нелегкий труд и отдых сладкий,
Уют особенной цены,
Что с первой детскою кроваткой
У голой лепится стены…
Как знать, какой отрадой дивной
И там бывает жизнь полна —
С тайгою дикой, серединной,
Чуть отступившей от окна;
С углом в бараке закопченном
И чаем в кружке жестяной, —
Под стать моим молодоженам,
Что едут рядом за стеной,
У первой нежности во власти,
В плену у юности своей…
И что такое в жизни счастье,
Как ни мудри, а им видней…
Так час ли, два в работе поезд,
А точно годы протекли,
И этот долгий звездный пояс
Уж опоясал полземли.
А что там – в каждом поселенье,
И кем освоена она,
На озаренном протяженье
Лесная эта сторона.
И как в иной таежный угол
Издалека вели сюда
Кого приказ,
Кого заслуга,
Кого мечта,

Кого беда…
Но до того, как жизнь рассудит,
Судьбу назвав, какая чья,
Любой из тысяч этих судеб
И так и так обязан я.
Хотя бы тем одним, что знаю,
Что полон памятью живой
Твоих огней, Сибирь ночная,
Когда все та же, не иная,
Видна ты далее дневной…
Тот свет по ней идет все шире,
Как день сменяя ночи тьму.
И что! Какие силы в мире
Потщатся путь закрыть ему!
Он и в столетьях не померкнет,
Тот вещий отблеск наших дней.
Он – жизнь.
А жизнь сильнее смерти:
Ей больше нужно от людей.
И перемен бесповоротных
Неукротим победный ход.
В нем власть и воля душ несчетных,
В нем страсть, что вдаль меня зовет.
Мне дорог мир большой и трудный,
Я в нем – моей отчизны сын.
Я полон с ней мечтою чудной —
Дойти до избранных вершин.
Я до конца в походе с нею,
И мне все тяготы легки.
Я всех врагов ее сильнее:
Мои враги —
Ее враги.
Да, я причастен гордой силе
И в этом мире – богатырь
С тобой, Москва,
С тобой, Россия,
С тобою, звездная Сибирь!
Со всем – без края, без предела,
С чем людям жить и счастью быть.
Люблю!
И что со мной ни делай,
А мне уже не разлюбить.
И той любви надежной мерой
Мне мерить жизнь и смерть до дна.
И нет на свете большей веры,
Что сердцу может быть дана.

С самим собой

Избыток лет бесповоротных
Не лечит слабостей иных:
Я все, как в юности, охотник
До разговоров молодых.
Я все, как в дни мои былые,
Хоть до утра часов с восьми
Решать вопросы мировые
Любитель, хлебом не корми.
Мне дорог дружбы неподдельной
Душевный лад и обиход,
Где слово шутки безыдейной
Тотчас тебе не ставят в счет;
Где о грядущих днях Сибири,
Пути гвардейского полка,
Целинных землях и Шекспире,
Вреде вина и табака
И обо всем на белом свете
Беспротокольный склад речей, —
Ты лишь у смеха на примете
На случай глупости твоей…
Так вот, как высказано выше,
С годами важен я не стал,
Еще не весь, должно быть, вышел
Живучей юности запал.
Нет, я живу, спешу тревожно —
Не тем ли доля хороша —
Заполнить мой дневник дорожный
Всем, чем полна еще душа;
Что бьется, просится наружу, —
И будь такой ли он, сякой, —
Читатель-друг, я не нарушу
Условий дружбы дорогой.
Согласно принятому плану,
Вернусь назад, рванусь вперед.
Но я, по совести, не стану
Зазря вводить тебя в расход.
Я не позволю на мякину
Тебя заманивать хитро.
И не скажу, что сердце выну:
Ему на месте быть добро.
С меня довольно было б чуда
И велика была бы честь
То слово вынуть из-под спуда,
Что нужно всем, как пить и есть.
У бога дней не так уж много,

Но стану ль попусту скорбеть,
Когда не вся еще дорога
И есть что видеть, есть что петь.
Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу – света и тепла.
И сказок в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.
И в захолустье, потрясенном
Всемирным чудом наших дней, —
Старинных зим с певучим стоном
Далеких – за лесом – саней.
И весен в дружном развороте,
Морей и речек на дворе,
Икры лягушечьей в болоте,
Смолы у сосен на коре.
И летних гроз, грибов и ягод,
Росистых троп в траве глухой,
Пастушьих радостей и тягот
И слез над книгой дорогой.
И ранней горечи и боли,
И детской мстительной мечты.
И дней, не высиженных в школе,
И босоты, и наготы.
Всего – и скудости унылой
В потемках отчего угла…
Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Ни щедрой выдачей здоровья
И сил, что были про запас,
Ни первой дружбой и любовью,
Что во второй не встретишь раз.
Ни славы замыслом зеленым,
Отравой сладкой строк и слов;
Ни кружкой с дымным самогоном
В кругу певцов и мудрецов —
Тихонь и спорщиков до страсти,
Чей толк не прост и речь остра
Насчет былой и новой власти,
Насчет добра
И недобра…
Чтоб жил и был всегда с народом,
Чтоб ведал все, что станет с ним,
Не обошла тридцатым годом.

И сорок первым. И иным…
И столько в сердце поместила,
Что диву даться до поры,
Какие жесткие под силу
Ему ознобы и жары.
И что мне малые напасти
И незадачи на пути,
Когда я знаю это счастье —
Не мимоходом жизнь пройти.
Не мимоездом, стороною
Ее увидеть без хлопот —
Но знать горбом и всей спиною
Ее крутой и жесткий пот.
И будто дело молодое —
Все, что затеял и слепил,
Считать одной лишь малой долей
Того, что людям должен был.
Зато порукой обоюдной
Любая скрашена страда;
Еще и впредь мне будет трудно,
Но чтобы страшно —
Никогда.

Друг детства

И дружбы долг, и честь, и совесть
Велят мне в книгу занести
Одной судьбы особой повесть,
Что сердцу встала на пути…
Я не скажу, что в ней отрада,
Что память эта мне легка,
Но мне свое исполнить надо,
Чтоб вдаль глядеть наверняка.
В ней и великой нет заслуги, —
Не тем помечена числом…
А речь идет о старом друге,
О лучшем сверстнике моем.
С кем мы пасли скотину в поле,
Палили в залесье костры,
С кем вместе в школе,
В комсомоле
И всюду были до поры.
И врозь по взрослым шли дорогам
С запасом дружбы юных дней.
И я-то знаю: он во многом
Был безупречней и сильней.
Я знаю, если б не случиться

Разлуке, горшей из разлук,
Я мог бы тем одним гордиться,
Что это был мой первый друг.
Но годы целые за мною,
Весь этот жизни лучший срок —
Та дружба числилась виною,
Что мне любой напомнить мог…
Легка ты, мудрость, на помине:
Лес рубят – щепки, мол, летят.
Но за удел такой доныне
Не предусмотрено наград.
А жаль!
Вот, собственно, и повесть,
И не мудрен ее сюжет…
Стояли наш и встречный поезд
В тайге на станции Тайшет.
Два знатных поезда, и каждый
Был полон судеб, срочных дел
И с независимостью важной
На окна встречного глядел.
Один туда, другой обратно.
Равны маршруты и права.
– «Москва – Владивосток»? Понятно.
– Так-так: «Владивосток – Москва»…
Я вышел в людный шум перронный,
В минутный вторгнулся поток
Газетой запастись районной,
Весенней клюквы взять кулек.
В толпе размять бока со смаком,
Весь этот обозреть мирок —
До окончаний с твердым знаком
В словах: «Багажъ» и «Кипятокъ»…
Да, я люблю тебя душевно
И, сколько еду, все не сыт
Тобой, дорожный, многодневный,
Простой и в меру быстрый быт.
Вагон и эти остановки
Всего бегущего в окне,
И даже самозаготовки
По среднерыночной цене…
Так, благодушествуя вволю,
Иду. Не скоро ли свисток?
Вдруг точно отзыв давней боли
Внутри во мне прошел, как ток…
Кого я в памяти обычной,
Среди иных потерь своих,
Как за чертою пограничной,

Держал,
он, вот он был,
в живых.
Я не ошибся, хоть и годы
И эта стеганка на нем.
Он!
И меня узнал он, с ходу
Ко мне работает плечом.
И чувство стыдное испуга,
Беды пришло еще на миг,
Но мы уже трясли друг друга
За плечи, за руки…
– Старик!
– Старик! —
Взаимной давней клички
Пустое, в сущности, словцо
Явилось вдруг по той привычке,
А я смотрю ему в лицо:
Все то же в нем, что прежде было,
Но седина, усталость глаз,
Зубов казенных блеск унылый —
Словцо то нынче в самый раз,
Ровесник-друг. А я-то что же?
Хоть не ступал за тот порог,
И я, конечно, не моложе,
Одно, что зубы уберег.
– Старик.
И нет нелепей муки:
Ему ли, мне ль свисток дадут,
И вот семнадцать лет разлуки
И этой встречи пять минут!
И вот они легли меж нами —
Леса, и горы, и моря,
И годы, годы с их мечтами,
Трудами,
войнами,
смертями —
Вся жизнь его,
Вся жизнь моя…
– Ну вот, и свиделись с тобою.
Ну, жив, здоров?
– Как видишь, жив.
Хоть непривычно без конвоя,
Но, так ли, сяк ли, пассажир
Заправский: с полкой и билетом…
– Домой?
– Да как сказать, где дом…

– Ах, да! Прости, что я об этом…
– Ну, что там, можно и о том.
Как раз, как в песенке не новой,
Под стать приходятся слова:
«Жена найдет себе другого,
А мать…» Но если и жива…
– Так. Ты туда, а я обратно…
– Да, встреча: вышел, вдруг – смотрю..
– И я смотрю: невероятно…
– Не куришь?
– Как еще курю!
Стоим. И будто все вопросы.
И встреча как ни коротка,
Но что еще без папиросы
Могли мы делать до свистка?
Уже его мы оба ждали,
Когда донесся этот звук.
Нам разрешали
Наши дали
Друг друга выпустить из рук…
– Пора!
– Ну что же, до свиданья.
– Так ты смотри – звони, пиши…
Слова как будто в оправданье,
Что тяжесть некая с души.
И тут, на росстани тайшетской,
Когда вагон уже потек,
Он, прибодрившись молодецки,
Вдруг взял мне вслед под козырек.
И этот жест полушутливый,
Из глаз ушедший через миг,
Тоской безмолвного порыва
Мне в сердце самое проник.
И все. И нету остановки.
И не сойти уже мне здесь,
Махнув на все командировки,
Чтоб в поезд к другу пересесть.
И от нелегкой этой были,
На встречной скорости двойной,
Мы в два конца свои спешили
Впритирку с ветром за стеной.
Бежал, размеченный столбами,
Как бы кружась в окне, простор.
И расстоянье между нами
Росло на запад и восток.
И каждый миг был новой вехой
Пути, что звал к местам иным…

А между тем я как бы ехал
И с ним, товарищем моим.
И подо мной опять гудела
В пути оставленная сталь.
И до обратного предела
Располагалась та же даль.
И от вокзала до вокзала
Я снова в грудь ее вбирал:
И тьму тайги, и плес Байкала,
И степь, и дымчатый Урал.
И к Волге-матушке с востока
Я приближался в должный срок
И, стоя с другом локоть в локоть,
Ее заранее стерег.
А через сутки с другом вместе,
Вцепившись намертво в окно,
Встречал столичные предместья,
Как будто их давным-давно,
Как он, не видел. И с тревогой
В вокзальный тот вступал поток…
А между тем своей дорогой
Все дальше ехал на восток.
И разве диво то, что с другом
Не мог расстаться я вполне?
Он был недремлющим недугом,
Что столько лет горел во мне.
Он сердца был живою частью,
Бедой и болью потайной.
И годы были не во власти
Нас разделить своей стеной.
И, не кичась судьбой иною,
Я постигал его удел.
Я с другом был за той стеною.
И ведал все. И хлеб тот ел.
В труде, в пути, в страде походной
Я неразлучен был с одной
И той же думой неисходной, —
Да, я с ним был, как он со мной.
Он всюду шел со мной по свету,
Всему причастен на земле.
По одному со мной билету,
Как равный гость, бывал в Кремле.
И те же радости и беды
Душой сыновней ведал он:
И всю войну,
И День Победы,
И дело нынешних времен.

Я знал: вседневно и всечасно
Его любовь была верна.
Винить в беде своей безгласной
Страну?
При чем же здесь страна!
Он жил ее мечтой высокой,
Он вместе с ней глядел вперед.
Винить в своей судьбе жестокой
Народ?
Какой же тут народ!..
И минул день в пути и вечер.
И ночь уже прошла в окне,
А боль и радость этой встречи,
Как жар, теснилися во мне.
Врываясь в даль, работал поезд,
И мне тогда еще в пути
Стучала в сердце эта повесть,
Что я не вправе обойти.
Нет, обойти ее – не дело
И не резон душе моей:
Мне правда партии велела
Всегда во всем быть верным ей.
С той правдой малого разлада
Не понесет моя строка.
И мне свое исполнить надо,
Чтоб вдаль глядеть наверняка.

Фронт и тыл

Быть может, этот спор дорожный,
Порой почти пустопорожний,
Но жаркий – грудь на грудь, в упор, —
В вагоне шел бы до сих пор,
Не встрянь с улыбкой осторожной
И легким вздохом мой майор.
А может, перед вспышкой новой
Он сам собою поостыл,
Всегда, везде зайти готовый
Тот спор на тему:
Фронт и тыл …
Давно война отгрохотала,
Давно в страде иной страна
Свои убытки наверстала, —
Душа, казалось бы, полна.
Однако, – нужды нет лукавить, —
Душа, минуя давность лет,
Той горькой памяти оставить

Еще не может и – нет-нет —
В тот самый заступает след.
И неизмеренное море
Печали, тяжких мук и горя
И славы – тот душевный пыл,
Что вновь и вновь родится в споре
На эту тему: фронт и тыл.
Он возникает не по знаку
Организованных начал,
А сам собой и тоже всяко:
То днем, а то и по ночам.
В пути, в гостинице, в больнице,
На переправе затяжной,
В районе, в области, в столице,
В гостях и дома, – хоть с женой.
В бараке, в клубе и сторожке,
В тайге, в степи, на целине,
«На кукурузе», «на картошке», —
Как говорят еще в стране.
На даче, на горячем пляже,
В Крыму и в заполярной тьме,
Во льдах торосистых, и даже
Не диво, если и в тюрьме…
Но время лучшее для спора,
Когда Москва – его исток,
А устье – где-то там, не скоро,
В конце, вдали – Владивосток.
Итак, в дороге три-четыре,
А то и пять, пожалуй, дней
Шел спор о фронте и о тыле, —
Не что важней,
А где трудней.
Спор в постановке чисто русской:
Где круче в смысле всех страстей —
Обычной на душу нагрузки,
Жары,
морозов
и харчей.
Горячность пылкая без меры
Со стороны фронтовика,
Минувшей службы офицера,
Рвалася вон из пиджака.
Казалось, был он кровный, личный,
Извечный враг тыловиков,
Да и оратор был каков! —
Куда там – наш трибун столичный,
Любимец публики Сурков.

Казалось так в разгаре спора,
Что он, случись в иную пору,
Отцу б родному не простил,
Когда бы с цехом иль конторой
Старик нестойкий убыл в тыл
И под огнем на фронте не был,
Не отступал за Днепр и Дон…
Должно быть, там с овчинку небо
Однажды сам увидел он.
И это тяжкое виденье
Он нес теперь сквозь жизнь свою,
Крутого полон озлобленья
На всех, кто не был в том бою…
Зато его противник в споре
Прощал охотно старика.
И о своей тех лет конторе
Он дал понять издалека.
На пафос тот, отчасти зверский,
Он отвечал – уму учил —
С улыбкой мягко-министерской
Больших секретарей-мужчин,
Что лишены обычной страсти
И с правом входа на доклад
Располагают большей властью,
Чем тот, при коем состоят…
Сперва с усталостью заметной
Он пояснил, что не секрет,
В наш век – век атомно-ракетный —
Былых понятий фронта нет,
Как нет былых понятий тыла.
Но с точки зренья прежних дней
Понятно, где труднее было:
В тылу у нас – куда трудней.
Он так сказал: ходить в атаки
И умирать, коль выпал час,
Есть тот гражданский долг, что всякий
Обязан выполнить из нас.
Он к месту вспомнил утвержденья
Самих прославленных вояк,
Что нет героев от рожденья, —
Они рождаются в боях.
И возразить, казалось, нечем,
Когда вздохнул он тихо:
– Но… —
В тылу, мол, дело обеспечить
Уже не всякому дано.
И в правоте неоспоримой

Подвел черту, как говорят:
Тыл фронту, верно, брат родимый,
Но он сказал бы:
Старший брат.
Сказал – гляди, куда как метче —
И с новым вздохом повторил:
Тыл – старший брат, за все ответчик, —
И потому избрал он тыл.
Ему в годину испытаний
Крепить его велел закон.
С ним разговаривать не стали,
Когда на фронт просился он…
И, дескать, несколько неловкий,
По меньшей мере, этот спор,
При современной обстановке
Он лишь несет в ряды раздор…
И тут как раз вздохнул майор.
Майор, молчун тяжеловатый,
Что был курить да спать здоров,
Сказал с улыбкой виноватой:
– Скажу сперва насчет рядов…
Зачем же вдруг!.. Ряды – рядами.
И от беседы нет беды,
Поскольку мы же с вами
Сами
И есть те самые ряды…
Теперь насчет меньшого брата,
Скажу, не хвастаясь отнюдь,
Что от солдата
До комбата
Я сам прошел когда-то путь.
И что, причастный с ополченья
К боям, походам и котлу,
Я вправе сделать заключенье:
На фронте – легче, чем в тылу.
Я поясню, – сказал он, видя
Смущенье спорящих сторон, —
Не к чьей-нибудь из вас обиде
И чистой правде не в урон.
Как говорил один нестарый
Мой из запаса рядовой,
Знаток и той, что он оставил,
И этой жизни, фронтовой:
«Воюй – и все твое с тобой».
Мол, все по форме и по норме:
О чем заботиться тебе?
Случись, что если не накормлен, —

Так это есть уже ЧП.
В твое траншейное жилище,
У самой смерти на глазах,
К тебе ползут с горячей пищей
И даже с чаем в термосах.
Твой килограмм, с надбавкой, хлеба.
Твой спецпаек
И доптабак
Тебе должны доставить с неба,
Раз по земле нельзя никак.
С жилищем – тоже много проще:
Дворец ли, погреб —
Все твой дом.
Ни доставать прописку теще,
Ни уплотнять ее судом.
Что в жизни нужно – все бесплатно,
За все ответчица – казна.
Убьют иль ранят?
Фронт.
Понятно.
И не твоя уже вина.
В той жизни – долгой иль короткой —
Уж там добро, иль недобро, —
Тебя согреть спешат и водкой,
И сводкой Совинформбюро.
В недальнем следуя обозе,
Почти в бою – тебе хвалу
Вовсю поют в стихах и прозе
Твои певцы.
А что в тылу!
В тылу совсем не та картина,
Хотя все то же существо.
Во-первых, если ты мужчина,
То вроде как-то не того…
Опять же кухня полевая
Тебе не придана в тылу.
Посеял карточки в трамвае, —
Садись к заочному столу.
И та опаска всем знакома:
В тылу проштрафился чуть-чуть,
Глядишь, привет от военкома:
Прошу зайти.
И – в добрый путь.
На фронте нет того в заводе,
Чтоб опасаться: вдруг да в тыл!
Ошибся в роте,
Так во взводе

Исправишь все, что допустил.
И даже, если ты там штуку
Уже подсудную украл,
То ни к чему тебя в науку
Возить куда-то на Урал,
Писать от фронта открепленье,
Давать в дорогу аттестат.
Нет, где вина – там искупленье, —
Всегда поблизости штрафбат.
На месте весь тебе зачтется
Тот срок к недальнему числу
Без упущенья в производстве,
Как это водится в тылу.
С пристрастьем слушали майора
Два главных спорщика в купе.
Но самый след крутого спора
Уже по новой шел тропе.
Все ближе, ближе постепенно
К сужденьям тем склоняли слух
И наш профессор, и военный
Моряк, и врач, и все вокруг…
И в орденах старик кудрявый
Не усидел в своем углу,
Тряхнул своей безвестной славой:
– Нет, легче все-таки в тылу.
Как ни хотите – легче трошки… —
Успех майора он учел. —
Уже одно, что нет бомбежки,
А есть – так в шахте нипочем.
– Смотря какая бомба-дура, —
Поправил кто-то старика.
Но тот сказал:
– Нет, жизнь горька,
Как под землей без перекура,
А наверху – без табака…
– Ах, в табаке ли только дело, —
Включился вздох со стороны. —
В одном равны душа и тело,
Что легче – вовсе без войны…
Тот вывод с благостной печалью
Кивком почтенной головы
Одобрил попик наш с медалью
Восьмисотлетия Москвы.
Но означал его уместный
Простой кивок-полупоклон,
Что, может, волею чудесной
И сверх того, что всем известно,

Он кое в чем осведомлен…
А мой майор невозмутимый,
Со слов солдата выдав речь,
На весь вагон добавил дыма
И вновь намерен был залечь…
Солдатской притчи юмор грубый
Улыбкой лица подсветил,
И сам собой пошел на убыль
Тот спор на тему: фронт и тыл.
За новой далью скрылся город.
Пошли иные берега.
Тоннели, каменные горы,
Вверху – над окнами – тайга.
По кругу шли обрывы, пади,
Кремнистой выемки откос.
И те, что в душу мне вступали,
Слова горели жаром слез.
И не хотел иных искать я,
Затем, что не новы они.
Да, тыл и фронт – родные братья,
И крепче в мире нет родни.
Богатыри годины давней
И в славе равные бойцы.
Кто младший там, кто старший – главный, —
Неважно:
Братья-близнецы.
И не гадали – кто, который,
Кому по службе подчинен,
Оставив эти счеты-споры
Для мирных нынешних времен…
Но не иссякнуть этой теме,
Покамест есть еще в живых
И те, что сами знали бремя
Часов и суток фронтовых;
И те, кому в завидных далях,
В раю глубоком тыловом
У их станков и наковален
Был без отрыва стол и дом.
И после них не канут в нетях
Та боль, и мужество, и честь.
Но перейдет в сердца их детям
И внукам памятная песнь.
О том, как шли во имя жизни
В страде – два брата, два бойца,
Великой верные Отчизне
Тогда.
И впредь.

И до конца.

Москва в пути

Вагонный быт в дороге дальней,
Как отмечалось до меня,
Под стать квартире коммунальной,
Где все жильцы – почти родня.
Родня, как есть она в природе:
И та, с которой век бы жил,
И та, с которой в обиходе
Столкнешься утром —
День постыл.
И есть всегда в случайном сборе
Соседей – злостный тот сосед,
Что любит в общем коридоре
Торчать, как пень, и застить свет.
И тот, что спать ложится рано,
И тот бессонный здоровяк,
Что из вагона-ресторана
Приходит в полночь «на бровях».
И тот, что пьет всех больше чая,
Притом ворчит,
Что чай испит,
И, ближних в храпе обличая,
Сам как зарезанный храпит.
И тот, что радио не любит,
И тот, что слушать дай да дай,
И тот, и всякий…
Словом, люди,
В какую их ни кинуть даль.
И на путях большого мира
Мне дорог, мил
И этот мир…
Съезжает вдруг жилец с квартиры,
Вдруг сходит спутник-пассажир…
И пусть с тобой он даже спички
Не разделил за этот срок,
Но вот уже свои вещички
Он выдвигает за порог.
Вот сел у двери отрешенно —
Уже на убыль стук колес, —
Вот встал и вышел из вагона,
И жизни часть твоей унес…
Но это что. Иное дело,
Когда, как водится в пути,
Знакомство первое успело

До дружбы, что ли, дорасти.
Читатель, может быть, припомнит
Молодоженов-москвичей,
Что в стороне держались скромно,
Дорогой заняты своей,
Своей безмолвною беседой
Про тот, наверно, край земли,
Куда они впервые едут
В составе собственной семьи.
Когда пошли уже к Уралу
Холмы – заставы главных гор, —
Супруги юные помалу
Втянулись в общий разговор.
Должно быть, так, что с непривычки
Взгрустнулось, – критик, погоди:
Не версты дачной электрички,
А вся Европа позади.
И, отдаваясь этой дали,
Что открывалась душам их,
Они с отрадой обретали
Опору в спутниках своих.
И постигали въявь при свете
Дневном на этом рубеже,
Что – да, они уже – не дети,
И счет пошел иной уже…
Расспросы, толки, тары-бары…
Уже, проход загородив,
Вокруг и возле этой пары
Вагонный сладился актив.
На всех пахнуло в самом деле
Как будто временем иным,
И все по-своему хотели
Не сплоховать при встрече с ним;
Не оттолкнуть почтенной спесью:
Мол, то ли дело в наши дни;
Не затянуть унылой песни
Во вкусе матушки-родни —
Той, чьи советы, поученья
И справки – в горле у детей:
Насчет превратностей снабженья
И климатических страстей.
Но все ж избыточное время
В пути заставило и нас
Отдать свой долг обычной теме,
Что все имеют про запас.
Мол, край земли – оно понятно,
И в шалаше с любимым – рай.

Но на Арбат попасть обратно
Сложнее, чем на этот край.
Да, да. Не всем в аспирантуру, —
Нет, нужно в жизнь пойти сперва.
Но взять Калинин либо Тулу:
И жизнь, и в трех часах Москва…
Беда, что все до меду падки, —
Себе не враг никто живой:
Тот строит город на Камчатке,
А дачу лепит под Москвой.
Тот редкой верностью Сибири
Уже повсюду знаменит,
А там, в столице, на квартире
Жена за сторожа сидит…
И, кстати, речь зашла о женах,
Особо любящих Москву,
Что хоть в каких ютятся зонах,
Лишь ею грезят наяву.
Хоть где-то, где-то, чуть маяча,
Томит им души до беды
Москва – мечта,
Москва – задача,
Москва – награды за труды.
А впрочем, если виновата
Она – Москва – какой виной,
Так разве той, что маловато
На всех про всех ее одной.
И хоть бы втрое растянулась,
Так не вместиться всем в одну…
Но не твое ли время, юность,
Нести ее на всю страну?
В леса и степи до предела
Идти со связью от нее.
То не твое ли нынче дело,
Друг верный – молодость?..
Твое!
Твое по праву и по нраву.
Твое по счету голосов.
Несет тебе и честь и славу
Земли родимой этот зов.
Не для того тебя растили
И сберегали как могли,
Чтоб ты в поре своей и силе
Чуралась матери-земли.
Земли, нетоптаной, нерытой,
Таящей зря свои дары.
Необжитой, недомовитой

И небом крытой
До поры.
Тебе сродни тех далей ветер.
Ты знаешь: очередь твоя —
Самой в особом быть ответе
За все передние края.
За всю громоздкую природу,
Что в дело нам отведена,
За хлеб и свет, тепло и воду,
За все, чем в мире жизнь красна…
Прошу учесть, читатель строгий,
Что у стиха свои права:
Пусть были сказаны в дороге
Не эти именно слова.
И за отсутствием трибуны
Шла речь обыденней вдвойне…
Но вот супруг, наш спутник юный,
Вдруг поднял руку:
– Дайте мне.
Он старшим был в их славной паре
И, видно, парень с головой,
Из тех, что в каждом семинаре
Резон отстаивают свой.
– Позвольте мне, – сказал он тихо. —
Мы сами вызвались сюда.
Хоть знаем все, почем там лихо,
Но сами… Просто – от стыда.
Да! Что же: речи, песни, письма,
А как до дела – так меня
Авось хоть в ту же Тулу втиснет
Руководящая родня…
И нужды нет притом лукавить,
Что мне Москва не хороша,
И что не жаль ее оставить,
И не лежала к ней душа.
Зачем выдумывать пустое, —
Вдали она еще милей.
Еще теплей.
Но разве стоят
Те блага – совести моей!
Бочком ходить, светить глазами —
Была бы нам судьба тошна.
Иную мы избрали сами,
Я правду говорю, жена?
Мы с ним в купе сидели рядом,
И та из своего угла
Его влюбленным, долгим взглядом,

Не отрываясь, берегла.
И не впервые вслух, должно быть,
Она сказала те слова,
Что про себя имели оба:
– Где мы с тобой, там и Москва…
И даже чуть плечом пожала —
Мол, знаешь сам: ответ готов.
И все признали, что, пожалуй,
Не скажешь лучше этих слов.
Пусть жизнь своею жесткой меркой
Измерит емкость их потом,
Когда любовь пройдет проверку
И обживет свой новый дом.
Но это доброе присловье —
Залог и дружбы и семьи.
И с ним полезен для здоровья
Любой на свете край земли…
Тот край, тот мир иной – до срока
Он не вступал еще в права.
И от Москвы как ни далеко,
То все еще была Москва.
Москва, что дали рассекала
Своей стальною колеей.
Тайга ли, степи или скалы —
Все это было за стеной;
Все за окном неслось вагонным.
А тут, внутри, была она,
С ее уютом, протяженным
До крайней шпалы полотна.
Тут из конца в конец державы,
Защищена от непогод,
Она тепло свое держала
И свой столичный обиход.
И если поезд передышку
Себе в работе позволял,
Там был хоть малый городишко —
Москвы образчик, хоть вокзал;
Хоть водокачка – знак приметный
Культуры с дедовских времен;
Хоть «Пиво – воды», хоть газетный
Киоск, закрытый на ремонт…
Так час за часом вдаль столица
Свою разматывает нить,
Пока не время с ней проститься,
С ее подножки соступить
И очутиться вдруг в Сибири,
В полубезвестной точке той,

Что для тебя в подлунном мире —
Отныне дом и адрес твой,
Где жить и быть, располагаться,
Топтать земли тот самый край,
Брать в оборот его богатства, —
И вот когда, Москва, прощай!
Она помедлит там учтиво,
Но тихо тронется состав,
И канет в далях это диво…
Ты не случайно ли отстал?
Не побежишь за этим спальным
Цепляться, виснуть как-нибудь?
Нет? Все в порядке, все нормально?
Тогда живи и счастлив будь!
И мы своим молодоженам,
Когда настала их пора,
На остановке всем вагоном
Желали всякого добра.
Как будто мы уже имели
На них особые права.
Как будто мы их к этой цели
И подготовили сперва.
Как будто наша в том заслуга,
Что старше мы друзей своих.
Как будто мы их друг для друга
Нашли и поженили их…
И вот они на том вокзале,
Уже в толпе других людей…
И мы глядим на них глазами
Минувшей юности своей;
Глазами памяти суровой
И светлой – тех ушедших лет,
Когда по зову жизни новой
Мы брали дальний свой билет…
Все та же даль.
Но годы – те ли!
Мы юным сменщикам своим
Сказать, быть может, не хотели,
Как мы завидовали им.
Полна, красна земля родная
Людьми надежных душ и рук.
Всё та же, та же, да иная
И даль,
и жизнь,
и всё вокруг…

На Ангаре

В крутые памятные сроки
Я побывал на Ангаре,
Когда особая для стройки
Была задача на поре.
Она была для многих внове,
Видавших всякие жары,
Все, словом, было наготове
Для перекрытья Ангары.
Все начеку, чтоб разом прянуть
На приступ: люди – до души,
Борта машин, и стрелы кранов,
И экскаваторов ковши…
А между тем река играла,
Крошила берег насыпной,
Всю прибыль мощных вод Байкала
В резерве чуя за собой.
Играла беглыми цветами
И, вся прозрачная до дна,
Свиваясь длинными жгутами,
Неслась, дика и холодна.
Крутой отсвечивая гладью,
Гнала волну волне вослед,
Как будто ей и толку нет,
Что люди вправду пять за пядью
К ней подбирались столько лет;
Что не на шутку шли подкопом
В пластах породы и песков,
Призвав сюда немалый опыт
С иных далеких берегов;
Что эта сила,
С флангов, с тыла
Пододвигаясь день за днем,
На клетки плес разгородила,
Прошла, по дну и подо дном;
Вдавила вглубь рубеж бетонный,
Стальной решеткой проплетенный,
Недвижно вечный, как скала,
И, выбрав наверх гравий донный,
Громаду-насыпь возвела.
И в ней из хитрого расчета
Убавив исподволь простор,
Реке оставила ворота,
Чтоб взять их завтра на запор.
Уже был связан мост понтонный
На быстрине – звено в звено, —
Откуда груз тысячетонный
В свой час низринется на дно.

Тот час уже в окно стучался
Не без торжественных затей:
Съезжались гости и начальство
Различных рангов и статей;
Корреспондентов специальных
Нетерпеливая орда —
Одной и вместе с тем «Центральной»
В те дни гостиницы страда.
Сбивалось множество народу,
Толпясь, глядеть на эту воду
И переглядываться:
– Д-да…
Предположенья, слухи, толки,
Сужденья вольных знатоков
О недостатках подготовки,
О риске и перестраховке
И установке
От верхов.
Но и о том, как эти воды,
Подобно волжским и иным,
Уже не дар, а дань природы, —
Войдут в назначенный режим;
Подтянут к центрам захолустья,
Дадут запев Сибири всей.
А там еще и Братск, и Устье,
А там и братец Енисей,
А там…
Жестокий в Приангарье —
Под стать зиме – держался зной.
Уже сдавалось – пахнет гарью,
Бедой извечною лесной,
Что со ствола на ствол смолистый
Бежит, как белка, налегке
И в трубку скручивает листья
Зловещим жаром вдалеке.
И сна лишает край таежный,
И расставляет в цепь войска,
И самолетов гул тревожный
Заводит в небе…
А река,
Шурша, жгуты свои свивала,
И от лихой жары тех дней
Вода студеная с Байкала
Еще казалась холодней;
Неслась, красуясь мощью дикой,
Шипучей пеной на груди…
Всё наготове. А поди-ка —

Встань поперек. Загороди!..
С утра, с утра
В тот день воскресный,
Во что горазд принаряжен,
И городской народ и местный,
И свой на стройке и безвестный,
Забрав подруг своих и жен
С детьми, – на праздник необычный
Теснился, точно в ГУМ столичный,
Ломился грудью, чтоб места
Занять поближе у моста.
И в самый полдень, как ни жарок,
Не убывал людской напор,
И пестр, и ярмарочно ярок,
И вместе строг был этот сбор.
Один глазел —
Врожденный зритель,
Любитель истый – стар ли, мал;
Другой как раз был сам водитель,
Но в эту смену не попал.
А та пришла, чтоб видеть сына
Иль мужа в самый этот час,
Когда к воде его машина
Пойдет под тысячами глаз.
А кто-то дочку
По платочку,
А кто подружку – на посту
Среди построенных в цепочку
Регулировщиц на мосту —
Распознавал…
Но в этом сборе
Невольно каждый брал в расчет,
Что тут народ —
Не на футболе,
Что праздник – праздник, да не тот.
И речь не та, и смех, и шутки…
А там, у самой Ангары,
Собрался штаб в тесовой будке,
Как улей душной от жары.
Все службы стройки там сидели —
Воды, земли, колес, дорог.
Но всем уже речам о деле,
Как перед боем, срок истек.
Последним кругом для порядка
Поверка старших обошла,
И, на часы взглянув украдкой,
Начальник встал из-за стола,

С последней доброю затяжкой
Вздохнул – как будто с плеч гора.
И виды видевшей фуражкой
Стол обмахнул.
– Ну что ж, пора…
– Пора!
И враз моторы взвыли,
Секунд своих не уступив,
И самосвалы в клубах пыли
Взошли на пляшущий настил
И развернулись по теченью
Реки – во всю длину моста,
И строем – в ряд, как на ученье,
Над кромкой вздыбили борта.
Рванулся вниз флажок сигнальный,
И точно вдруг издалека
Громовый взрыв породы скальной
Толкнулся в эти берега.
Так первый сброс кубов бетонных,
Тех сундуков десятитонных,
Раздавшись, приняла река…
Она грядой взметнулась пенной,
Сверкнула радугой мгновенной
И, скинув рваную волну,
Сомкнулась вновь.
И видно было,
Как этот груз она катила,
Гнала по каменному дну.
И над ее волной верченой,
Бренча оснасткою стальной,
Мост всколыхнулся, облегченный,
И, вновь подняв заезд груженый,
Прогнулся вровень с той волной.
И снова – в очередь машины,
Под грузом тужась тяжело,
На цель с боков и середины
Зашли.
И так оно пошло.
С погрузки на мост, с моста в гору
Заезд в заезд смыкался круг.
И был любой шофер шоферу
Как будто кровный брат и друг.
В таком взаимном береженье,
Блюдя черту —
Бортом к борту, —
Кругообразное движенье
Не прерывалось на мосту.

Еще тревожная задача
Наружный сдерживала пыл,
Как бой, что был красиво начат,
Но только-только начат был.
И был труднее с каждым часом
В разгаре памятного дня:
Не подоспей боеприпасы —
Бой захлебнется без огня…
Машины шли, теснясь и пятясь,
Держась на той струне тугой:
Не сплоховать,
Не сбавить натиск,
Не проморгать беды лихой…
То был порыв души артельной,
Самозабвенный, нераздельный, —
В нем все слилось – ни дать ни взять:
И удаль русская мирская,
И с ней повадка заводская,
И строя воинского стать;
И глазомер, и счет бесспорный,
И сметка делу наперед.
Сибиряки!
Молва не врет, —
Хоть с бору, с сосенки народ,
Хоть сборный он, зато отборный,
Орел-народ!
Как в свой черед
Плечом надежным подопрет, —
Не подведет!
Сибиряками
Охотно все они звались,
Хоть различались языками,
Разрезом глаз и складом лиц.
Но цвет был общего закала:
Сибири выслуженный дар —
Под слоем летнего загара
Еще там зимний был загар.
Тут были: дальний украинец
И житель ближних мест – бурят,
Казах, латыш и кабардинец,
И гуще прочих – старший брат .
И те, кого сюда чин чином
Везли с путевкой поезда,
И те, что по иным причинам
Однажды прибыли сюда;
В труде отбыв глухие сроки,
Перемогли урок жестокий, —

Всего видали до поры,
Бывали дальше Ангары…
Но все теперь как будто дивом,
Своею нынешней судьбой,
Одним охвачены порывом,
В семье сравнялись трудовой,
В сыновней службе не лукавой,
Огнем ученые бойцы.
Деньга – деньгою,
Слава – славой,
Но сверх всего еще по нраву
Класс показать.
Самим по праву
Сказать:
«А что – не молодцы?»
Как дорог мне в родном народе
Тот молодеческий резон,
Что звал всегда его к свободе,
К мечте, живущей испокон.
Как дорог мне и люб до гроба
Тот дух, тот вызов удалой
В труде,
В страде,
В беде любой, —
Тот горделивый жар особый,
Что бить – так бей,
А петь – так пой!..
Гори вовеки негасимо
Тот добрый жар у нас в груди —
И все нам впору, все по силам,
Все по плечу, что впереди.
Немало жито-пережито,
Что хочешь будь и впредь со мной, —
Ты здесь – венец красы земной,
Моя опора и защита
И песнь моя —
Народ родной!
День отпылал над сталью плёса
И долгий зной увел в закат.
Все так же по мосту колеса
Держали свой тяжелый лад.
Свергали в воду самосвалы
Свой груз, – казалось, там – гора.
Как в прорву все. Как не бывало!
И Ангара —
Как Ангара.
Лишь под не виданным вовеки

Огнем прожекторных лучей
Играла, – все на свете реки
Могли завидовать бы ей.
В лучах играла вся окрестность, —
Сверкала, что дворцовый бал.
И неохотно люд воскресный
Домой с площадки убывал.
Работам ночь не помешала,
Забыто было есть и пить,
И смена смене не желала
Добром штурвалы уступить.
И ночь прошла.
И новый полный
День на дежурство заступил.
И все вились жгутами волны,
Все тот же был
Байкальский тыл.
И только в полдень, в лад со сроком,
Что был назначен неспроста,
Как над невидимым порогом,
Вода забилась у моста.
И, крупной пеной богатея,
Пошла в десяток рукавов,
Когда означились над нею
Углы бетонных сундуков.
Ярясь, грозясь, кипела пуще,
Гремел с бортов за сбросом сброс.
Над быстриной, ревмя ревущей,
Ходил гармонью зыбкий мост.
За сбросом сброс гремел в придачу,
Росла бетонная гряда,
Но не хотела стать стоячей
Весь век бежавшая вода,
Не собиралась кончить миром…
Я помню миг, как тень беды
Прошла по лицам командиров,
Не отходивших от воды.
Ей зоркий глаз людской не верил…
Чуть стихла, силы притаив,
И вдруг, обрушив левый берег,
В тот узкий кинулась прорыв…
Слова команды прозвучали,
Один короткий взмах флажка —
И, точно танки РГК,
Двадцатитонные «минчане»,
Качнув бортами, как плечами,
С исходной, с грузом – на врага.

И ни мгновенья передышки —
За самосвалом – самосвал,
Чтоб в точку!
В душу!
Наповал!
Так путь воде закрыл завал.
И оператор с киновышки
Хватился поздно —
Кадр пропал.
И знать, для сходного конфуза,
На верхотуре выбрав пост,
Отваги полный, член Союза
Художников сидел, как дрозд.
Высоким долгом, не корыстью,
Он в эти движим был часы —
У Ангары своею кистью
Перехватить ее красы.
Но жалок был набросок смутный,
Не поспевала кисть вослед
Реке, менявшей поминутно
Своей волны летучий цвет…
И я над кипенью студеной,
В числе растроганных зевак,
Стоял, глазел, как пригвожденный.
Начальник подошел.
– Ну, как?
Поэма будет? Чем не тема! —
И я, понятно, не простак,
Ответил:
– Вот она, поэма! —
Он усмехнулся:
– Так-то так…
Под нами шла река, стихая.
Мы понимали – он и я:
Поэма, верно, неплохая,
Да жаль, покамест – не твоя…
Тем часом мост махал флажками,
Не остывая, длился бой.
Вслед за кубами-сундуками
Пошел в отгрузку дикий камень,
Бетонный лом, кирпичный бой…
Уже бульдозеры, направив
На перемычку лемеха,
Пошли пахать песок и гравий,
На ней сближая берега.
Уже слабел напор в запруде.
Но день тревожен был и труден,

Дождем грозился тяжкий зной.
Как на лугу, спешили люди,
С последней справиться копной.
Курил начальник, глядя в воду,
Предвестьем скрытно удручен.
Он знал, что не бюро погоды —
Нет, и за дождь ответит он.
Седой крепыш, майор запаса,
По мерке выверенной сшит,
Он груз и нынешнего часа
Нес, как солдату надлежит.
Мол, тяжелей – как без привычки,
А наше дело – не впервой.
И в гром работ на перемычке
Ворвался праздный, гулевой
Гром сверху.
Капли забренчали
По опорожненным бортам…
– Ну, хлопцы, не было печали.
Держись!.. —
И все держались там.
Закиселилась, как трясина,
На съезде глинистая грязь…
Свалив свой груз, одна машина
Вдруг задом, задом подалась
К воде.
Мотор завыл натужно…
– Ребята! – вскрикнул бригадир.
Вцепились. —
Раз-два!
Взяли!
Дружно! —
В боях испытанный буксир.
Вздохнули все, расправив спины.
Не веря сам, что он живой,
Водитель вылез из кабины,
Как из-под крышки гробовой,
И огляделся виновато…
Тут смех и ругань:
– Эх, тулуп! —
И вывод, может, грубоватый:
– Механизация, ребята,
Проходит тоже через пуп…
И все веселыми глазами —
И пожилые и юнцы —
Блестели, хоть и не сказали
Тех слов:

«А что – не молодцы?»
Короткой сверзившись напастью,
Дождь оторвался от земли.
И в вечер сумерки ненастья
И в ночь без грани перешли…
Победа шла с рассветом ранним,
Облитым с ночи тем дождем.
Река еще текла в проране,
Но тихо было под мостом.
Теперь она была похожа
На мелкий в каменистом ложе
Разгон теряющий поток.
Поток —
На горный ручеек,
Что мог перешагнуть прохожий,
Не замочив, пожалуй, ног.
Осталось двум бульдозеристам
Завалом влажным и зернистым
Угомонить и тот ручей,
Что был меж них чертой ничьей.
Лицом к лицу – попеременно —
То задний ход,
То вновь вперед…
На них двоих уже вся смена
Глядела – кто же перейдет.
Сближая гравий планировки,
Вели тот спор между собой
Один – в заношенной спецовке,
Другой – в тельняшке голубой.
Ждала, глядела, замирая,
Вся смена, сбившись на мосту,
Тому и этому желая
Скорее выйти за черту.
Был налицо их пыл горячий:
Кому открыть по гребле путь.
Но с виду – словно той задачей
Не озабочены ничуть.
Пошел, пошел по самой бровке
Тот, что в тельняшке. Заспешил.
Затор!
И первенство – спецовке.
И оба спрыгнули с машин.
Да, это видеть было надо,
Как руку встретила рука.
Как будто, смяв войска блокады,
Встречались братские войска.
Двух встречных армий

Два солдата —
Друг другу руки жмут ребята.
Аплодисментов дробный град
Затихнул.
Щелкнул аппарат…
Что дальше делать – вот задача.
Вдруг кто-то в голос —
сверху —
вниз!
– Целуйтесь, черти! —
Чуть не плача,
Вскричал.
И хлопцы обнялись.
Минула памятная веха,
Оставлен сзади перевал.
И тут уже пошла потеха, —
Я сам кого-то обнимал…
Со всех бессонье и усталость —
Долой.
Одна под смех кругом
Девчонка слабо отбивалась
От парня свернутым флажком…
Тот час рассветный, небывалый,
Тот праздник подлинный труда
Я не забуду никогда…
Как мне тебя недоставало,
Мой друг, ушедший навсегда!..
Кто так, как ты, еще на свете
До слез порадоваться мог
Речам, глазам и людям этим!
Зачем же голос твой умолк?..
Все выше, словно по ступеням,
Шел торжества отрадный час.
Спецзавтрак был объявлен смене
И краткий праздничный приказ.
Уже народ подался с моста,
Гадая в простоте сердец,
По полтораста или по сто
На брата выйдет этот «спец»…
Шутила зрелость, пела юность.
И, чистым пламенем горя,
С востока тихо развернулась
В треть неба дымная заря.
Над лесом кранов, эстакадой,
Над главной насыпью-горой,
Над юным городом по скату,
Над Ангарой,

Над Ангарой —
Заря,
Заря прошла, сгорая
При свете утренней поры,
И следом солнце красным краем —
Большое – вышло из горы.
Блестела светом залитая,
Дождем обмытая трава…
Ах, как горька и не права
Твоя седая, молодая,
Крутой посадки голова!..
На стройке день вставал обычный,
Своих исполненный забот.
И отбывал уже столичный
И прочий гостевой народ.
Уже смекал я, беспокоясь,
Какой за этот жаркий срок
Ушел по счету дальний поезд
На Дальний, собственно, Восток,
В твой край отцовский, изначальный,
Тобой прославленный.
Прости,
Но только памятью печальной
Одной не мог я жить в пути.
Моя заветная дорога,
Хоть и была со мной печаль,
Звала меня иной тревогой
И далью, что сменяет даль.
И память ныне одоленной,
Крутой ангарской быстрины.
Как будто замысел бессонный,
Я увозил на край страны.

К концу дороги

Сто раз тебе мое спасибо,
Судьба,
что изо всех дорог
Мне подсказала верный выбор
Дороги этой на восток.
И транссибирской магистралью,
Кратчайшим, может быть, путем
Связала с нашей главной далью
Мой трудный день
И легкий дом.
Судьба, понятно, не причина,
Но эта даль всего верней

Сибирь с Москвой сличать учила,
Москву с Сибирью наших дней.
И эти два большие слова,
Чей смысл поистине велик,
На гребне возраста иного,
На рубеже эпохи новой
Я как бы наново постиг.
Москва. Сибирь.
Два эти слова
Звучали именем страны,
В значенье дикости суровой
Для мира чуждого равны.
Теперь и в том надменном мире —
Все те ж слова:
Сибирь – Москва,
Да на ином уже помине
Пошла разучивать молва.
Добро!
Но мы не позабыли,
Какою притчей той молвы
Мы столько лет на свете были
И как нас чествовали вы.
Почти полвека на бумаге
Строчили вы, добра полны,
О том, что босы мы и наги,
И неумелы, и темны.
Что не осилить нам разрухи,
Не утеплить своей зимы.
Что родом тюхи да матюхи,
Да простаки, да ваньки мы.
И на бумаге и в эфире
Вещали вы, что нам едва ль
Удастся выучить в Сибири
Своих медведей
Делать сталь.
Что в нашей бедности безбрежной —
Не смех ли курам наш почин,
Когда в новинку скрип тележный,
Не то что музыка машин.
И что у нас безвестно слово
Наук, доступных вам давно.
Что нам опричь сосны еловой
Постичь иного не дано.
Что мы – Сибирь.
А мы тем часом
Свою в виду держали даль.
И прогремела грозным гласом

В годину битвы наша сталь.
Она, рожденная в Сибири,
Несла на собственной волне,
Как миру весть о жданном мире,
Победу нашу в той войне.
И каждой каплей нашей крови,
Так щедро пролитой на ней,
И каждым вздохом скорби вдовьей
И горя наших матерей, —
Жестокой памяти страницей —
На том безжалостном торгу —
Она оплачена сторицей,
И мы у мира не в долгу…
Я повторю, хотя вначале
О том велась как будто речь,
Что в жизни много всяких далей, —
Сумей одной не пренебречь.
Такая даль – твое заданье,
Твоя надежда или цель.
И нужды нет всегда за далью
Скакать за тридевять земель.
Они при нас и в нас до гроба —
Ее заветные края.
Хотя со мной вопрос особый,
Как выше высказался я.
С моим заданьем в эти сроки
Я свой в пути копил запас,
И возвращался с полдороги,
И повторял ее не раз.
Нехитрым замыслом влекомый,
Я продвигался тем путем,
И хоть в дороге был, хоть дома —
Я жил в пути и пел о нем.
И пусть до времени безвестно
Мелькнул какой-то и прошел
По краю выемки отвесной
Тайги неровный гребешок;
Какой-то мост пропел мгновенно
На басовой тугой струне,
Какой-то, может, день бесценный
Остался где-то в стороне.
Ничто душой не позабыто
И не завянет на корню,
Чему она была открыта,
Как первой молодости дню.
Хоть критик мой, вполне возможно,
Уже решил, пожав плечом,

Что транспорт железнодорожный
Я неудачно предпочел.
Мол, этот способ допотопный
В наш век, что в скоростях, не тот,
Он от задач своих, подобно
Литературе, отстает.
Я утверждаю: всякий способ,
Какой для дела изберешь,
Не только поезд,
Но и посох,
Смотря кому,
А то – хорош!
И впору высшим интересам,
Что зазывают в мир дорог…
А впрочем, авиаэкспрессом
Я и теперь не пренебрег.
Мне этим летом было надо
Застать в разгаре жданный день,
Когда Ангарского каскада
Приспела новая ступень.
И стрелкам времени навстречу
Я устремился к Ангаре,
В Москве оставив поздний вечер
И Братск увидев на заре.
И под крутой скалой Пурсеем,
Как у Иркутска на посту,
В числе почетных ротозеев
В тот день маячил на мосту.
Смотрел, как там, на перемычке,
Другой могучий гидрострой
В июльский день в короткой стычке
Справлялся с нижней Ангарой…
И, отдавая дань просторным
Краям, что прочила Сибирь,
В наш век нимало не зазорным
Я находил автомобиль.
Так, при оказии попутной,
Я даром дня не потерял,
А завернул в дали иркутской
В тот Александровский централ,
Что в песнях каторги прославлен,
И на иной совсем поре,
В известном смысле, был поставлен
Едва ль бедней, чем при царе…
Своей оградой капитальной
В глуши таежной обнесен,
Стоял он, памятник печальный

Крутых по-разному времен.
И вот в июльский полдень сонный,
В недвижной тягостной тиши,
Я обошел тот дом казенный,
Не услыхав живой души.
И только в каменной пустыне,
Под низким небом потолков,
Гремели камеры пустые
Безлюдным отзвуком шагов…
Уже указом упраздненный,
Он ждал, казенный этот дом,
Какой-то миссии ученой,
И только сторож был при нем.
Он рад был мне, в глуши тоскуя,
Водил, показывал тюрьму
И вслух высчитывал, какую
Назначат пенсию ему…
Свое угрюмое наследство
Так хоронила ты, Сибирь.
И вспомнил я тебя, друг детства,
И тех годов глухую быль…
Но – дальше.
Слава – самолету,
И вездеходу – мой поклон.
Однако мне еще в охоту
И ты, мой старый друг, вагон.
Без той оснастки идеальной
Я обойтись уже не мог,
Когда махнул в дороге дальней
На Дальний, собственно, Восток.
Мне край земли, где сроду не был,
Лишь знал по книгам, проку нет
Впервые в жизни видеть с неба,
Как будто местности макет.
Нет, мы у столика под тенью,
Что за окном бежит своя,
Поставим с толком наблюденье
За вами, новые края!
Привычным опытом займемся
В другом купе на четверых,
Давно попутчики-знакомцы
Сошли на станциях своих.
Да и вагон другой. Ну что же:
В пути, как в жизни, всякий раз
Есть пассажиры помоложе,
И впору нам, и старше нас.
Душа полна, как ветром парус,

Какая даль распочата!
Еще туда-сюда – Чита,
А завалился за Хабаровск —
Земля совсем уже не та.
Другие краски на поверке,
И белый свет уже не тот.
Таежный гребень островерхий
Уже по сердцу не скребнет.
Другая песня —
Краснолесье, —
Не то леса, не то сады.
Поля, просторы – хоть залейся,
Покосы буйны – до беды.
В новинку мне и так-то любы
По заливным долинам рек,
Там-сям в хлебах деревьев купы,
Что здесь не тронул дровосек…
Но край, таким богатством чудный,
Что за окном, красуясь, тек,
Лесной, земельный, горнорудный,
Простертый вдоль и поперек, —
И он таил в себе подспудный
Уже знакомый мне упрек.
Смотри, читалось в том упреке,
Как изобилен и широк
Не просто край иной, далекий,
А Дальний, именно, Восток, —
Ты обозрел его с дороги
Всего на двадцать, может, строк.
Слуга балованный народа,
Давно не юноша, поэт,
Из фонда богом данных лет
Ты краю этому и года
Не уделил.
И верно – нет.
А не в ущерб ли звонкой славе
Такой существенный пробел?
Что, скажешь: пропасть всяких дел?..
Нет, но какой мне край не вправе
Пенять, что я его не пел!
Начну считать – собьюсь со счета:
Какими ты наделена,
Моя великая страна,
Краями!
То-то и оно-то,
Что жизнь, по странности, одна…
И не тому ли я упреку

Всем сердцем внял моим, когда
Я в эту бросился дорогу
В послевоенные года.
И пусть виски мои седые
При встрече видит этот край,
Куда добрался я впервые.
Но вы глядите, молодые,
Не прогадайте невзначай
Свой край, далекий или близкий,
Свое призванье, свой успех —
Из-за московской ли прописки
Или иных каких помех…
Не отблеск, отблеском рожденный, —
Ты по себе свой край оставь,
Твоею песней утвержденный, —
Вот славы подлинной устав!
Как этот, в пору новоселья,
Нам край открыли золотой
Ученый друг его Арсеньев
И наш Фадеев молодой.
Заветный край особой славы,
В чьи заповедные места
Из-под Орла, из-под Полтавы
Влеклась народная мечта.
Пусть не мое, а чье-то детство
И чья-то юность в давний срок
Теряли вдруг в порту Одессы
Родную землю из-под ног;
Чтоб в чуждом море пост жестокий
Переселенческий отбыть
И где-то, где-то на востоке
На твердый берег соступить.
Нет, мне не только что из чтенья,
Хоть книг довольно под рукой,
Мне эти памятны виденья
Какой-то памятью другой…
Безвестный край.
Пожитков груда,
Ночлег бездомный.
Плач ребят.
И даль Сибири, что отсюда
Лежит с восхода на закат…
И я, с заката прибывая,
Ее отсюда вижу вдруг.
Ага! Ты вот еще какая!
И торопливей сердца стук…
Огни. Гудки.

По пояс в гору,
Как крепость, врезанный вокзал.
И наш над ним приморский город,
Что Ленин нашенским назвал…
Такие разные – и все же,
Как младший брат
И старший брат,
Большим и кровным сходством схожи
Владивосток и Ленинград.
Той службе преданные свято,
Что им досталась на века,
На двух краях материка
Стоят два труженика-брата,
Два наших славных моряка —
Два зримых миру маяка…
Владивосток!
Наверх, на выход.
И – берег! Шляпу с головы
У океана.
– Здравствуй, Тихий,
Поклон от матушки-Москвы;
От Волги-матушки – не малой
И по твоим статям реки;
Поклон от батюшки-Урала —
Первейшей мастера руки;
Еще, понятно, от Байкала,
Чьи воды древнего провала
По-океански глубоки;
От Ангары и всей Сибири,
Чей на земле в расцвете век, —
От этой дали, этой шири,
Что я недаром пересек.
Она не просто сотня станций,
Что в строчку тянутся на ней,
Она отсюда и в пространстве
И в нашем времени видней.
На ней огнем горят отметки,
Что поколенью моему
Светили с первой пятилетки,
Учили смолоду уму…
Все дни и дали в грудь вбирая,
Страна родная, полон я
Тем, что от края и до края
Ты вся – моя,
моя,
моя!
На все, что внове

И не внове,
Навек прочны мои права.
И все смелее, наготове
Из сердца верного слова.

Так это было

…Когда кремлевскими стенами
Живой от жизни огражден,
Как грозный дух он был над нами, —
Иных не знали мы имен.
Гадали, как еще восславить
Его в столице и селе.
Тут ни убавить,
Ни прибавить, —
Так это было на земле…
Мой друг пастушеского детства
И трудных юношеских дней,
Нам никуда с тобой не деться
От зрелой памяти своей.
Да нам оно и не пристало —
Надеждой тешиться: авось
Уйдет, умрет – как не бывало
Того, что жизнь прошло насквозь.
Нет, мы с тобой другой породы, —
Минувший день не стал чужим.
Мы знаем те и эти годы
И равно им принадлежим…
Так это было: четверть века
Призывом к бою и труду
Звучало имя человека
Со словом Родина в ряду.
Оно не знало меньшей меры,
Уже вступая в те права,
Что у людей глубокой веры
Имеет имя божества.
И было попросту привычно,
Что он сквозь трубочный дымок
Все в мире видел самолично
И всем заведовал, как бог;
Что простирались эти руки
До всех на свете главных дел —
Всех производств,
Любой науки,
Морских глубин и звездных тел;
И всех свершений счет несметный
Был предуказан – что к чему;

И даже славою посмертной
Герой обязан был ему…
И те, что рядом шли вначале,
Подполье знали и тюрьму,
И брали власть, и воевали, —
Сходили в тень по одному;
Кто в тень, кто в сон – тот список длинен, —
В разряд досрочных стариков.
Уже не баловал Калинин
Кремлевским чаем ходоков…
А те и вовсе под запретом,
А тех и нет уже давно.
И где каким висеть портретам —
Впредь на века заведено…
Так на земле он жил и правил,
Держа бразды крутой рукой.
И кто при нем его не славил,
Не возносил —
Найдись такой!
Не зря, должно быть, сын востока,
Он до конца являл черты
Своей крутой, своей жестокой
Неправоты.
И правоты.
Но кто из нас годится в судьи —
Решать, кто прав, кто виноват?
О людях речь идет, а люди
Богов не сами ли творят?
Не мы ль, певцы почетной темы,
Мир извещавшие спроста,,
Что и о нем самом поэмы
Нам лично он вложил в уста?
Не те ли все, что в чинном зале,
И рта открыть ему не дав,
Уже, вставая, восклицали:
«Ура! Он снова будет прав…»?
Что ж, если опыт вышел боком,
Кому пенять, что он таков?
Великий Ленин не был богом
И не учил творить богов.
Кому пенять! Страна, держава
В суровых буднях трудовых
Ту славу имени держала
На вышках строек мировых.
И русских воинов отвага
Ее от волжских берегов
Несла до черных стен рейхстага

На жарком темени стволов…
Мой сверстник, друг и однокашник,
Что был мальчонкой в Октябре,
Товарищ юности незряшной,
С кем рядом шли в одной поре, —
Не мы ль, сыны, на подвиг дерзкий,
На жертвы призванной земли,
То имя-знамя в нашем сердце
По пятилеткам пронесли?
И знали мы в трудах похода,
Что были знамени верны
Не мы одни,
Но цвет народа,
Но честь и разум всей страны.
Мы звали – станем ли лукавить? —
Его отцом в стране-семье.
Тут ни убавить,
Ни прибавить, —
Так это было на земле.
То был отец, чье только слово,
Чьей только брови малый знак —
Закон.
Исполни долг суровый —
И что не так,
Скажи, что так…
О том не пели наши оды,
Что в час лихой, закон презрев,
Он мог на целые народы
Обрушить свой верховный гнев…
А что подчас такие бури
Судьбе одной могли послать,
Во всей доподлинной натуре —
Тебе об этом лучше знать.
Но в испытаньях нашей доли
Была, однако, дорога
Та непреклонность отчей воли,
С какою мы на ратном поле
В час горький встретили врага…
И под Москвой, и на Урале —
В труде, лишеньях и борьбе —
Мы этой воле доверяли
Никак не меньше, чем себе.
Мы с нею шли, чтоб мир избавить,
Чтоб жизнь от смерти отстоять.
Тут ни убавить,
Ни прибавить, —
Ты помнишь все, отчизна-мать.

Ему, кто все, казалось, ведал,
Наметив курс грядущим дням,
Мы все обязаны победой,
Как ею он обязан нам…
На торжестве о том ли толки,
Во что нам стала та страда,
Когда мы сами вплоть до Волги
Сдавали чохом города.
О том ли речь, страна родная,
Каких и скольких сыновей
Не досчиталась ты, рыдая
Под гром победных батарей…
Салют!
И снова пятилетка.
И все тесней лучам в венце.
Уже и сам себя нередко
Он в третьем называл лице.
Уже и в келье той кремлевской,
И в новом блеске древних зал
Он сам от плоти стариковской
Себя отдельно созерцал.
Уже в веках свое величье,
Что весь наш хор сулил ему,
Меж прочих дел, хотелось лично
При жизни видеть самому.
Спешил.
И все казалось мало.
Уже сомкнулся с Волгой Дон.
Канала
Только не хватало,
Чтоб с Марса был бы виден он!..
И за наметкой той вселенской
Уже как хочешь поспевай —
Не в дальних далях, – наш смоленский,
Забытый им и богом,
Женский,
Послевоенный вдовий край.
Где занесло следы поземкой
И в селах душам куцый счет,
А мать-кормилица с котомкой
В Москву за песнями бредет…
И я за дальней звонкой далью,
Наедине с самим собой,
Я всюду видел тетку Дарью
На нашей родине с тобой;
С ее терпеньем безнадежным,
С ее избою без сеней,

И трудоднем пустопорожним,
И трудоночью – не полней;
С ее дурным озимым клином
На этих сотках под окном;
И на печи ее овином,
И середи избы гумном;
И ступой – мельницей домашней —
Никак, из древности седой;
Со всей бедой —
Войной вчерашней
И тяжкой нынешней бедой.
Но и у самого предела
Тоски, не высказанной вслух,
Сама с собой – и то не смела
Душа ступить за некий круг.
То был рубеж запретной зоны,
Куда для смертных вход закрыт,
Где стража зоркости бессонной
У проходных вросла в гранит…
И, видя жизни этой вечер,
Помыслить даже кто бы смог,
Что и в Кремле никто не вечен
И что всему выходит срок…
Но не ударила царь-пушка,
Не взвыл царь-колокол в ночи,
Как в час урочный та Старушка
Подобрала свои ключи —
Ко всем дверям, замкам, запорам,
Не зацепив лихих звонков,
И по кремлевским коридорам
Прошла к нему без пропусков.
Вступила в комнату без стука,
Едва заметный знак дала —
И удалилась прочь наука,
Старушке этой сдав дела…
Сломилась ночь, в окне синея
Из-под задернутых гардин.
И он один остался с нею,
Один —
Со смертью – на один…
Вот так, а может, как иначе —
Для нас, для мира не простой,
Тот день настал,
Черту означил,
И мы давно за той чертой…
Как говорят, отца родного
Не проводил в последний путь,

Еще ты вроде молодого,
Хоть борода ползи на грудь.
Еще в виду отцовский разум,
И власть, и опыт многих лет…
Но вот уйдет отец – и разом
Твоей той молодости нет…
Так мы не в присказке, на деле,
Когда судьба тряхнула нас,
Мы все как будто постарели —
Нет, повзрослели – в этот час.
Безмолвным строем в день утраты
Вступали мы в Колонный зал,
Тот самый зал, где он когда-то
У гроба Ленина стоял.
Стоял поникший и спокойный
С рукою правой на груди.
А эти годы, стройки, войны —
Все это было впереди;
Все эти даты, вехи, сроки,
Что нашу метили судьбу,
И этот день, такой далекий,
Как видеть нам его в гробу.
В минуты памятные эти —
На тризне грозного отца —
Мы стали полностью в ответе
За все на свете —
До конца.
И не сробели на дороге,
Минуя трудный поворот.
Что ж, сами люди, а не боги
Смотреть обязаны вперед.
Там – хороши они иль плохи —
Покажет дело впереди,
А ей, на всем ходу, эпохе,
Уже не скажешь: «Погоди!»
Не вступишь с нею в словопренья,
Когда гремит путем своим…
Не останавливалось время,
Лишь становилося иным.
Земля живая зеленела,
Все в рост гнала, чему расти.
Творил свое большое дело
Народ на избранном пути.
Страну от края и до края,
Судьбу свою, судьбу детей
Не божеству уже вверяя,
А только собственной своей

Хозяйской мудрости.
Должно быть,
В дела по-новому вступил
Его, народа, зрелый опыт
И вместе юношеский пыл.
Они как будто из-под спуда
Возникли – новый брать редут…
И что же – чудо иль не чудо, —
Дела идут не так уж худо —
И друг и недруг признают.
А если кто какой деталью
Смущен, так правде не во вред
Давайте спросим тетку Дарью —
Всего ценней ее ответ…
Но молвить к слову: на Днепре ли,
На Ангаре ль – в любых местах —
Я отмечал: народ добрее,
С самим собою мягче стал…
Я рад бывал, как доброй вести,
Как знаку жданных перемен,
И шутке нынешней и песне,
Что дням минувшим не в пример.
Ах, песня в поле, – в самом деле
Ее не слышал я давно,
Уже казалось мне, что пели
Ее лишь где-нибудь в кино, —
Как вдруг он с дальнего покоса
Возник в тиши вечеровой,
Воскресшей песни отголосок,
На нашей родине с тобой.
И на дороге, в темном поле,
Внезапно за душу схватив,
Мне грудь стеснил до сладкой боли
Тот грустный будто бы мотив…
Я эти малые приметы
Сравнил бы смело с целиной
И дерзким росчерком ракеты,
Что побывала за Луной…
За годом – год, за вехой – веха.
За полосою – полоса.
Нелегок путь.
Но ветер века —
Он в наши дует паруса.
Вступает правды власть святая
В свои могучие права,
Живет на свете, облетая
Материки и острова.

Она все подлинней и шире
В чреде земных надежд и гроз.
Мы – это мы сегодня в мире,
И в мире с нас
Не меньший спрос!
И высших нет для нас велений —
Одно начертано огнем:
В большом и малом быть, как Ленин,
Свой ясный разум видеть в нем.
С ним сердцу нечего страшиться,
И в нашей книге золотой
Нет ни одной такой страницы,
Ни строчки, даже запятой,
Чтоб нашу славу притемнила,
Чтоб заслонила нашу честь.
Да, все, что с нами было, —
Было!
А то, что есть, —
То с нами здесь!
И все от корки и до корки,
Что в книгу вписано вчера,
Все с нами – в силу поговорки
Насчет пера
И топора…
И правда дел – она на страже,
Ее никак не обойдешь,
Все налицо при ней – и даже
Когда молчанье – тоже ложь…
Кому другому, но поэту
Молчать потомки не дадут,
Его к суровому ответу
Особый вытребует суд.
Я не страшусь суда такого
И, может, жду его давно,
Пускай не мне еще то слово,
Что ёмче всех, сказать дано.
Мое – от сердца – не на ветер,
Оно в готовности любой:
Я жил, я был – за все на свете
Я отвечаю головой.
Нет выше долга, жарче страсти
Стоять на том
В труде любом!
Спасибо, Родина, за счастье
С тобою быть в пути твоем.
За новым трудным перевалом —
Вздохнуть

С тобою заодно.
И дальше в путь —
Большим иль малым,
Ах, самым малым —
Все равно!
Она моя – твоя победа,
Она моя – твоя печаль,
Как твой призыв:
Со мною следуй,
И обретай в пути,
И ведай
За далью – даль.
За далью – даль!

До новой дали

Пора!
Я словом этим начал
Мою дорожную тетрадь.
Теперь оно звучит иначе:
Пора и честь, пожалуй, знать.
Ах, эти длительные дали,
Дались они тебе спроста.
Читали – да. Но ждать устали:
Когда ж последняя верста.
А сколько дел, событий, судеб,
Людских печалей и побед
Вместилось в эти десять суток,
Что обратились в десять лет!
Все верно: в сроках не потрафил,
Но я прошу высокий суд
Учесть, что мне особый график
Составлен был на весь маршрут.
И что касается охвата
Всего, что в памяти любой, —
Суди по правде, как солдата,
Что честно долг исполнил свой.
Он воевал не славы ради.
Рубеж не взял? И сам живой?
Не представляй его к награде,
Но знай – ему и завтра в бой.
И что в пути минули сроки —
И в том вины особой нет.
Мои герои все в дороге,
Да ты и сам не домосед.
Ты сам, читатель, эти дали
В пути проверил и постиг.

В своем бывалом чемодане
Держа порой и мой дневник.
Душа моя принять готова
Другой взыскательный упрек.
Что ткань бедна: редка основа,
Неровен бедный мой уток;
Что, может быть, не ярки краски
И не заманчив общий тон;
Что ни завязки,
Ни развязки —
Ни по началу, ни потом…
Ах, сам любитель я, не скрою,
Чтоб с места ясен был вопрос —
С приезда главного героя
На новостройку иль в колхоз,
Где непорядков тьма и бездна,
Но прибыл с ним переворот,
И героиня в час приезда
Стоит случайно у ворот.
Он холост, или же в разводе,
Или с войны еще вдовец,
Или от злой жены беглец,
Иль академик-молодец,
И все, что надо, – на подходе,
Хоть не заглядывай в конец.
Но сам лишен я этой хватки:
И совесть есть, и лень, прости,
В таком развернутом порядке
Плетень художества плести.
А потому и в книге этой —
Признаться, правды не тая, —
Того-другого – званья нету,
Всего героев —
ты да я,
Да мы с тобой.
Так песня спелась.
Но, может, в ней отозвались
Хоть как-нибудь наш труд и мысль,
И наша молодость и зрелость,
И эта даль,
И эта близь?
Что горько мне, что тяжко было
И что внушало прибыль сил,
С чем жизнь справляться торопила, —
Я все сюда и заносил.
И неизменно в эту пору,
При всех изгибах бытия,

Я находил в тебе опору,
Мой друг и высший судия.
Я так обязан той подмоге
Великой – что там ни толкуй, —
Но и тебя не прочу в боги,
Лепить не буду новый культ.
Читатель, снизу или сверху
Ты за моей следишь строкой,
Ты тоже – всякий на поверку,
Бываешь – мало ли какой.
Да, ты и лучший друг надежный,
Наставник строгий и отец.
Но ты и льстец неосторожный,
И вредный, к случаю, квасец.
И крайним слабостям потатчик,
И на расправу больно скор.
И сам начетчик
И цитатчик,
И не судья,
А прокурор.
Беда бедой твой пыл бессонный,
Когда вдобавок ко всему
Еще и книжкой пенсионной
Ты обладаешь на дому.
Не одному бюро погоды
Спешишь ты всыпать поскорей,
Хоть на почтовые расходы
Идет полпенсии твоей.
Добра желаючи поэту,
Наставить пробуя меня,
Ты пишешь письма в «Литгазету»,
Для «Правды» копии храня…
И то не все. Замечу кстати:
Опасней нет болезни той,
Когда, по скромности, читатель,
Ты про себя, в душе, – писатель,
Безвестный миру Лев Толстой.
Ох, вы, мол, тоже мне, писаки,
Вот недосуг за стол засесть…
Да, и такой ты есть и всякий,
Но счастлив я, что ты, брат, есть!
Не запропал, не стал дитятей,
Что наша маменька-печать
Ласкает, тешась:
– Ах, читатель,
Ах, как ты вырос – не достать!
Сама пасет тебя тревожно

(И уморить могла б, любя):
– Ах, то-то нужно, то-то можно,
А то-то вредно для тебя…
Ты жив-здоров – и слава богу,
И уговор не на словах:
В любую дальнюю дорогу
На равных следовать правах…
Ты помнишь, я свой план невинный
Представил с первого столбца:
Прочти хотя б до половины,
Авось – прочтешь и до конца.
Прочел по совести. И что же:
Ты книгу медленно закрыл,
Вздохнул, задумался, похоже.
Ну вот. А что я говорил?
Прости, что шутка на помине,
Когда всерьез не передать,
Как нелегко и эту ныне
Мне покидать свою тетрадь…
Не то чтоб жаль, но как-то дико.
Хоть этот миг —
Желанный миг:
Была тетрадь – и стала книга
И унеслась дорогой книг.
Уже не кинешься вдогонку
За ней во все ее края…
Так дочка дома – все девчонка,
Вдруг – дочь. Твоя и не твоя.
Скорбеть о том не много проку,
Что низок детям отчий кров.
Иное дело, с чем в дорогу
Ты проводил родную кровь.
И мне уже не возвратиться
Назад, в покинутый предел.
К моей строке или странице,
Что лучше б мог, как говорится,
Да не сумел.
Иль не посмел.
Тем преимуществом особым
При жизни автор наделен:
Все слышит сам, но, как за гробом,
Уже сказать не может он,
Какой бы ни был суд нелестный…
Но если вправду он живой,
Он в новый замысел безвестный
Уже уходит с головой.
И, распростившись с этой далью,

Что подружила нас в пути,
По счастью, к новому свиданью
Уже готовлюсь я. Учти!
Конца пути мы вместе ждали.
Но прохлаждаться недосуг.
Итак, прощай.
До новой дали.
До скорой встречи,
Старый друг!

1950–1960

Теркин на том свете

Тридцати неполных лет —
Любо ли не любо —
Прибыл Теркин
На тот свет,
А на этом
Убыл.
Убыл-прибыл в поздний час
Ночи новогодней.
Осмотрелся в первый раз
Теркин в преисподней…
Так пойдет – строка в строку —
Вразворот картина.
Но читатель начеку:
– Что за чертовщина!
– В век космических ракет,
Мировых открытий —
Странный, знаете, сюжет.
– Да, не говорите!..
– Ни в какие ворота.
– Тут не без расчета…
– Подоплека не проста.
– То-то и оно-то…

*** * ***

И держись: наставник строг —
Проницает с первых строк…
Ах, мой друг, читатель-дока,
Окажи такую честь:
Накажи меня жестоко,
Но изволь сперва прочесть.
Не спеши с догадкой плоской,
Точно критик-грамотей,
Всюду слышать отголоски
Недозволенных идей.
И с его лихой ухваткой
Подводить издалека —
От ущерба и упадка
Прямо к мельнице врага.
И вздувать такие страсти
Из запаса бабьих снов,
Что грозят Советской власти
Потрясением основ.

Не ищи везде подвоха,
Не пугай из-за куста.
Отвыкай. Не та эпоха —
Хочешь, нет ли, а не та!
И доверься мне по старой
Доброй дружбе грозных лет:
Я зазря тебе не стану
Байки баять про тот свет.
Суть не в том, что рай ли с адом,
Черт ли, дьявол – все равно:
Пушки к бою едут задом, —
Это сказано давно…
Вот и все, чем автор вкратце
Упреждает свой рассказ,
Необычный, может статься,
Странный, может быть, подчас.
Но – вперед.
Перо запело.
Что к чему —
Покажет дело.

*** * ***

Повторим: в расцвете лет,
В самой доброй силе
Ненароком на тот свет
Прибыл наш Василий.
Поглядит – светло, тепло,
Ходы-переходы —
Вроде станции метро,
Чуть пониже своды.
Перекрытье – не чета
Двум иль трем накатам.
Вот где бомба ни черта
Не проймет —
Куда там!
(Бомба! Глядя в потолок
И о ней смекая,
Теркин знать еще не мог,
Что – смотря какая.
Что от нынешней – случись
По научной смете —
Так, пожалуй, не спастись
Даже на том свете.)
И еще – что явь, что сон —
Теркин не уверен,

Видит, валенками он
Наследил у двери.
А порядок, чистота —
Не приткнуть окурок.
Оробел солдат спроста
И вздохнул:
– Культура…
Вот такие бы везде
Зимние квартиры.
Поглядим – какие где
Тут ориентиры.
Стрелка «Вход».
А «Выход»?
Нет.
Ясно и понятно:
Значит, пламенный привет, —
Путь закрыт обратный.
Значит, так тому и быть,
Хоть и без привычки.
Вот бы только нам попить
Где-нибудь водички.
От неведомой жары
В горле зачерствело.
Да потерпим до поры,
Не в новинку дело.
Видит Теркин, как туда,
К станции конечной,
Прибывают поезда
Изо мглы предвечной.
И выходит к поездам,
Важный и спокойный,
Того света комендант —
Генерал-покойник.
Не один – по сторонам
Начеку охрана.
Для чего – судить не нам,
Хоть оно и странно:
Раз уж списан ты сюда,
Кто б ты ни был чином,
Впредь до Страшного суда
Трусить нет причины.
По уставу, сделав шаг,
Теркин доложился:
Мол, такой-то, так и так,
На тот свет
Явился.
Генерал, угрюм на вид,

Голосом усталым:
– А с которым, – говорит, —
Прибыл ты составом?
Теркин – в струнку, как стоял,
Тем же самым родом:
– Я, товарищ генерал,
Лично, пешим ходом.
– Как так пешим?
– Виноват.
(Строги коменданты!)
– Говори, отстал, солдат,
От своей команды?
Так ли, нет ли – все равно
Спорить не годится.
– Ясно! Будет учтено.
И не повторится.
– Да уж тут что нет, то нет,
Это, брат, бесспорно,
Потому как на тот свет
Не придешь повторно.
Усмехнулся генерал:
– Ладно. Оформляйся.
Есть порядок – чтоб ты знал —
Тоже, брат, хозяйство.
Всех прими да всех устрой —
По заслугам место.
Кто же трус, а кто герой —
Не всегда известно.
Дисциплина быть должна
Четкая до точки:
Не такая, брат, война,
Чтоб поодиночке…
Проходи давай вперед —
Прямо по платформе.
– Есть идти! —
И поворот
Теркин дал по форме.
И едва за стрелкой он
Повернул направо —
Меж приземистых колонн —
Первая застава.
Тотчас все на карандаш:
Имя, номер, дату.
– Аттестат в каптерку сдашь, —
Говорят солдату.
Удивлен весьма солдат:
– Ведь само собою —

Не положен аттестат
Нам на поле боя.
Раз уж я отдал концы —
Не моя забота.
– Все мы, братец, мертвецы,
А порядок – вот он.
Для того ведем дела
Строго – номер в номер, —
Чтобы ясность тут была,
Правильно ли помер.
Ведь случалось иногда —
Рана несмертельна,
А его зашлют сюда,
С ним возись отдельно.
Помещай его сперва
В залу ожиданья…
(Теркин мельком те слова
Принял во вниманье.)
– Ты, понятно, новичок,
Вот тебе и дико.
А без формы на учет
Встань у нас поди-ка.
Но смекнул уже солдат:
Нет беды великой.
То ли, се ли, а назад
Вороти поди-ка.
Осмелел, воды спросил:
Нет ли из-под крана?
На него, глаза скосив,
Посмотрели странно.
Да вдобавок говорят,
Усмехаясь криво:
– Ты еще спросил бы, брат,
На том свете пива…
И довольны все кругом
Шуткой той злорадной.
Повернул солдат кру-гом:
– Будьте вы неладны…
Позади Учетный стол,
Дальше – влево стрелки.
Повернул налево – стоп,
Смотрит:
Стол проверки.
И над тем уже Столом —
Своды много ниже,
Свету меньше, а кругом —
Полки,

Сейфы,
Ниши;
Да шкафы,
Да вертлюги,
Сзади, как в аптеке;
Книг толстенных корешки,
Папки,
Картотеки.
И решеткой обнесен
Этот Стол кромешный
И кромешный телефон
(Внутренний, конечно).
И доносится в тиши
Точно вздох загробный:
– Авто-био опиши
Кратко и подробно…
Поначалу на рожон
Теркин лезть намерен:
Мол, в печати отражен,
Стало быть, проверен.
– Знаем: «Книга про бойца».
– Ну так в чем же дело?
– «Без начала, без конца» —
Не годится в «Дело».
– Но поскольку я мертвец…
– Это толку мало.
– …то не ясен ли конец?
– Освети начало.
Уклоняется солдат:
– Вот еще обуза:
Там же в рифму все подряд,
Автор – член союза…
– Это – мало ли чего,
Той ли меркой мерим.
Погоди, и самого
Автора проверим…
Видит Теркин, что уж тут
И беда, пожалуй:
Не напишешь, так пришьют
От себя начало.
Нет уж, лучше, если сам.
И у спецконторки
Примостившись, написал
Авто-био Теркин.

*** * ***

По графам: вопрос – ответ.
Начал с предков —
Кто был дед.
«Дед мой сеял рожь, пшеницу,
Обрабатывал надел.
Он не ездил за границу,
Связей также не имел.
Пить – пивал. Порой без шапки
Приходил, в сенях шумел.
Но, помимо как от бабки,
Он взысканий не имел.
Не представлен был к награде,
Не был дед передовой.
И отмечу правды ради —
Не работал над собой.
Уклонялся.
И постольку
Близ восьмидесяти лет
Он не рос уже нисколько,
Укорачивался дед…»

*** * ***

Так и далее – родных
Отразил и близких,
Всех, что числились в живых
И посмертных списках.
Стол проверки бросил взгляд
На его работу:
– Расписался?
То-то, брат.
Следующий – кто там?
Впрочем, стой. – Перелистал,
Нет ли где помарок.
– Фотокарточки представь
В должных экземплярах…
Докажи тому Столу:
Что ж, как не запасся,
Как за всю войну в тылу
Не был ты ни часа.
– До поры была со мной
Карточка из дома —
Уступить пришлось одной,
Скажем так,
Знакомой…
Но суров закон Стола,

Голос тот усопший:
– Это личные дела,
А порядок общий.
И такого никогда
Не знавал при жизни —
Слышит:
– Палец дай сюда,
Обмакни да тисни.
Передернуло всего,
Но махнул рукою.
– Палец?
Нате вам его.
Что еще другое?..
Вышел Теркин на простор
Из-за той решетки.
Шаг, другой —
И вот он, Стол
Медсанобработки.
Подошел – не миновать
Предрешенной встречи.
И, конечно же, опять
Не был обеспечен.
Не подумал, сгоряча
Протянувши ноги,
Что без подписи врача
В вечность нет дороги;
Что и там они, врачи,
Всюду наготове
Относительно мочи
И солдатской крови.
Ахнул Теркин:
– Что за черт,
Что за постановка:
Ну как будто на курорт
Мне нужна путевка!
Столько всяческой возни
В их научном мире.
Вдруг велят:
– А ну, дыхни,
Рот разинь пошире.
Принимал?
– Наоборот. —
И со вздохом горьким:
– Непонятный вы народ, —
Усмехнулся Теркин.
– Кабы мне глоток-другой
При моем раненье,

Я бы, может, ни ногой
В ваше заведенье…

*** * ***

Но солдат – везде солдат:
То ли, се ли – виноват.
Виноват, что в этой фляге
Не нашлось ни капли влаги, —
Старшина был скуповат,
Не уважил – виноват.
Виноват, что холод жуткий
Жег тебя вторые сутки,
Что вблизи упал снаряд,
Разорвался – виноват.
Виноват, что на том свете
За живых мертвец в ответе…
Но молчи, поскольку – тлен,
И терпи волынку.
Пропустили сквозь рентген
Всю его начинку.
Не забыли ничего
И науки ради
Исписали на него
Толстых три тетради.
Молоточком – тук да тук,
Хоть оно не больно,
Обстучали все вокруг —
Чем-то недовольны.
Рассуждают – не таков
Запах. Вот забота:
Пахнет парень табаком
И солдатским потом.
Мол, покойник со свежа́
Входит в норму еле,
Словно там еще душа
Притаилась в теле.
Но и полных данных нет,
Снимок, что ль, нечеткий.
– Приготовься на предмет
Общей обработки.
– Баня?
С радостью туда,
Баня – это значит
Перво-наперво – вода.
– Нет воды горячей.

– Ясно! Тот и этот свет
В данном пункте сходны.
И холодной тоже нет?
– Нету. Душ безводный.
– Вот уж это никуда! —
Возмутился Теркин.
– Здесь лишь мертвая вода.
– Ну, давайте мертвой.
– Это – если б сверху к нам, —
Поясняет некто, —
Ты явился по частям,
То есть некомплектно.
Мы бы той тебя водой
Малость покропили,
Все детали меж собой
В точности скрепили.
И готов – хоть на парад —
Ты во всей натуре…
Приступай давай, солдат,
К общей процедуре.
Снявши голову, кудрей
Не жалеть, известно.
– Ах, валяйте, да скорей,
Мне бы хоть до места…
Раз уж так пошли дела,
Не по доброй воле,
Теркин ищет хоть угла
В мрачной той юдоли.
С недосыпу на земле,
Хоть как есть, в одеже,
Отоспаться бы в тепле —
Ведь покой положен.
Вечный, сказано, покой —
Те слова не шутки.
Ну, а нам бы хоть какой,
Нам бы хоть на сутки.
Впереди уходят вдаль,
В вечность коридоры —
Того света магистраль, —
Кверху семафоры.
И видны за полверсты,
Чтоб тебе не сбиться,
Указателей персты,
Надписи, таблицы…
Строгий свет от фонарей,
Сухость в атмосфере.
А дверей – не счесть дверей,

И какие двери!
Все плотны, заглушены
Способом особым,
Выступают из стены
Вертикальным гробом.
И какую ни открой —
Ударяет сильный,
Вместе пыльный и сырой,
Запах замогильный.
И у тех, что там сидят,
С виду как бы люди,
Означает важный взгляд:
«Нету. И не будет».
Теркин мыслит: как же быть,
Где искать начало?
«Не мешай руководить!» —
Надпись подсказала.
Что тут делать?
Наконец
Набрался отваги —
Шасть к прилавку, где мертвец
Подшивал бумаги.
Мол, приписан к вам в запас
Вечный – и поскольку
Нахожусь теперь у вас,
Мне бы, значит, койку…
Взглядом сонным и чужим
Тот солдата смерил,
Пальцем – за́ ухо – большим
Указал на двери
В глубине.
Солдат – туда,
Потянул за ручку.
Слышит сзади:
– Ах, беда
С этою текучкой…
Там за дверью первый стол, —
Без задержки следуй —
Тем же, за́ ухо, перстом
Переслал к соседу.
И вели за шагом шаг
Эти знаки всуе,
Без отрыва от бумаг
Дальше указуя.
Но в конце концов ответ
Был членораздельный:
– Коек нет. Постели нет.

Есть приклад постельный.
– Что приклад?
На кой он ляд?
Как же в этом разе?
– Вам же ясно говорят:
Коек нет на базе.
Вам же русским языком…
Простыни в просушке.
Можем выдать целиком
Стружки.
Для подушки.
Соответственны слова
Древней волоките:
Мол, не сразу и Москва,
Что же вы хотите?
Распишитесь тут и там,
Пропуск ваш отмечен.
Остальное – по частям.
– Тьфу ты! – плюнуть нечем.
Смех и грех:
Навек почить,
Так и то на деле
Было б легче получить
Площадь в жилотделе.
Да притом, когда б живой
Слышал речь такую,
Я б ему с его «Москвой»
Показал другую.
Я б его за те слова
Спосылал на базу.
Сразу ль, нет ли та «Москва»,
Он бы понял сразу!
Я б ему еще вкатил
По гвардейской норме,
Что такое фронт и тыл —
Разъяснил бы в корне…
И уже хотел уйти,
Вспомнил, что, пожалуй,
Не мешало б занести
Вывод в книгу жалоб.
Но отчетлив был ответ
На вопрос крамольный:
– На том свете жалоб нет,
Все у нас довольны.
Книги незачем держать, —
Ясность ледяная.
– Так, допустим.

А печать —
Ну хотя б стенная?
– Как же, есть.
Пройти пустяк —
За угол направо.
Без печати – как же так,
Только это зря вы…
Ладно.
Смотрит – за углом —
Орган того света.
Над редакторским столом —
Надпись:
«Гробгазета».
За столом – не сам, так зам, —
Нам не все равно ли, —
– Я вас слушаю, – сказал,
Морщась, как от боли.
Полон доблестных забот,
Перебил солдата:
– Не пойдет.
Разрез не тот.
В мелком плане взято.
Авторучкой повертел.
– Да и места нету.
Впрочем, разве что в Отдел
Писем без ответа…
И в бессонный поиск свой
Вникнул снова с головой.
Весь в поту, статейки правит,
Водит носом взад-вперед:
То убавит,
То прибавит,
То свое словечко вставит,
То чужое зачеркнет.
То его отметит птичкой,
Сам себе и Глав и Лит,
То возьмет его в кавычки,
То опять же оголит.
Знать, в живых сидел в газете,
Дорожил большим постом.
Как привык на этом свете,
Так и мучится на том.
Вот притих, уставясь тупо,
Рот разинут, взгляд потух.
Вдруг навел на строчки лупу,
Избоченясь, как петух.
И последнюю проверку

Применяя, тот же лист
Он читает
Снизу кверху,
А не только
Сверху вниз.
Верен памятной науке,
В скорбной думе морщит лоб…
Попадись такому в руки
Эта сказка —
Тут и гроб!
Он отечески согретым
Увещаньем изведет.
Прах от праха того света,
Скажет:
Что еще за тот?
Что за происк иль попытка
Воскресить вчерашний день,
Неизжиток
Пережитка
Или тень
На наш плетень?
Впрочем, скажет, и не диво,
Что избрал ты зыбкий путь.
Потому – от коллектива
Оторвался —
Вот в чем суть.
Задурил, кичась талантом, —
Да всему же есть предел, —
Новым, видите ли, Дантом
Объявиться захотел.
Как же было не в догадку —
Просто вызвать на бюро
Да призвать тебя к порядку,
Чтобы выправил перо.
Чтобы попусту бумагу
На авось не тратил впредь:
Не писал бы этак с маху —
Дал бы планчик просмотреть.
И без лишних притязаний
Приступал тогда к труду,
Да последних указаний
Дух всегда имел в виду.
Дух тот брал бы за основу
И не ведал бы прорух…
Тут, конечно, автор снова
Возразил бы:
– Дух-то дух.

Мол, и я не против духа,
В духе смолоду учен.
И по части духа —
Слуха,
Да и нюха —
Не лишен.
Но притом вопрос не праздный
Возникает сам собой:
Ведь и дух бывает разный —
То ли мертвый,
То ль живой.
За свои слова в ответе.
Я недаром на посту:
Мертвый дух на этом свете
Различаю за версту.
И не той ли метой мечен
Мертвых слов твоих набор.
Что ж с тобой вести мне речи —
Есть с живыми разговор!
Проходите без опаски
За порог открытой сказки
Вслед за Теркиным моим —
Что там дальше —
Поглядим.
Помещенья вроде ГУМа —
Ходишь, бродишь, как дурной.
Только нет людского шума —
Всюду вечный выходной.
Сбился с ног, в костях ломота,
Где-нибудь пристать охота.

*** * ***

Галереи – красота,
Помещений бездна,
Кабинетов до черта,
А солдат без места.
Знать не знает, где привал
Маеты бессонной,
Как тот воин, что отстал
От своей колонны.
Догони – и с плеч гора,
Море по колено.
Да не те все номера,
Знаки и эмблемы.
Неизвестных столько лиц,

Все свои, все дома.
А солдату – попадись
Хоть бы кто знакомый.
Всем по службе недосуг,
Смотрят, не вникая…
И не ждал, не думал – вдруг
Встреча.
Да какая!

*** * ***

В двух шагах перед тобой
Друг-товарищ фронтовой.
Тот, кого уже и встретить
Ты не мог бы в жизни сей.
Но и там – и на том свете —
Тоже худо без друзей…
Повстречал солдат солдата,
Друга памятных дорог,
С кем от Бреста брел когда-то,
Пробираясь на восток.
С кем расстался он, как с другом
Расстается друг-солдат,
Второпях – за недосугом
Совершить над ним обряд.
Не посетуй, что причалишь
К месту сам, а мне – вперед.
Не прогневайся, товарищ.
И не гневается тот.
Только, может, в миг прощальный,
Про себя, живой солдат
Тот безропотно-печальный,
И уже нездешний, дальний,
Протяженный в вечность взгляд
Навсегда в душе отметит,
Хоть уже дороги врозь…
– Друг-товарищ, на том свете —
Вот где встретиться пришлось…
Вот он – в блеклой гимнастерке
Без погон —
Из тех времен.
«Значит, все, – подумал Теркин, —
Я – где он.
И все – не сон».
– Так-то, брат… —
Слова излишни.

Поздоровались. Стоят.
Видит Теркин: друг давнишний
Встрече как бы и не рад.
По какой такой причине —
На том свете ли обвык
Или, может, старше в чине
Он теперь, чем был в живых?
– Так-то, Теркин…
– Так, примерно:
Не понять – где фронт, где тыл.
В окруженье – в сорок первом —
Хоть какой, но выход был.
Был хоть суткам счет надежный,
Был хоть запад и восток,
Хоть в пути паек подножный,
Хоть воды, воды глоток!
Отоспись в чащобе за день,
Ночью двигайся. А тут?
Дай хоть где-нибудь присядем —
Ноги в валенках поют…
Повернули с тротуара
В глубь задворков за углом,
Где гробы порожней тарой
Были свалены на слом.
Размещайся хоть на дневку,
А не то что на привал.
– Доложи-ка обстановку,
Как сказал бы генерал.
Где тут линия позиций, —
Жаль, что карты нет со мной, —
Ну, хотя б – в каких границах
Расположен мир иной?..
– Генерал ты больно скорый,
Уточнился бы сперва:
Мир иной – смотря который, —
Как-никак их тоже два.
И от ног своих разутых,
От портянок отвлечен,
Теркин – тихо:
– Нет, без шуток?.. —
Тот едва пожал плечом.
– Ты-то мог не знать – заглазно.
Есть тот свет,
Где мы с тобой,
И, конечно, буржуазный
Тоже есть, само собой.
Всяк свои имеет стены

При совместном потолке.
Два тех света,
Две системы,
И граница на замке.
Тут и там свои уставы
И, как водится оно, —
Все иное – быт и нравы…
– Да не все ли здесь равно?
– Нет, брат, – все тому подобно,
Как и в жизни – тут и там.
– Но позволь: в тиши загробной
Тоже – труд, и капитал,
И борьба, и все такое?..
– Нет, зачем. Какой же труд,
Если вечного покоя
Обстановка там и тут.
– Значит, как бы в обороне
Загорают – тут и там?
– Да. И, ясно, прежней роли
Не играет капитал.
Никакой ему лазейки,
Вечность вечностью течет.
Денег нету ни копейки,
Капиталу только счет.
Ну, а в части распорядка —
Наш подъем – для них отбой,
И поверка и зарядка
В разный срок, само собой.
Вот и все тебе известно,
Что у нас и что у них.
– Очень, очень интересно… —
Теркин в горести поник.
– Кто в иную пору прибыл,
Тот как хочешь, а по мне —
Был бы только этот выбор, —
Я б остался на войне.
На войне о чем хлопочешь?
Ждешь скорей ее конца.
Что там слава или почесть
Без победы для бойца.
Лучше нет – ее, победу,
Для живых в бою добыть.
И давай за ней по следу,
Как в жару к воде – попить.
Не о смертном думай часе —
В нем ли главный интерес:
Смерть —

Она всегда в запасе,
Жизнь —
Она всегда в обрез.
– Так ли, друг?
– Молчи, вояка,
Время жизни истекло.
– Нет, скажи: и так, и всяко,
Только нам не повезло.
Не по мне лежать здесь лежнем,
Да уж выписан билет.
Ладно, шут с ним, с зарубежным,
Говори про наш тот свет.
– Что ж, вопрос весьма обширен.
Вот что главное усвой:
Наш тот свет в загробном мире —
Лучший и передовой.
И поскольку уготован
Всем нам этак или так,
Он научно обоснован, —
Не на трех стоит китах.
Где тут пекло, дым иль копоть
И тому подобный бред?
– Все же, знаешь, сильно топят, —
Вставил Теркин, – мочи нет.
– Да не топят, зря не сетуй,
Так сдается иногда,
Кто по-зимнему одетый
Транспортирован сюда.
Здесь ни холодно, ни жарко —
Ни полена дров, учти.
Точно так же – райских парков
Даже званья не найти.
С басней старой все несходно —
Где тут кущи и сады?
– А нельзя ль простой, природной
Где-нибудь глотнуть воды?
– Забываешь, Теркин, где ты,
Попадаешь в ложный след:
Потому воды и нету,
Что, понятно, спросу нет.
Недалек тот свет соседний,
Там, у них, на старый лад —
Все пустые эти бредни:
Свежесть струй и адский чад.
И запомни, повторяю:
Наш тот свет в натуре дан:
Тут ни ада нет, ни рая,

Тут – наука,
Там – дурман…
Там у них устои шатки,
Здесь фундамент нерушим.
Есть, конечно, недостатки, —
Но зато тебе – режим.
Там, во-первых, дисциплина
Против нашенской слаба.
И, пожалуйста, картина:
Тут – колонна,
Там – толпа.
Наш тот свет организован
С полной четкостью во всем:
Распланирован по зонам,
По отделам разнесен.
Упорядочен отменно —
Из конца пройди в конец.
Посмотри:
Отдел военный,
Он, понятно, образец.
Врать привычки не имею,
Ну а ежели соврал,
Так на местности виднее, —
Поднимайся, генерал…
И в своем строю лежачем
Им предстал сплошной грядой
Тот Отдел, что обозначен
Был армейскою звездой.
Лица воинов спокойны,
Точно видят в вечном сне,
Что, какие были войны,
Все вместились в их войне.
Отгремел их край передний,
Мнится им в безгласной мгле,
Что была она последней,
Эта битва на земле;
Что иные поколенья
Всех пребудущих годов
Не пойдут на пополненье
Скорбной славы их рядов…
– Четкость линий и дистанций,
Интервалов чистота…
А возьми
Отдел гражданский —
Нет уж, выправка не та.
Разнобой не скрыть известный —
Тот иль этот пост и вес:

Кто с каким сюда оркестром
Был направлен или без…
Кто с профкомовской путевкой,
Кто при свечке и кресте.
Строевая подготовка
Не на той уж высоте…
Теркин будто бы рассеян, —
Он еще и до войны
Дань свою отдал музеям
Под командой старшины.
Там соха иль самопрялка,
Шлемы, кости, древний кнут, —
Выходного было жалко,
Но иное дело тут.
Тут уж верно – случай редкий
Все увидеть самому.
Жаль, что данные разведки
Не доложишь никому.
Так, дивясь иль брови хмуря,
Любознательный солдат
Созерцал во всей натуре
Тот порядок и уклад.
Ни покоя, мыслит Теркин,
Ни веселья не дано.
Разобрались на четверки
И гоняют в домино.
Вот где самая отрада —
Уж за стол как сел, так сел,
Разговаривать не надо,
Думать незачем совсем.
Разгоняют скукой скуку —
Но таков уже тот свет:
Как ни бьют —
Не слышно стуку,
Как ни курят —
Дыму нет.
Ах, друзья мои и братья,
Кто в живых до сей поры,
Дорогих часов не тратьте
Для загробной той игры.
Ради жизни скоротечной
Отложите тот «забой»:
Для него нам отпуск вечный
Обеспечен сам собой…
Миновал костяшки эти,
Рядом – тоже не добро:
Заседает на том свете

Преисподнее бюро.
Здесь уж те сошлись, должно быть,
Что не в силах побороть
Заседаний вкус особый,
Им в живых изъевший плоть.
Им ни отдыха, ни хлеба, —
Как усядутся рядком,
Ни к чему земля и небо —
Дайте стены с потолком.
Им что вёдро, что ненастье,
Отмеряй за часом час.
Целиком под стать их страсти
Вечный времени запас.
Вот с величьем натуральным
Над бумагами склонясь,
Видно, делом персональным
Занялися – то-то сласть.
Тут ни шутки, ни улыбки —
Мнимой скорби общий тон.
Признает мертвец ошибки
И, конечно, врет при том.
Врет не просто скуки ради,
Ходит краем, зная край.
Как послушаешь – к награде
Прямо с ходу представляй.
Но позволь, позволь, голубчик,
Так уж дело повелось,
Дай копнуть тебя поглубже,
Просветить тебя насквозь.
Не мозги, так грыжу вправить,
Чтобы взмокнул от жары,
И в конце на вид поставить
По условиям игры…
Стой-постой!
Видать персону.
Необычный индивид
Сам себе по телефону
На два голоса звонит.
Перед мнимой секретаршей
Тем усердней мечет лесть,
Что его начальник старший —
Это лично он и есть.
И упившись этим тоном,
Вдруг он, голос изменив,
Сам с собою – подчиненным —
Наставительно учтив.
Полон власти несравнимой,

Обращенной вниз, к нулю,
И от той игры любимой
Мякнет он, как во хмелю…
Отвернувшись от болвана
С гордой истовостью лиц,
Обсудить проект романа
Члены некие сошлись.
Этим членам все известно,
Что́ в романе быть должно
И чему какое место
Наперед отведено.
Изложив свои наметки,
Утверждают по томам.
Нет – чтоб сразу выпить водки,
Закусить —
И по домам.
Дальше – в жесткой обороне
Очертил запретный круг
Кандидат потусторонних
Или доктор прахнаук.
В предуказанном порядке
Книжки в дело введены,
В них закладками цитатки
Для него застолблены.
Вперемежку их из книжек
На живую нитку нижет,
И с нее свисают вниз
Мертвых тысячи страниц…
За картиною картина,
Хлопцы дальше держат путь.
Что-то вслух бубнит мужчина,
Стоя в ящике по грудь.
В некий текст глаза упрятал,
Не поднимет от листа.
Надпись:
«Пламенный оратор» —
И мочалка изо рта.
Не любил и в жизни бренной
Мой герой таких речей.
Будь ты штатский иль военный,
Дай тому, кто побойчей.
Нет, такого нет порядка,
Речь он держит лично сам.
А случись, пройдет не гладко,
Так не он ее писал.
Все же там, в краю забвенья,
Свой особый есть резон:

Эти длительные чтенья
Укрепляют вечный сон…
Вечный сон.
Закон природы.
Видя это все вокруг,
Своего экскурсовода
Теркин спрашивает вдруг:
– А какая здесь работа,
Чем он занят, наш тот свет?
То ли, се ли – должен кто-то
Делать что-то?
– То-то – нет.
В том-то вся и закавыка
И особый наш уклад,
Что от мала до велика
Все у нас
Руководят.
– Как же так – без производства, —
Возражает новичок, —
Чтобы только руководство?
– Нет, не только.
И учет.
В том-то, брат, и суть вопроса,
Что темна для простаков:
Тут ни пашни, ни покоса,
Ни заводов, ни станков.
Нам бы это все мешало —
Уголь, сталь, зерно, стада…
– Ах, вот так! Тогда, пожалуй,
Ничего. А то беда.
Это вроде как машина
Скорой помощи идет:
Сама режет, сама давит,
Сама помощь подает.
– Ты, однако, шутки эти
Про себя, солдат, оставь.
– Шутки!
Сутки на том свете —
Даже к месту не пристал.
Никому бы не мешая,
Без бомбежки да в тепле
Мне поспать нужда большая
С недосыпу на земле.
– Вот чудак, ужели трудно
Уяснить простой закон:
Так ли, сяк ли – беспробудный
Ты уже вкушаешь сон.

Что тебе привычки тела?
Что там койка и постель?..
– Но зачем тогда отделы,
И начальства корпус целый,
И другая канитель?
Тот взглянул на друга хмуро,
Головой повел:
– Нельзя.
– Почему?
– Номенклатура. —
И примолкнули друзья.
Теркин сбился, огорошен,
Точно словом нехорошим.

*** * ***

Все же дальше тянет нить,
Развивая тему:
– Ну, хотя бы сократить
Данную Систему?
Поубавить бы чуток,
Без беды при этом…
– Ничего нельзя, дружок.
Пробовали.
Где там!
Кадры наши, не забудь,
Хоть они лишь тени,
Кадры заняты отнюдь
Не в одной Системе.
Тут к вопросу подойти —
Штука не простая:
Кто в Системе,
Кто в Сети —
Тоже Сеть густая.
Да помимо той Сети,
В целом необъятной,
Сколько в Органах – сочти!
– В Органах – понятно.
– Да по всяческим Столам
Список бесконечный,
В Комитете по делам
Перестройки Вечной…
Ну-ка, вдумайся, солдат,
Да прикинь, попробуй:
Чтоб убавить этот штат —
Нужен штат особый.

Невозможно упредить,
Где начет, где вычет.
Словом, чтобы сократить,
Нужно увеличить…
Теркин по́д локоть дружка
Тронул осторожно:
– А какая все тоска,
Просто невозможно.
Ни заботы, ни труда,
А тоска – нет мочи.
Ночь-то – да. А день куда?
– Тут ни дня, ни ночи.
Позабудь, само собой,
О зиме и лете.
– Так, похоже, мы с тобой
На другой планете?
– Нет, брат. Видишь ли, тот свет —
Данный мир забвенный,
Расположен вне планет
И самой Вселенной.
Дислокации иной —
Ясно?
– Как не ясно:
То ли дело под луной
Даже полк запа́сный.
Там – хоть норма голодна́
И гоняют лихо,
Но покамест есть война —
Виды есть на выход.
– Пообвыкнешь, новичок,
Будет все терпимо:
Как-никак – оклад, паек
И табак без дыма…
Теркин слышит, не поймет —
Вроде, значит, кормят?
– А паек загробный тот
По какой же норме?
– По особой.
Поясню
Постановку эту:
Обозначено в меню,
А в натуре нету.
– Ах, вот так… —
Глядит солдат,
Не в догадку словно.
– Ну, еще точней, оклад
И паек условный.

На тебя и на меня
Числятся в расходе.
– Вроде, значит, трудодня?
– В некотором роде…
Все по форме: распишись —
И порядок полный.
– Ну, брат, это же – не жизнь!
– Вон о чем ты вспомнил.
Жизнь!
И слушать-то чудно:
Ведь в загробном мире
Жизни быть и не должно, —
Дважды два – четыре…

*** * ***

И на Теркина солдат
Как-то сбоку бросил взгляд.
Так-то близко, далеко ли,
Новый видится квартал.
Кто же там во власть покоя
Перед вечностью предстал?
– Любопытствуешь?
– Еще бы.
Постигаю мир иной.
– Там отдел у нас Особый,
Так что – лучше стороной…
– Посмотреть бы тоже ценно.
– Да нельзя, поскольку он
Ни гражданским, ни военным
Здесь властям не подчинен.
– Что ж, Особый есть Особый. —
И, вздохнув, примолкли оба.

*** * ***

…Там – рядами по годам
Шли в строю незримом
Колыма и Магадан,
Воркута с Нарымом.
За черту из-за черты,
С разницею малой,
Область вечной мерзлоты
В вечность их списала.
Из-за проволоки той

Белой-поседелой —
С их особою статьей,
Приобщенной к делу…
Кто, за что, по воле чьей —
Разберись, наука.
Ни оркестров, ни речей,
Вот уж где – ни звука…
Память, как ты ни горька,
Будь зарубкой на века!
. . . . . .
– Кто же все-таки за гробом
Управляет тем Особым?
– Тот, кто в этот комбинат
Нас послал с тобою.
С чьим ты именем, солдат,
Пал на поле боя.
Сам не помнишь? Так печать
Донесет до внуков,
Что ты должен был кричать,
Встав с гранатой. Ну-ка?
– Без печати нам с тобой
Знато-перезнато,
Что в бою – на то он бой —
Лишних слов не надо;
Что вступают там в права
И бывают кстати
Больше прочих те слова,
Что не для печати…
Так идут друзья рядком.
Вволю места думам
И под этим потолком,
Сводчатым, угрюмым.
Теркин вовсе помрачнел.
– Невдомек мне словно,
Что Особый ваш отдел
За самим Верховным.
– Все за ним, само собой,
Выше нету власти.
– Да, но сам-то он живой?
– И живой.
Отчасти.
Для живых родной отец,
И закон, и знамя,
Он и с нами, как мертвец, —
С ними он
И с нами.
Устроитель всех судеб,

Тою же порою
Он в Кремле при жизни склеп
Сам себе устроил.
Невдомек еще тебе,
Что живыми правит,
Но давно уж сам себе
Памятники ставит…
Теркин шапкой вытер лоб —
Сильно топят все же, —
Но от слов таких озноб
Пробежал по коже.
И смекает голова,
Как ей быть в ответе,
Что слыхала те слова,
Хоть и на том свете.
Да и мы о том, былом,
Речь замнем покамест,
Чтоб не быть иным числом,
Задним, – смельчаками…
Слишком памятны черты
Власти той безмерной…
– Теркин, знаешь ли, что ты
Награжден посмертно?
Ты – сюда с передовой,
Орден следом за тобой.
К нам приписанный навеки,
Ты не знал наверняка,
Как о мертвом человеке
Здесь забота велика.
Доложился – и порядок,
Получай, задержек нет.
– Лучше все-таки награда
Без доставки на тот свет.
Лучше быть бы ей в запасе
Для иных желанных дней:
Я бы даже был согласен
И в Москву скатать за ней.
Так и быть уже. Да что там!
Сколько есть того пути
По снегам, пескам, болотам
С полной выкладкой пройти.
То ли дело мимоходом
Повстречаться с той Москвой,
Погулять с живым народом,
Да притом, что сам живой.
Ждать хоть год, хоть десять кряду,
Я б живой не счел за труд.

И пускай мне там награду
Вдвое меньшую дадут.
Или вовсе скажут: рано,
Не видать еще заслуг.
Я оспаривать не стану.
Я – такой. Ты знаешь, друг.
Я до почестей не жадный,
Хоть и чести не лишен…
– Ну, расчувствовался. Ладно.
Без тебя вопрос решен.
Как ни что, а все же лестно
Нацепить ее на грудь.
– Но сперва бы мне до места
Притулиться где-нибудь.
– Ах, какое нетерпенье,
Да пойми – велик заезд:
Там, на фронте, наступленье,
Здесь нехватка спальных мест.
Ты, однако, не печалься,
Я порядок наведу,
У загробного начальства
Я тут все же на виду.
Словом, где-нибудь приткнемся.
Что смеешься?
– Ничего.
На том свете без знакомства
Тоже, значит, не того?
Отмахнулся друг бывалый:
Мол, с бедой ведем борьбу.
– А еще тебе, пожалуй,
Поглядеть бы не мешало
В нашу стереотрубу.
– Это что же ты за диво
На утеху мне сыскал?
– Только – для загробактива,
По особым пропускам…
Нет, совсем не край передний,
Не в дыму разрывов бой, —
Целиком тот свет соседний
За стеклом перед тобой.
В четкой форме отраженья
На вопрос прямой ответ —
До какого разложенья
Докатился их тот свет.
Вот уж точно как в музее —
Что к чему и что почем.
И такие, брат, мамзели,

То есть – просто нагишом…
Теркин слышит хладнокровно,
Даже глазом не повел.
– Да. Но тоже ведь условный
Этот самый женский пол?..
И опять тревожным взглядом
Тот взглянул, шагая рядом.

*** * ***

– Что условный – это да,
Кто же спорит с этим.
Но позволь и мне тогда
Кое-что заметить.
Я подумал уж не раз,
Да смолчал, покаюсь:
Не условный ли меж нас
Ты мертвец покамест?
Посмотрю – ни дать ни взять,
Все тебе охота,
Как в живых, то пить, то спать,
То еще чего-то…
– Покурить! —
И за кисет
Ухватился Теркин:
Не занес ли на тот свет
Чуточку махорки?
По карманным уголкам
Да из-за подкладки —
С хлебной крошкой пополам —
Выгреб все остатки.
Затянулся, как живой,
Той наземной, фронтовой,
Той надежной, неизменной,
Той одной в страде военной,
В час грозы и тишины —
Вроде старой злой жены,
Что иных тебе дороже —
Пусть красивей, пусть моложе
(Да от них и самый вред,
Как от легких сигарет).
Угощаются взаимно
Разным куревом дружки.
Оба – дымный
И бездымный —
Проверяют табаки.

Теркин – строгий дегустатор,
Полной мерой раз и два
Потянул, вернул остаток
И рукой махнул:
– Трава.
На-ко нашего затяжку.
Друг закашлялся:
– Отвык.
Видно, вправду мертвым тяжко,
Что годится для живых…
– Нет, а я оттуда выбыл,
Но и здесь, в загробном сне, —
То, чего не съел, не выпил, —
Не дает покоя мне.
Не добрал, такая жалость,
Там стаканчик, там другой.
А закуски той осталось —
Ах ты, сколько – да какой!
За рекой Угрой в землянке —
Только сел, а тут «в ружье!» —
Не доел консервов банки,
Так и помню про нее.
У хозяйки белорусской
Не доел кулеш свиной.
Правда, прочие нагрузки,
Может быть, тому виной.
А вернее – сам повинен:
Нет – чтоб время не терять —
И того не сповинил,
Что до крошки мог прибрать.
Поддержать в пути здоровье,
Как тот путь бывал ни крут,
Зная доброе присловье:
На том свете не дадут…
Тут, встревожен не на шутку,
Друг прервал его:
– Минутку!..

*** * ***

Докатился некий гул,
Задрожали стены.
На том свете свет мигнул,
Залились сирены.
Прокатился долгий вой
Над глухим покоем…

Дали вскорости отбой.
– Что у вас такое?
– Так и быть – скажу тебе,
Но держи в секрете:
Это значит, что ЧП
Нынче на том свете.
По тревоге розыск свой
Подняла Проверка:
Есть опасность, что живой
Просочился сверху.
Чтобы дело упредить,
Срочное заданье:
Ну… изъять и поместить
В зале ожиданья.
Запереть двойным замком,
Подержать негласно,
Полноценным мертвяком
Чтобы вышел.
– Ясно.
– И по-дружески, любя,
Теркин, будь уверен —
Я дурного для тебя
Делать не намерен,
Но о том, что хочешь жить,
Дружба, знаешь, дружбой,
Я обязан доложить…
– Ясно…
– …куда нужно.
Чуть ли что – меня под суд.
С места же сегодня…
– Так. Боишься, что пошлют
Дальше преисподней?
– Все ты шутки шутишь, брат,
По своей ухватке.
Фронта нет, да есть штрафбат,
Органы в порядке.
Словом, горе мне с тобой, —
Ну какого черта
Бродишь тут, как чумовой,
Беспокоишь мертвых.
Нет – чтоб вечности служить
С нами в тесной смычке, —
Все в живых охота жить.
– Дело, брат, в привычке.
– От привычек отвыкай,
Опыт расширяя.
У живых там, скажешь, – рай?

– Далеко до рая.
– То-то!
– То-то, да не то ж.
– До чего упрямый.
Может, все-таки дойдешь
В зале в этой самой?
– Не хочу.
– Хотеть – забудь.
Да и толку мало:
Все равно обратный путь
Повторять сначала.
– До поры зато в строю —
Хоть на марше, хоть в бою.
Срок придет, и мне травою
Где-то в мире прорасти.
Но живому – про живое,
Друг бывалый, ты прости.
Пусть мне скажут, что ж ты, Теркин,
Рассудил бы, голова,
Большинство на свете мертвых,
Что ж ты, против большинства?
Я оспаривать не буду,
Как не верить той молве,
И пускай мне будет худо —
Я останусь в меньшинстве [Два четверостишия, выделенные курсивом, были впервые опубликованы в открытой печати в 2000-е гг. (если не считать подарочного благотворительного издания для ветеранов Великой Отечественной войны, участников Парада Победы 2000 г.) По просьбе цензуры Александр Трифонович изъял эти строки при первой публикации поэмы.].
Если он недаром прожит,
Тыловой ли, фронтовой —
День мой вечности дороже,
Бесконечности любой.
А еще, сознаться можно,
Потому спешу домой,
Чтоб задачей неотложной
Загорелся автор мой.
Пусть со слов моих подробно
Отразит он мир загробный,
Все по правде.
А приврет —
Для наглядности подсобной —
Не беда. Наоборот.
С доброй выдумкою рядом
Правда в целости жива.
Пушки к бою едут задом, —

Это верные слова…
Так что, брат, с меня довольно
До пребудущих времен.
– Посмотрю – умен ты больно!
– А скажи, что не умен?
Прибедняться нет причины:
Власть Советская сама
С малых лет уму учила —
Где тут будешь без ума!
На ходу снимала пробу,
Как усвоил курс наук.
Не любила ждать особо,
Если понял что не вдруг.
Заложила впредь задатки
Дело видеть без очков.
В умных нынче нет нехватки,
Поищи-ка дураков.
– Что искать – у нас избыток
Дураков – хоть пруд пруди,
Да каких еще набитых —
Что в Системе, что в Сети…
– А куда же их, примерно,
При излишестве таком?
– С дураками планомерно
Мы работу здесь ведем.
Изучаем досконально
Их природу, нравы, быт,
Этим делом специальный
Главк у нас руководит.
Дуракам перетасовку
Учиняет на постах.
Посылает на низовку,
Выявляет на местах.
Тех туда, а тех туда-то —
Четкий график наперед.
– Ну, и как же результаты?
– Да ведь разный есть народ.
От иных запросишь чуру —
И в отставку не хотят.
Тех, как водится, в цензуру —
На повышенный оклад.
А уж с этой работенки
Дальше некуда спешить…
Все же – как решаешь, Теркин?
– Да как есть: решаю жить.
– Только лишняя тревога.
Видел, что за поезда

Неизменною дорогой
Направляются сюда?
Все сюда, а ты обратно,
Да смекни – на чем и как?
– Поезда сюда, понятно,
Но отсюда – порожняк?
– Ни билетов, ни посадки
Нет отсюда «на-гора».
– Тормозные есть площадки,
Есть подножки, буфера…
Или память отказала,
Позабыл в загробном сне,
Как в атаку нам, бывало,
Доводилось на броне?
– Трудно, Теркин, на границе,
Много легче путь сюда…
– Без труда, как говорится,
Даже рыбку из пруда…
А к живым из края мертвых —
На площадке тормозной —
Это что́ – езда с комфортом, —
Жаль, не можешь ты со мной
Бросить эту всю халтуру
И домой – в родную часть.
– Да, но там в номенклатуру
Мог бы я и не попасть.
Занимая в преисподней
На сегодня видный пост,
Там-то что́ я на сегодня?
Стаж и опыт – псу под хвост?..
Вместе без году неделя,
Врозь на вечные века…
И внезапно из тоннеля —
Вдруг – состав порожняка.
Вмиг от грохота и гула
Онемело все вокруг…
Ах, как поручни рвануло
Из живых солдатских рук;
Как хватало мертвой хваткой
Изо всех загробных сил!
Но с подножки на площадку
Теркин все-таки вступил.
Долей малой перевесил
Груз, тянувший за шинель.
И куда как бодр и весел,
Пролетает сквозь тоннель.
Комендант иного мира

За охраной суетной
Не заметил пассажира
На площадке тормозной.
Да ему и толку мало:
Порожняк и порожняк.
И прощальный генералу
Теркин
ручкой
сделал знак.
Дескать, что кому приго́дней.
На себя ответ беру,
Рад весьма, что в преисподней
Не пришелся ко двору.
И как будто к нужной цели
Прямиком на белый свет,
Вверх и вверх пошли тоннели
В гору, в гору.
Только – нет!
Чуть смежил глаза устало,
И не стало в тот же миг
Ни подножки, ни состава —
На своих опять двоих.
Вот что значит без билета,
Невеселые дела.
А дорога с того света
Далека еще была.
Поискал во тьме руками,
Чтоб на ощупь по стене…
И пошло все то круга́ми,
От чего кричат во сне…
Там в страде невыразимой,
В темноте – хоть глаз коли —
Всей войны крутые зимы
И жары ее прошли.
Там руин горячий щебень
Бомбы рушили на грудь,
И огни толклися в небе,
Заслоняя Млечный Путь.
Там валы, завалы, кручи
Громоздились поперек.
И песок сухой, сыпучий
Из-под ног бессильных тек.
И мороз по голой коже
Драл ножовкой ледяной.
А глоток воды дороже
Жизни, может, был самой.
И до робкого сознанья,

Что забрезжило в пути, —
То не Теркин был – дыханье
Одинокое в груди.
Боль была без утоленья
С темной тяжкою тоской.
Неисходное томленье,
Что звало принять покой…
Но вела, вела солдата
Сила жизни – наш ходатай
И заступник всех верней, —
Жизни бренной, небогатой
Золотым запасом дней.
Как там смерть ни билась круто,
Переменчива борьба,
Час настал из долгих суток,
И настала та минута —
Дотащился до столба.
До границы.
Вот – застава,
Поперек дороги жердь.
И дышать полегче стало,
И уже сама устала
И на шаг отстала
Смерть.
Вот уж дома – только б ноги
Перекинуть через край.
Но не в силах без подмоги,
Пал солдат в конце дороги.
Точка, Теркин.
Помирай.
А уж то-то неохота,
Никакого нет расчета,
Коль от смерти ты утек.
И всего-то нужен кто-то,
Кто бы капельку помог.
Так бывает и в обычной
Нашей сутолоке здесь:
Вот уж все, что мог ты лично,
Одолел, да вышел весь.
Даром все – легко ль смириться —
Годы мук, надежд, труда…
Был бы Бог, так помолиться.
А как нету – что тогда?
Что тогда – в тот час недобрый,
Испытанья горький час?
Человек, не чин загробный,
Человек, тебе подобный, —

Вот кто нужен, кто бы спас…
Смерть придвинулась украдкой,
Не проси – скупа, стара…
И за той минутой шаткой
Нам из сказки в быль пора.
В этот мир живых, где ныне
Нашу службу мы несем…
– Редкий случай в медицине, —
Слышит Теркин, как сквозь сон.
Проморгался в теплой хате,
Простыня – не белый снег,
И стоит над ним в халате
Не покойник – человек.
И хотя вздохнуть свободно
В полный вздох еще не мог,
Чует – жив!
Тропой обходной
Из жары, из тьмы безводной
Душу с телом доволок;
Словно той живой, природной,
Дорогой воды холодной
Выпил целый котелок…
Поздравляют с Новым годом.
– Ах, так вон что – Новый год!
И своим обычным ходом
За стеной война идет.
Отдохнуть в тепле не шутка.
Дай-ка, думает, вздремну.
И дивится вслух наука:
– Ай да Теркин! Ну и ну!
Воротился с того света,
Прибыл вновь на белый свет.
Тут уж верная примета:
Жить ему еще сто лет!

*** * ***

– Точка?
– Вывернулся ловко
Из-под крышки гробовой
Теркин твой.
– Лиха концовка.
– Точка все же с запятой…
– Как же: Теркин на том свете!
– Озорство и произвол:
Из живых и сущих в нети

Автор вдруг его увел,
В мир загробный.
– А постольку
Сам собой встает вопрос:
Почему же не на стройку?
– Не в колхоз?
– И не в совхоз?
– Почему не в цех к мотору?
– Не к мартену?
– Не в забой?
– Даже, скажем, не в контору? —
Годен к должности любой.
– Молодца такой закваски —
В кабинеты – не расчет.
– Хоть в ансамбль грузинской пляски,
Так и там не подведет.
– Прозевал товарищ автор,
Не потрафил в первый ряд —
Двинуть парня в космонавты.
– В космонавты – староват.
– Впору был бы по отваге
И развитию ума.
– В космонавты?
– Нет, в завмаги!
– Ох, запутают.
– Тюрьма…
– Укрепить бы сеть Нарпита.
– Да не худо бы Жилстрой…
– А милиция забыта?
– А пожарник – не герой?
Ах, читатель, в этом смысле
Одного ты не учел:
Всех тех мест не перечислить,
Где бы Теркин подошел.
Спор о том, чьим быть герою
При наличье стольких свойств,
Возникал еще порою
Меж родами наших войск.
Теркин – тем ли, этим боком —
В жизни воинской своей
Близок был в раскате дней
И с войны могучим богом,
И гремел по тем дорогам
С маршем танковых частей,
И везде имел друзей,
Оставаясь в смысле строгом
За царицею полей.

Потому в солдатском толке,
По достоинствам своим,
Признан был героем Теркин
Как бы общевойсковым…
И совсем не по закону
Был бы он приписан мной —
Вдруг – по ведомству какому
Или отрасли одной.
На него уже управа
Недействительна моя:
Где по нраву —
Там по праву
Выбирает он края.
И не важно, в самом деле,
На каком теперь посту —
В министерстве иль артели
Занимает высоту.
Там, где жизнь,
Ему привольно,
Там, где радость,
Он и рад,
Там, где боль,
Ему и больно,
Там, где битва,
Он – солдат.
Хоть иные батареи
И калибры встали в строй,
И всему иной покрой…
Автор – пусть его стареет,
Пусть не старится герой!
И такой сюжет для сказки
Я избрал не потому,
Чтобы только без подсказки
Сладить с делом самому.
Я в свою ходил атаку,
Мысль одна владела мной:
Слажу с этой, так со всякой
Сказкой слажу я иной.
И в надежде, что задача
Мне пришлася по плечу,
Я – с чего я книжку начал,
Тем ее и заключу.
Я просил тебя покорно
Прочитать ее сперва.
И теперь твои бесспорны,
А мои – ничто – права.
Не держи теперь в секрете

Ту ли, эту к делу речь.
Мы с тобой на этом свете:
Хлеб-соль ешь,
А правду режь.
Я тебе задачу задал,
Суд любой в расчет беря.
Пушки к бою едут задом, —
Было сказано не зря.

1954–1963

По праву памяти

Смыкая возраста уроки,
Сама собой приходит мысль —
Ко всем, с кем было по дороге,
Живым и павшим отнестись.
Она приходит не впервые,
Чтоб слову был двойной контроль:
Где, может быть, смолчат живые,
Так те прервут меня:
– Позволь!
Перед лицом ушедших былей
Не вправе ты кривить душой —
Ведь эти были оплатили
Мы платой самою большой…
И мне да будет та застава,
Тот строгий знак сторожевой
Залогом речи нелукавой
По праву памяти живой.

1. Перед отлетом

Ты помнишь, ночью предосенней, —
Тому уже десятки лет, —
Курили мы с тобой на сене,
Презрев опасливый запрет.
И глаз до света не сомкнули,
Хоть запах сена был не тот,
Что в ночи душные июля
Заснуть подолгу не дает…
То вслух читая чьи-то строки,
То вдруг теряя связь речей,
Мы собирались в путь далекий
Из первой юности своей.
Мы не испытывали грусти,
Друзья – мыслитель и поэт,
Кидая наше захолустье
В обмен на целый белый свет.
Мы жили замыслом заветным,
Дорваться вдруг
До всех наук —
Со всем запасом их несметным —
И уж не выпустить из рук.
Сомненья дух нам был неведом;
Мы с тем управимся добром
И за отцов своих и дедов

Еще вдобавок доберем…
Мы повторяли, что напасти
Нам никакие нипочем,
Но сами ждали только счастья, —
Тому был возраст обучен.
Мы знали, что оно сторицей
Должно воздать за наш порыв
В премудрость мира с ходу врыться,
До дна ее разворотив.
Готовы были мы к походу.
Что проще может быть:
Не лгать.
Не трусить.
Верным быть народу.
Любить родную землю-мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду.
А если —
То и жизнь отдать.
Что проще!
В целости оставим
Таким завет начальных дней.
Лишь про себя теперь добавим:
Что проще – да.
Но что сложней?
Такими были наши дали,
Как нам казалось, без прикрас,
Когда в безудержном запале
Мы в том друг друга убеждали,
В чем спору не было у нас.
И всласть толкуя о науках,
Мы вместе грезили о том,
Ах, и о том, в каких мы брюках
Домой заявимся потом.
Дивись, отец, всплакни, родная,
Какого гостя бог нанес,
Как он пройдет, распространяя
Московский запах папирос.
Москва, столица – свет не ближний,
А ты, родная сторона,
Какой была, глухой, недвижной,
Нас на побывку ждать должна.
И хуторские посиделки,
И вечеринки чередом,
И чтоб загорьевские девки
Глазами ели нас потом,
Неловко нам совали руки,
Пылая краской до ушей…

А там бы где-то две подруги,
В стенах столичных этажей,
С упреком нежным ожидали
Уже тем часом нас с тобой,
Как мы на нашем сеновале
Отлет обдумывали свой…
И невдомек нам было вроде,
Что здесь, за нашею спиной,
Сорвется с места край родной
И закружится в хороводе
Вслед за метелицей сплошной…
Ты не забыл, как на рассвете
Оповестили нас, дружков,
Об уходящем в осень лете
Запевы юных петушков.
Их голосов надрыв цыплячий
Там, за соломенной стрехой, —
Он отзывался детским плачем
И вместе удалью лихой.
В какой-то сдавленной печали,
С хрипотцей истовой своей
Они как будто отпевали
Конец ребячьих наших дней.
Как будто сами через силу
Обрядный свой тянули сказ
О чем-то памятном, что было
До нас.
И будет после нас.
Но мы тогда на сеновале
Не так прислушивались к ним,
Мы сладко взапуски зевали,
Дивясь, что день, а мы не спим.
И в предотъездном нашем часе
Предвестий не было о том,
Какие нам дары в запасе
Судьба имела на потом.
И где, кому из нас придется,
В каком году, в каком краю
За петушиной той хрипотцей
Расслышать молодость свою.
Навстречу жданной нашей доле
Рвались мы в путь не наугад, —
Она в согласье с нашей волей
Звала отведать хлеба-соли.
Давно ли?
Жизнь тому назад…

2. Сын за отца не отвечает

Сын за отца не отвечает —
Пять слов по счету, ровно пять.
Но что они в себя вмещают,
Вам, молодым, не вдруг объять.
Их обронил в кремлевском зале
Тот, кто для всех нас был одним
Судеб вершителем земным,
Кого народы величали
На торжествах отцом родным.
Вам —
Из другого поколенья —
Едва ль постичь до глубины
Тех слов коротких откровенье
Для виноватых без вины.
Вас не смутить в любой анкете
Зловещей некогда графой:
Кем был до вас еще на свете
Отец ваш, мертвый иль живой.
В чаду полуночных собраний
Вас не мытарил тот вопрос:
Ведь вы отца не выбирали, —
Ответ по-нынешнему прост.
Но в те года и пятилетки,
Кому с графой не повезло, —
Для несмываемой отметки
Подставь безропотно чело.
Чтоб со стыдом и мукой жгучей
Носить ее – закон таков.
Быть под рукой всегда – на случай
Нехватки классовых врагов.
Готовым к пытке быть публичной
И к горшей горечи подчас,
Когда дружок твой закадычный
При этом не поднимет глаз…
О, годы юности немилой,
Ее жестоких передряг.
То был отец, то вдруг он – враг.
А мать?
Но сказано: два мира,
И ничего о матерях…
И здесь, куда – за половодьем
Тех лет – спешил ты босиком,
Ты именуешься отродьем,
Не сыном даже, а сынком…
А как с той кличкой жить парнишке,

Как отбывать безвестный срок, —
Не понаслышке,
Не из книжки
Толкует автор этих строк…
Ты здесь, сынок, но ты нездешний,
Какой тебе еще резон,
Когда родитель твой в кромешный,
В тот самый список занесен.
Еще бы ты с такой закваской
Мечтал ступить в запретный круг.
И руку жмет тебе с опаской
Друг закадычный твой…
И вдруг:
– Сын за отца не отвечает.
С тебя тот знак отныне снят.
Счастлив стократ:,
Не ждал, не чаял,
И вдруг – ни в чем не виноват.
Конец твоим лихим невзгодам,
Держись бодрей, не прячь лица.
Благодари отца народов,
Что он простил тебе отца
Родного —
с легкостью нежданной
Проклятье снял. Как будто он
Ему неведомый и странный
Узрел и отменил закон.
(Да, он умел без оговорок,
Внезапно – как уж припечет —
Любой своих просчетов ворох
Перенести на чей-то счет;
На чье-то вражье искаженье
Того, что возвещал завет,
На чье-то головокруженье
От им предсказанных побед.)
Сын – за отца? Не отвечает!
Аминь!
И как бы невдомек:
А вдруг тот сын (а не сынок!),
Права такие получая,
И за отца ответить мог?
Ответить – пусть не из науки,
Пусть не с того зайдя конца,
А только, может, вспомнив руки,
Какие были у отца.
В узлах из жил и сухожилий,
В мослах поскрюченных перстов —

Те, что – со вздохом – как чужие,
Садясь к столу, он клал на стол.
И точно граблями, бывало,
Цепляя
ложки черенок,
Такой увертливый и малый,
Он ухватить не сразу мог.
Те руки, что своею волей —
Ни разогнуть, ни сжать в кулак:
Отдельных не было мозолей —
Сплошная.
Подлинно – кулак !
И не иначе, с тем расчетом
Горбел годами над землей,
Кропил своим бесплатным потом,
Смыкал над ней зарю с зарей.
И от себя еще добавлю,
Что, может, в час беды самой
Его мужицкое тщеславье,
О, как взыграло – боже мой!
И в тех краях, где виснул иней
С барачных стен и потолка,
Он, может, полон был гордыни,
Что вдруг сошел за кулака.
Ошибка вышла? Не скажите, —
Себе внушал он самому, —
Уж если этак, значит – житель,
Хозяин, значит, – потому…
А может быть, в тоске великой
Он покидал свой дом и двор
И отвергал слепой и дикий,
Для круглой цифры, приговор.
И в скопе конского вагона,
Что вез куда-то за Урал,
Держался гордо, отчужденно
От тех, чью долю разделял.
Навалом с ними в той теплушке —
В одном увязанный возу,
Тянуться детям к их краюшке
Не дозволял, тая слезу…
(Смотри, какой ты сердобольный, —
Я слышу вдруг издалека, —
Опять с кулацкой колокольни,
Опять на мельницу врага. —
Доколе, господи, доколе,
Мне слышать эхо древних лет:
Ни мельниц тех, ни колоколен

Давным-давно на свете нет.)
От их злорадства иль участья
Спиной горбатой заслонясь,
Среди врагов Советской власти
Один, что славил эту власть:
Ее помощник голоштанный,
Ее опора и боец,
Что на земельке долгожданной
При ней и зажил наконец, —
Он, ею кинутый в погибель,
Не попрекнул ее со злом:
Ведь суть не в малом перегибе,
Когда – Великий перелом…
И верил: все на место встанет
И не замедлит пересчет,
Как только – только лично Сталин
В Кремле письмо его прочтет…
(Мужик не сметил, что отныне,
Проси чего иль не проси,
Не Ленин, даже не Калинин
Был адресат всея Руси.
Но тот, что в целях коммунизма
Являл иной уже размах
И на газетных полосах
Читал республик целых письма —
Не только в прозе, но в стихах.)
А может быть, и по-другому
Решал мужик судьбу свою:
Коль нет путей обратных к дому,
Не пропадем в любом краю.
Решал – попытка без убытка,
Спроворим свой себе указ.
И – будь добра, гора Магнитка,
Зачисли нас
В рабочий класс…
Но как и где отец причалит,
Не об отце, о сыне речь:
Сын за отца не отвечает, —
Ему дорогу обеспечь.
Пять кратких слов…
Но год от года
На нет сходили те слова,
И званье «сын врага народа»
Уже при них вошло в права.
И за одной чертой закона
Уже равняла всех судьба:
Сын кулака иль сын наркома,

Сын командарма иль попа…
Клеймо с рожденья отмечало
Младенца вражеских кровей.
И все, казалось, не хватало
Стране клейменых сыновей.
Недаром в дни войны кровавой
Благословлял ее иной:
Не попрекнув его виной,
Что душу горькой жгла отравой,
Война предоставляла право
На смерть и даже долю славы
В рядах бойцов земли родной.
Предоставляла званье сына
Солдату воинская часть…
Одна была страшна судьбина:
В сраженье без вести пропасть.
И до конца в живых изведав
Тот крестный путь, полуживым —
Из плена в плен – под гром победы
С клеймом проследовать двойным.
Нет, ты вовеки не гадала
В судьбе своей, Отчизна-мать,
Собрать под небом Магадана
Своих сынов такую рать.
Не знала,
Где всему начало,
Когда успела воспитать
Всех, что за проволокой держала,
За зоной той, родная мать…
Средь наших праздников и буден
Не всякий даже вспомнить мог,
С каким уставом к смертным людям
Взывал их посетивший бог.
Он говорил: иди за мною,
Оставь отца и мать свою,
Все мимолетное, земное
Оставь – и будешь ты в раю.
А мы, кичась неверьем в бога,
Во имя собственных святынь
Той жертвы требовали строго:
Отринь отца и мать отринь.
Забудь, откуда вышел родом,
И осознай, не прекословь:
В ущерб любви к отцу народов —
Любая прочая любовь.
Ясна задача, дело свято, —
С тем – к высшей цели – прямиком.

Предай в пути родного брата
И друга лучшего тайком.
И душу чувствами людскими
Не отягчай, себя щадя.
И лжесвидетельствуй во имя,
И зверствуй именем вождя.
Любой судьбине благодарен,
Тверди одно, как он велик,
Хотя б ты крымский был татарин,
Ингуш иль друг степей калмык.
Рукоплещи всем приговорам,
Каких постигнуть не дано.
Оклевещи народ, с которым
В изгнанье брошен заодно..
И в душном скопище исходов —
Нет, ни библейских, наших дней —
Превозноси отца народов:
Он сверх всего.
Ему видней.
Он все начала возвещает
И все концы, само собой.
Сын за отца не отвечает —
Закон, что также означает:
Отец за сына – головой.
Но все законы погасила
Для самого благая ночь.
И не ответчик он за сына,
Ах, ни за сына, ни за дочь.
Там, у немой стены кремлевской,
По счастью, знать не знает он,
Какой лихой бедой отцовской
Покрыт его загробный сон…
Давно отцами стали дети,
Но за всеобщего отца
Мы оказались все в ответе,
И длится суд десятилетий,
И не видать еще конца.

3. О памяти

Забыть, забыть велят безмолвно,
Хотят в забвенье утопить
Живую быль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль – забыть!
Забыть родных и близких лица
И стольких судеб крестный путь —
Все то, что сном давнишним будь,

Дурною, дикой небылицей,
Так и ее – поди забудь.
Но это было явной былью
Для тех, чей был оборван век,
Для ставших лагерною пылью,
Как некто некогда изрек.
Забыть – о, нет, не с теми вместе
Забыть, что не пришли с войны, —
Одних, что даже этой чести
Суровой были лишены.
Забыть велят и просят лаской
Не помнить – память под печать,
Чтоб ненароком той оглаской
Непосвященных не смущать.
О матерях забыть и женах,
Своей не ведавших вины,
О детях, с ними разлученных,
И до войны,
И без войны.
А к слову – о непосвященных:
Где взять их? Все посвящены.
Все знают всё; беда с народом! —
Не тем, так этим знают родом,
Не по отметкам и рубцам,
Так мимоездом, мимоходом,
Не сам,
Так через тех, кто сам…
И даром думают, что память
Не дорожит сама собой,
Что ряской времени затянет
Любую быль,
Любую боль;
Что так и так – летит планета,
Годам и дням ведя отсчет,
И что не взыщется с поэта,
Когда за призраком запрета
Смолчит про то, что душу жжет…
Нет, все былые недомолвки
Домолвить ныне долг велит.
Пытливой дочке-комсомолке
Поди сошлись на свой Главлит;
Втолкуй, зачем и чья опека
К статье закрытой отнесла
Неназываемого века
Недоброй памяти дела;
Какой, в порядок не внесенный,
Решил за нас

Особый съезд
На этой памяти бессонной,
На ней как раз
Поставить крест.
И кто сказал, что взрослым людям
Страниц иных нельзя прочесть?
Иль нашей доблести убудет
И на миру померкнет честь?
Иль, о минувшем вслух поведав,
Мы лишь порадуем врага,
Что за свои платить победы
Случалось нам втридорога?
В новинку ль нам его злословье?
Иль все, чем в мире мы сильны,
Со всей взращенной нами новью,
И потом политой, и кровью,
Уже не стоит той цены?
И дело наше – только греза,
И слава – шум пустой молвы?
Тогда молчальники правы,
Тогда все прах – стихи и проза,
Все только так – из головы.
Тогда совсем уже – не диво,
Что голос памяти правдивой
Вещал бы нам и впредь беду:
Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу…
Что нынче счесть большим, что малым, —
Как знать, но люди не трава:
Не обратить их всем навалом
В одних непомнящих родства.
Пусть очевидцы поколенья
Сойдут по-тихому на дно,
Благополучного забвенья
Природе нашей не дано.
Спроста иные затвердили,
Что будто нам про черный день
Не ко двору все эти были,
На нас кидающие тень.
Но все, что было, не забыто,
Не шито-крыто на миру.
Одна неправда нам в убыток,
И только правда ко двору!
А я – не те уже годочки —
Не вправе я себе отсрочки
Предоставлять.
Гора бы с плеч —

Еще успеть без проволочки
Немую боль в слова облечь.
Ту боль, что скрытно временами
И встарь теснила нам сердца
И что глушили мы громами
Рукоплесканий в честь отца .
С предельной силой в каждом зале
Они гремели потому,
Что мы всегда не одному
Тому отцу рукоплескали.
Всегда, казалось, рядом был,
Свою земную сдавший смену,
Тот, кто оваций не любил,
По крайней мере знал им цену.
Чей образ вечным и живым
Мир уберег за гранью бренной,
Кого учителем своим
Именовал отец смиренно…
И, грубо сдвоив имена,
Мы как одно их возглашали
И заносили на скрижали,
Как будто суть была одна.
А страх, что всем у изголовья
Лихая ставила пора,
Нас обучил хранить безмолвье
Перед разгулом недобра.
Велел в безгласной нашей доле
На мысль в спецсектор сдать права,
С тех пор – как отзыв давней боли
Она для нас – явись едва.
Нет, дай нам знак верховной воли,
Дай откровенье божества.
И наготове вздох особый —
Дерзанья нашего предел:
Вот если б Ленин встал из гроба,
На все, что стало, поглядел…
Уж он за всеми мелочами
Узрел бы ширь и глубину.
А может быть, пожал плечами
И обронил бы:
– Ну и ну!
Так, сяк гадают те и эти,
Предвидя тот иль этот суд, —
Как наигравшиеся дети,
Что из отлучки старших ждут.
Но все, что стало или станет,
Не сдать, не сбыть нам с рук своих,

И Ленин нас судить не встанет:
Он не был богом и в живых.
А вы, что ныне норовите
Вернуть былую благодать,
Так вы уж Сталина зовите —
Он богом был —
Он может встать.
И что он легок на помине
В подлунном мире, бог-отец,
О том свидетельствует ныне
Его китайский образец…
…Ну что ж, пускай на сеновале,
Где мы в ту ночь отвергли сон,
Иными мнились наши дали, —
Нам сокрушаться не резон.
Чтоб мерить все надежной меркой,
Чтоб с правдой сущей быть не врозь,
Многостороннюю проверку
Прошли мы – где кому пришлось.
И опыт – наш почтенный лекарь,
Подчас причудливо крутой, —
Нам подносил по воле века
Его целительный настой.
Зато и впредь как были – будем, —
Какая вдруг ни грянь гроза, —
Людьми
из тех людей,
что людям,
Не пряча глаз,
Глядят в глаза.

1966–1969

Рассказы, очерки

Автобиография

Родился я в Смоленщине, в 1910 году, 21 июня, на «хуторе пустоши Столпово», как назывался в бумагах клочок земли, приобретенный моим отцом, Трифоном Гордеевичем Твардовским, через Поземельный крестьянский банк с выплатой в рассрочку. Земля эта – десять с небольшим десятин, – вся в мелких болотцах – «оборках», как их у нас называли, и вся заросшая лозняком, ельником, березкой, – была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святости. И нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, подзолистой, скупой и недоброй, но **нашей** земле – нашему «имению», как в шутку и не в шутку называл он свой хутор. Местность эта была довольно дикая, в стороне от дорог, и отец, замечательный мастер кузнечного дела, вскоре закрыл кузницу, решив жить с земли. Но ему то и дело приходилось обращаться к молотку: арендовать в отходе чужой горн и наковальню, работая исполу.

В жизни нашей семьи бывали изредка просветы относительного достатка, но вообще жилось скудно и трудно и, может быть, тем труднее, что наша фамилия в обычном обиходе снабжалась еще шутливо-благожелательным или ироническим добавлением «пан», как бы обязывая отца тянуться изо всех сил, чтобы хоть сколько-нибудь оправдать ее. Между прочим, он любил носить шляпу, что в нашей местности, где он был человек «пришлый», не коренной, выглядело странностью и даже некоторым вызовом, и нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до глубокой осени. Вообще многое в нашем быту было «не как у людей».

Отец был человеком грамотным и даже начитанным по-деревенски. Книга не являлась редкостью в нашем домашнем обиходе. Целые зимние вечера у нас часто отдавались чтению вслух какой-либо книги. Первое мое знакомство с «Полтавой» и «Дубровским» Пушкина, «Тарасом Бульбой» Гоголя, популярнейшими стихотворениями Лермонтова, Некрасова, А. К. Толстого, Никитина произошло таким именно образом. Отец и на память знал много стихов: «Бородино», «Князя Курбского», чуть ли не всего ершовского «Конька-Горбунка». Кроме того, он любил и умел петь, смолоду даже отличался в церковном хоре. Обнаружив, что слова общеизвестной «Коробушки» только малая часть «Коробейников» Некрасова, он певал при случае целиком всю эту поэму.

Мать моя, Мария Митрофановна, была всегда очень впечатлительна и чутка, даже не без сентиментальности, ко многому, что находилось вне практических, житейских интересов крестьянского двора, хлопот и забот хозяйки в большой многодетной семье. Ее до слез трогал звук пастушьей трубы где-нибудь вдалеке за нашими хуторскими кустами и болотцами, или отголосок песни с далеких деревенских полей, или, например, запах первого молодого сена, вид какого-нибудь одинокого деревца и т. п.

Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамотой. Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения. Там не было ни лада, ни ряда – ничего от стиха, но я отчетливо помню, что было страстное, горячее до сердцебиения желание всего этого – и лада, и ряда, и музыки, – желание родить их на свет, и немедленно, – чувство, сопутствующее и доныне всякому новому замыслу.

Что стихи можно сочинять самому, я понял в связи с тем, что гостивший у нас в голодное

время летом дальний наш городской родственник по материнской линии, хромой гимназист, как-то прочел по просьбе отца стихи собственного сочинения «Осень»:

Листья давно облетели,
И голые сучья торчат…

Строки эти, помню, потрясли меня тогда своей выразительностью: «голые сучья» – это было так просто, обыкновенные слова, которые говорятся всеми, но это были стихи, звучащие как из книги.

С того времени я и пишу. Из первых стихов, внушивших мне какую-то уверенность в способности к этому делу, помню строчки, написанные, как видно, под влиянием пушкинского «Вурдалака»:

Раз я позднею порой
Шел от Вознова домой.
Трусоват я был немного,
И страшна была дорога:
На лужайке меж ракит
Шупень старый был убит…

Речь шла об одинокой могиле на середине пути до деревни Ковалево, где жил наш родственник Михайло Вознов. Похоронен в ней был некто Шупень, убитый на том месте. И хотя никаких ракит там поблизости не было, никто из домашних не попрекнул меня этой неточностью: зато было складно.

По-разному благосклонно и по-разному с тревогой относились мои родители к тому, что я стал сочинять стихи. Отцу, человеку очень честолюбивому, это было лестно, но из книг он знал, что писательство не сулит больших выгод, что писатели бывают и не знаменитые, безденежные, живущие на чердаках и голодающие. Мать, видя мою приверженность к таким необычным занятиям, по-своему чуяла в ней некую печальную предназначенность моей судьбы и жалела меня.

Лет тринадцати я как-то показал свои стихи одному молодому учителю. Ничуть не шутя, он сказал, что так теперь писать не годится: все у меня до слова понятно, а нужно, чтобы ни с какого конца нельзя было понять, что и про что в стихах написано, – таковы современные литературные требования. Он показал мне журналы с некоторыми образцами тогдашней – начала двадцатых годов – поэзии. Какое-то время я упорно добивался в своих стихах непонятности. Это долго не удавалось мне, и я пережил тогда, пожалуй, первое по времени горькое сомнение в своих способностях. Помнится, я, наконец, написал что-то уж настолько не понятное ни с какого конца, что ни одной строчки вспомнить не могу оттуда и не знаю даже, о чем там шла речь. Помню лишь факт написания чего-то такого.

С 1924 года я начал посылать небольшие заметки в редакции смоленских газет. Писал о неисправных мостах, о комсомольских субботниках, о злоупотреблениях местных властей и т. п. Изредка заметки печатались. Это делало меня, рядового сельского комсомольца, в глазах моих сверстников и вообще окрестных жителей лицом значительным. Ко мне обращались с жалобами, с предложениями написать о том-то и том-то, «протянуть» такого-то в газете… Потом я отважился послать и стихи. В газете «Смоленская деревня» летом 1925 года появилось мое первое напечатанное стихотворение «Новая изба». Начиналось оно так:

Пахнет свежей сосновой смолою,

Желтоватые стены блестят.
Хорошо заживем мы с весною
Здесь на новый, советский лад…

После этого я, собрав с десяток стихотворений, отправился в Смоленск к М. В. Исаковскому, работавшему там в редакции газеты «Рабочий путь». Принял он меня приветливо, отобрав часть стихотворений, вызвал художника, который зарисовал меня, и вскоре в деревню пришла газета со стихами и портретом «селькора – поэта А. Твардовского».

Михаилу Исаковскому, земляку, а впоследствии другу, я очень многим обязан в своем развитии. Он, может быть, единственный из советских поэтов, чье непосредственное влияние я всегда признаю и считаю, что оно было благотворным для меня. В стихах своего земляка, уже известного в наших краях поэта, я увидел, что предметом поэзии может и должна быть окружающая меня жизнь советской деревни, наша непритязательная смоленская природа, собственный мой мир впечатлений, чувств, душевных привязанностей. Пример его поэзии обратил меня в моих юношеских опытах к существенной объективной теме, к стремлению рассказывать и говорить в стихах о чем-то интересном не только для меня, но и для тех простых, не искушенных в литературном отношении людей, среди которых я продолжал жить. Ко всему этому, конечно, необходима оговорка, что писал я тогда очень плохо, ученически беспомощно, подражательно.

В развитии и росте моего литературного поколения было, мне кажется, самым трудным и для многих моих сверстников губительным то, что мы, втягиваясь в литературную работу, выступая в печати и даже становясь уже «профессиональными» литераторами, оставались людьми без сколько-нибудь серьезной общей культуры, без образования. Поверхностная начитанность, некоторая осведомленность в «малых секретах» ремесла питала в нас опасные иллюзии.

Обучение мое прервалось, по существу, с окончанием сельской школы. Годы, назначенные для нормальной и последовательной учебы, ушли. Восемнадцатилетним парнем я приехал в Смоленск, где не мог долго устроиться не только на учебу, но даже на работу – по тем временам это было еще не легко, тем более что специальности у меня никакой не было. Поневоле пришлось принимать за источник существования грошовый литературный заработок и обивать пороги редакций. Я и тогда понимал незавидность такого положения, но отступать было некуда, – в деревню я вернуться не мог, а молодость позволяла видеть впереди, в недалеком будущем, только хорошее.

Когда в московском «толстом» журнале «Октябрь» М. А. Светлов напечатал мои стихи и кто-то где-то отметил их в критике, я заявился в Москву. Но получилось примерно то же самое, что со Смоленском. Меня изредка печатали, кто-то одобрял мои опыты, поддерживал ребяческие надежды, но зарабатывал я ненамного больше, чем в Смоленске, и жил по углам, койкам, слонялся по редакциям, и меня все заметнее относило куда-то в сторону от прямого и трудного пути настоящей учебы, настоящей жизни. Зимой тридцатого года я вернулся в Смоленск и прожил там лет шесть-семь, до появления в печати поэмы «Страна Муравия».

Период этот – может быть, самый решающий и значительный в моей литературной судьбе. Это были годы великого переустройства деревни на основе коллективизации, и это время явилось для меня тем же, чем для более старшего поколения – Октябрьская революция и гражданская война. Все то, что происходило тогда в деревне, касалось меня самым ближайшим образом в житейском, общественном, морально-этическом смысле. Именно этим годам я обязан своим поэтическим рождением. В Смоленске я наконец принялся за нормальное учение. С помощью ныне покойного смоленского партийного работника А. Н. Локтева поступил я в

Педагогический институт без приемных испытаний, но с обязательством сдать в первый год все необходимые предметы за среднюю школу, в которой я не учился. Мне удалось в первый же год выравняться с моими однокурсниками, успешно закончить второй курс, с третьего я ушел по сложившимся обстоятельствам и доучивался уже в Московском институте истории, философии и литературы (МИФЛИ), куда поступил осенью тридцать шестого года.

Эти годы учебы и работы в Смоленске навсегда отмечены для меня высоким душевным подъемом. Никаким сравнением я не мог бы преувеличить испытанную тогда впервые радость приобщения к миру идей и образов, открывшихся мне со страниц книг, о существовании которых я ранее не имел понятия. Но, может быть, все это было бы для меня «прохождением» институтской программы, если бы одновременно меня не захватил всего целиком другой мир – реальный нынешний мир потрясений, борьбы, перемен, происходивших в те годы в деревне. Отрываясь от книг и учебы, я ездил в колхозы в качестве корреспондента областных газет, вникал со страстью во все, что составляло собою новый, впервые складывающийся строй сельской жизни, писал статьи, корреспонденции и вел всякие записи, за каждой поездкой отмечая для себя то новое, что открылось мне в сложном процессе становления колхозной жизни. Около этого времени я совсем разучился писать стихи, как писал их прежде, пережил крайнее отвращение к «стихотворству» – составлению строк определенного размера с обязательным набором эпитетов, подыскиванием редких рифм и ассонансов, стремлением попасть в известный, принятый в тогдашнем поэтическом обиходе тон.

Моя поэма «Путь к социализму», озаглавленная так по названию колхоза, о котором шла речь, была сознательной попыткой говорить в стихах обычными для разговорного, делового, отнюдь не «поэтического» обихода словами.

В одной из комнат бывшего барского дома
Насыпан по самые окна овес,
Окна побиты еще во время погрома
И щитами завешаны из соломы,
Чтобы овес не пророс
От солнца и сырости в помещенье.
На общем хранится зерно попеченье…

Поэма, выпущенная по рекомендации очень благожелательного к молодым Эд. Багрицкого в 1931 году издательством «Молодая гвардия», встречена была в печати в общем положительно, но я не мог не почувствовать сам, что такие стихи – езда со спущенными вожжами, утрата ритмической дисциплины стиха, проще говоря, не поэзия. И вернуться к стихам в прежнем, привычном духе я уже не мог. Новые возможности погрезились мне в организации стиха из его элементов, входящих в живую речь, – из оборотов и ритмов пословицы, поговорки, присказки. Вторая моя поэма «Вступление», вышедшая в Смоленске в 1932 году, была данью таким именно односторонним поискам «естественности» стиха:

Жил на свете Федот,
Был про него анекдот:
– Федот, каков умолот?
– Как и в прошлый год.
– А каков укос?
– Чуть не целый воз.
– А как насчет сала?

– Кошка украла…

По материалу, содержанию, даже намечавшимся в общих чертах образам обе эти поэмы подготовляли «Страну Муравию», написанную в 1934–1936 годах. Но для этой новой моей вещи я должен был на собственном трудном опыте разувериться в возможности стиха, который утрачивает свои основные природные начала: музыкально-песенную основу, энергию выражения, особую эмоциональную наполненность.

Пристальное знакомство с образцами большой отечественной и мировой поэзии и прозы подарило мне еще такое «открытие», как законность условности в изображении действительности средствами искусства. Условность хотя бы фантастического сюжета, преувеличение и смещение деталей живого мира в художественном произведении перестали мне казаться пережиточными моментами искусства, противоречащими реализму изображения. А то, наблюденное и добытое из жизни мною лично, что я носил в душе, гнало меня к новой работе, к новым поискам. То, что я знаю о жизни, – казалось мне тогда, – я знаю лучше, подробней и достоверней всех живущих на свете, и я должен об этом рассказать. Я до сих пор считаю такое чувство не только законным, но и обязательным в осуществлении всякого серьезного замысла.

Историю замысла «Страны Муравии», подсказанного одним из тогдашних выступлений А. А. Фадеева, я позднее изложил в специальной заметке «О «Стране Муравии».

Со «Страны Муравии», встретившей одобрительный прием у читателей и критики, я начинаю счет своим писаниям, которые могут характеризовать меня как литератора. Выход этой книги в свет послужил причиной значительных перемен и в моей личной жизни. Я переехал в Москву; в 1938 году вступил в ряды Коммунистической партии; в 1939 году окончил МИФЛИ, выпустил книгу новых стихов «Сельская хроника».

Осенью 1939 года я был призван в армию и участвовал в освободительном походе наших войск в Западную Белоруссию. По окончании похода я был уволен в запас, но вскоре вновь призван и, уже в офицерском звании, но в той же должности спецкорреспондента военной газеты, участвовал в войне с Финляндией. Месяцы фронтовой работы в условиях суровой зимы сорокового года в какой-то мере предварили для меня военные впечатления Великой Отечественной войны. А мое участие в создании фельетонного персонажа «Васи Теркина» в газете «На страже Родины» (ЛВО) – это, по существу, начало моей основной литературной работы в годы Отечественной войны. Но дело в том, что глубина всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига в Отечественной войне с первых дней отличили ее от каких бы то ни было иных войн, и тем более военных кампаний. Это, конечно, и определило существенное отличие теперешнего «Василия Теркина» от того, прежнего «Васи».

Историю зарождения и создания этой моей книги я пытался подробнее изложить в своей статье «Как был написан «Василий Теркин» (Ответ читателям)». Здесь же скажу только, что «Книга про бойца», каково бы ни было ее собственно литературное значение, в годы войны была для меня истинным счастьем: она дала мне ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся, непринужденной форме изложения. «Теркин» был для меня во взаимоотношениях поэта с его читателем – воюющим советским человеком – моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю. Впрочем, все это, мне кажется, более удачно выражено в заключительной главе самой книги.

Почти одновременно с «Теркиным» и стихами «Фронтовой хроники» я начал еще на войне, но закончил уже после войны поэму «Дом у дороги». Тема ее – война, но с иной стороны, чем в «Теркине», – со стороны дома, семьи, жены и детей солдата, переживших войну. Эпиграфом

этой книги могли бы быть строки, взятые из нее же:

Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

Всегда наряду со стихами я писал прозу – корреспонденции, очерки, статьи, рассказы; выпустил еще до «Муравии» нечто вроде небольшой повести – «Дневник председателя колхоза» – результат моих деревенских записей «для себя». В 1947 году опубликовал книгу о минувшей войне «Родина и чужбина»; вместе с последующими очерками и рассказами она входит в 4-й том моего пятитомного Собрания сочинений. В замыслах же и предположениях на будущее проза издавна занимает у меня, пожалуй, наиболее обширное место.

Связанный со Смоленщиной не только памятью отчих мест, детства и ранней юности, годами жизни в Смоленске в пору моего литературного ученичества, но и годами войны, когда вместе с частями фронта вступал на пепелища освобождаемой от оккупантов родной стороны, я и в послевоенные годы не утрачивал этой связи. Неудивительно, что мотивы и образы «смоленской стороны» так часто представлены во всех моих стихах и поэмах, рассказах и очерках.

Но так же естественно, что с годами, с расширением жизненного и литературно-общественного опыта, поездками по стране и за ее пределы – расширялось и, так сказать, поле действительности, становившейся основой моих писаний.

Могу сказать, что если Смоленщина, со всей ее неповторимой и бесценной для меня памятью, досталась мне, как говорится, от отца с матерью, то уже, например, Сибирь, с ее суровой и величественной красой, природными богатствами, гигантскими стройками и сказочно-широкими перспективами, я обретал для себя уже сам в зрелые годы. Правда, интерес и влечение к Сибири и Дальнему Востоку были у меня задолго до моих поездок в эти края, с отроческих лет, под влиянием книг и отчасти переселенческих мечтаний и планов отца, то и дело возникавших у него в полном противоречии с привязанностью к своему загорьевскому «имению».

Эту новую мою связь – связь с «иными краями» – я сознательно развиваю и укрепляю с конца сороковых годов, когда впервые побывал на востоке страны, и она непосредственно сказалась в главной моей работе пятидесятых годов – книге «За далью – даль».

Поэмы мои более известны читателю, чем лирика, – они чаще переиздавались, особенно «Василий Теркин», и куда больше привлекали внимание критики в статьях. По-видимому, это не случайно. Но для меня лирика отнюдь не представляется чем-то второочередным в моей работе, и она, мне кажется, органически, неотрывно связана с поэмами. Мотивы ее, как это мне, автору, хорошо известно, то предшествуют основному содержанию и главным чертам формы больших вещей, то дополняют их, развивая мысли, не нашедшие места или едва намеченные в поэмах. Более того, одни из лирических стихотворений, даже опубликованных в печати, затем входили целиком или несколькими строфами в текст той или иной из поэм и прекращали самостоятельное существование; другие складывались в ходе работы над поэмами, но, как говорится, отпочковывались от них и приобретали самостоятельное существование. Внимательному читателю не трудно обнаружить это родство и взаимозависимость моих отдельных стихотворений с поэмами.

Разумеется, жанровое наименование «лирика» в отношении многих моих стихотворений в порядочной степени условно, если иметь в виду не только объем, иногда явно превышающий обычные нормы лирических стихов (например, «Ленин и печник», «Еще про Данилу» и др.), но и преобладающую, особенно в довоенные годы и в годы войны, повествовательно-сюжетную

основу моей лирики. Впрочем, не менее условным является и отнесение поэм к собственно эпическому жанру: во всех поэмах, как это отмечалось и критикой, собственно лирическое начало не ограничено традиционными «отступлениями», но нередко служит и сюжетно-композиционным задачам и сообщает всему изложению смешанный, тесно переплетенный повествовательно-лирический тон и строй.

Одновременно с книгой «За далью – даль», а также лирикой, очерками и статьями в эти годы писалась поэма «Теркин на том свете». Она, конечно, не является «продолжением» «Василия Теркина» в смысле многочисленных читательских предложений на этот счет, по поводу которых я давал свои объяснения в «Ответе читателям», хотя и связана с «Книгой про бойца» непосредственно взятым из нее образом героя. Она возникла из иного, главным образом сатирического задания и обращена к Некоторым сторонам послевоенной действительности в том духе, как их оценивали XX и XXII съезды нашей партии.

В эти же годы значительную часть своего рабочего времени уделял редактированию журнала «Новый мир».

Как только автобиография оставляет форму прошедшего времени, продолжение ее как таковой становится, по крайней мере, нескромным и уж во всяком случае не может заменить собою делания ее, то есть написания новых вещей, о которых автору позволительнее высказываться после их появления перед судом читателя.

1947–1967

О Родине большой и малой

У большинства людей чувство родины в обширном смысле – родной страны, отчизны – дополняется еще чувством родины малой, первоначальной, родины в смысле родных мест, отчих краев, района, города или деревушки. Эта малая родина со своим особым обликом, со своей – пусть самой скромной и непритязательной – красотой предстает человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души, и с нею, этой отдельной и личной родиной, он приходит с годами к той большой родине, что обнимает все малые и – в великом целом своем – для всех одна.

Для всякого художника, в особенности художника слова, писателя, наличие этой малой, отдельной и личной родины имеет огромное значение. Есть писатели, читая которых не удается почувствовать, распознать, откуда они родом – с юга или севера, из города или деревни, есть ли у них своя река или речка, было ли у них когда-нибудь детство.

Но в творениях подлинных художников – и самых больших и более скромных по своему значению – мы безошибочно распознаем приметы их малой родины. Они принесли с собой в литературу свои донские, орловско-курские, тульские, приднепровские, волжские и заволжские, степные и лесостепные, уральские и сибирские родные места. Они утвердили в нашем читательском представлении особый облик этих мест и краев, цвета и запахи их лесов и полей, их весны и зимы, жары и метели, отголоски их исторических судеб, отзвуки их песен, своеобычную прелесть иного местного словечка, звучащего отнюдь не в разладе с законами единого великого языка.

Иван Сергеевич Соколов-Микитов принадлежит именно к этому ряду русских советских писателей старшего поколения. В литературу он вошел со своей малой родиной – смоленской лесной стороной, со своей рекой Угрой и неповторимым очарованием неброской и, по его собственному выражению, как бы застенчивой красы отчих мест, глубоко воспринятой им в пору простецкого деревенского детства.

Нежную сыновнюю привязанность к родным местам, благодарную память о них он сохраняет и в зрелые годы своей жизни и творчества. Родным краям, впечатлениям ребяческих лет и ранней юности в давнюю, дореволюционную пору посвящена его замечательная повесть «Детство», которую можно смело поставить в ряду классических автобиографических повестей русской литературы. На тех же смоленских проселках, лугах и «лядах», заросших иван-чаем, развертываются события иной, советской поры 20-х годов, легшие в основу большого цикла рассказов и очерков «На речке Невестнице».

Путешественник по призванию юности и скиталец по обстоятельствам нелегкой жизненной судьбы, И. С. Соколов-Микитов, повидавший немало далеких краев, южных и северных морей и земель, всюду несет с собой неизгладимую память родной Смоленщины. О чем бы ни рассказывал он в своем излюбленном жанре путевого очерка – о знойных ли берегах Африки, шумных и пестрых портах Средиземноморья или впервые осваиваемой крайней северной оконечности Таймырского полуострова, – он остается для своего читателя земляком, уроженцем недальних мест среднерусской полосы, человеком, которого читатель признает, как говорится, «по выговору». И, может быть, эта особенность сообщает рассказам и очеркам Соколова-Микитова ту задушевную, доверительную интонацию, которая так подкупает и располагает к нему читателя.

Но менее всего к И. С. Соколову-Микитову подходят такие определения, как «смоленский писатель», «певец Смоленщины». Дело не только в том, что тематический круг его творчества неизмеримо шире и разнообразнее «областного» материала, но главным образом в том, что по

своему общему и основному звучанию творчество его, имея истоком своим малую родину, принадлежит большой родине, великой советской земле с ее необъятными просторами, неисчислимыми богатствами и разнообразной красой – от севера до юга, от Балтики до Тихоокеанского побережья. С полным правом певца родной земли обращает он к ней простые, глубоко прочувствованные, полные сдержанной силы строки:

«Родина! Особенно звучит для меня это слово, полное глубокого смысла… Обширна и многообразна родившая нас страна. Неиссякаемы и полноводны реки, пересекающие пространства ее. Обширны, зелены леса, высоки горы, блистающие вечными ледниками… Широки знойные степи, непроходима глухая сибирская тайга, раскинувшаяся океаном. Многолюдны и многочисленны города, разбросанные в нашей стране. На многих языках говорят люди, населившие эту величественную страну. Просторны синие дали, звонки и чудесны песни живущего в ней народа».

«На теплой земле» – так озаглавлен один из самых поэтичных по внутренней лирической наполненности очерков писателя. Это заглавие стало названием большого раздела рассказов и очерков И. С. Соколова-Микитова, а затем – названием однотомного собрания его сочинений, вышедшего в 1954 году. Теплой землей ощущает он родную большую советскую землю, и читатель, знакомясь ли с ним впервые или обращаясь уже не в первый раз к любимым страницам его сочинений, с сердечной отрадой ощущает это тепло родной земли, что несут в себе простые, искренние, исполненные достоинства слова писателя.

Удивительно цельный в своих художнических принципах, И. С. Соколов-Микитов от начала до конца чужд соблазнам литературной моды тех лет, когда складывался и определялся его писательский почерк, будь то нарочитая кудрявость и пышнословие стилизации под этакую русскую «вязь» или телеграфически отрывистая, «рубленая» проза. Счастливо избежал он и «областничества» в языке и стиле, злоупотреблений местными речениями, щегольства заковыристыми словесами, так часто засорявшими иные даже талантливые произведения нашей молодой литературы.

Характером своего письма – неторопливого, без топтания на месте, обстоятельного, без мелочных излишеств детализации, певучего, без нарочитой ритмической «озвученности» – более всего он обязан классической русской традиции – С. Т. Аксакову с его «Семейной хроникой», И. С. Тургеневу с «Записками охотника» в первую очередь, отчасти И. А. Бунину.

Однако нужно отметить, что близость к Бунину, в свое время заметившему молодого писателя и принявшему некоторое участие в его литературной судьбе, ограничивается приверженностью к ясности, точности и изяществу родной русской речи. И. С. Соколов-Микитов далек от идейно-содержательных начал бунинской поэзии – его надменного пессимизма, мотивов безысходной боли человеческого существования на земле, страха перед настоящим и умильного преклонения перед прошлым. Исполненное душевного здоровья, проникнутое любовью к жизни, к людям, к природе, творчество Соколова-Микитова, преемственно связанное с классической русской прозой, не могло обойтись без воздействия богатейшего опыта советской литературы в лучших ее образцах.

Влюбленному в жизнь, в родную теплую землю, вдумчивому и жадному наблюдателю ее разнообразных уголков и окраин, ему не бывает скучно ни на охотничьей ночевке в лесу у костра, ни в дальней дороге, ни в пустынных льдах Арктики, ни на суше, ни на море. И не скучно с ним читателю, умеющему оценить прелесть простого дружеского рассказа о том, что автор знает, видел собственными глазами и о чем умеет рассказать достоверно, ладно и памятно.

Книги И. С. Соколова-Микитова по справедливости занимают свое видное место на полке всякой библиотеки, общественной и личной. Они дороги всем, кому дороги сокровищница

чудесной русской речи, богатства родной советской литературы.

Можно пожалеть о том, что яркий и своеобразный талант писателя, создавший, например, прекрасные картины и образы советской деревни 20-х годов, не дал нам картин и образов деревни, испытавшей свой бурный революционный период переустройства жизни на колхозных началах в 30-е годы. Можно пожалеть о том, что Соколовым-Микитовым вообще написано сравнительно мало за годы его литературной жизни, начавшейся еще в дореволюционное время. Можно пожалеть, но попрекнуть нельзя – это было бы несправедливо по отношению к художнику, который и тем, что он успел и смог сделать, доставил нам радость знакомства с одним из самобытнейших и неподдельных талантов нашей литературы. Тем более что талант этот еще в пути, он далеко еще не сказал своего последнего слова.

1958

Из книги «Родина и чужбина»

Из утраченных записей

В первое лето войны у меня не было никакого письменного «хозяйства», кроме небольшой записной книжки в черной клеенчатой обложке. Книжка эта вместе с кожаной полевой сумкой, служившей мне еще на Карельском перешейке, пропала: я имел дурную привычку носить сумку в руке, как носят их штатские люди. Мне жаль тех коротких и отрывочных заметок, в которых, по крайней мере, была ценность записей, сделанных тогда.

На первой странице книжки, помнится, я записал поразившую меня картину начала войны и первую встречу с теми, на кого тяжкий груз ее свалился в первый же день.

Поезд Москва – Киев остановился на станции, кажется, Хутор Михайловский. Выглянув в окно, я увидел нечто до того странное и ужасающее, что до сих пор не могу отстранить это впечатление. Я увидел поле, огромное поле, но был ли это луг, пар, озимый или яровой клин – понять было невозможно: поле было покрыто лежавшими, сидевшими, копошившимися на нем людьми с узелками, котомками, чемоданами, тележками, детишками. Я никогда не видел такого количества чемоданов, узлов, всевозможного городского домашнего скарба, наспех прихваченного людьми в дорогу. На этом поле располагалось, может быть, пять, может быть, десять тысяч людей. Здесь был уже лагерь, вокзал, базар, привал, цыганская пестрота беженского бедствия. Поле гудело. И в этом гудении слышалась еще возбужденность, горячность недавнего потрясения и уже глубокая, тоскливая усталость, онемение, полусон, как раз как в зале забитого до отказа вокзала ночью на большой узловой. Поле поднялось, зашевелилось, тронулось к полотну дороги, к поезду, застучало в стены и окна вагонов, и казалось – оно в силах свалить состав с рельсов. Поезд тронулся. Мы, люди в военном, нарушая жестокий и необходимый порядок, втянули в вагон одну женщину, обвешанную узелками, перехватив с рук на руки ее двух детишек – лет трех и пяти. Она была минчанка, жена командира и, войдя в вагон, спешила подтвердить это документами, – маленькая, замученная, ничем не красивая, кроме, может быть, глаз, сиявших счастьем внезапной удачи. Ей нужно было в Белую Церковь, к родным мужа. Вряд ли она добралась туда – всего через несколько дней я увидел Белую Церковь, оставляемую нами.

Но удивительным и незабываемым было вот что. Женщина, бежавшая из Минска с детьми в ночь первой жестокой бомбежки, не успевшая проститься с мужем, находившимся теперь бог весть где, не только не жаловалась на судьбу, но всячески старалась, чтобы люди, не видевшие, не испытавшие того, что уже довелось ей, не были слишком потрясены, не считали бы ее положение совершенно ужасным. Приткнув детишек в уголок нижней полки нашего купе, она строго, скромно присела там же на краешек, обдернула мгновенно уснувшим детишкам рубашечки, вытерла им вспотевшие личики, незаметно прибралась сама и, кажется, более всего была озабочена тем, чтоб не выглядеть слишком усталой, потрясенной и растерянной. Достоинство хозяйки, матери, женщины, у которой должно быть все в дому не как-нибудь, а хорошо и опрятно, сквозило во всей ее повадке, в сдержанной, экономной хлопотливости.

– Ничего, ничего, – говорила она с грустной и самоотверженно счастливой улыбкой, – это еще ничего: дети целы, доберусь как-нибудь. А он напишет туда, старикам. Вот мы и спишемся.

Какие-то еще она говорила слова, в которых была такая самозабвенная готовность все вытерпеть, вынести, не пасть духом и не удручать, не пугать никого своим горем, никому не жаловаться. Как будто в образе этой маленькой матери-беженки первых дней войны дано было увидеть нам все величие женского материнского подвига в этой войне…

Было в той книжке записано еще впечатление природной красоты Украины, от самого

своего западного края уходившей у нас из-под ног и колес в отступлении. Я ее впервые увидел, Украину, если не считать двух-четырех концов пути в поездах Москва – Севастополь, Москва – Сочи. И увидел в такую медовоцветущую пору – в последние дни июня. Как поразил меня запах в открытом поле, вдалеке от каких-либо садов или пчельников, – густой медовый запах, исподволь сдобренный еще чем-то вроде мяты. Я спросил у товарища, украинца, чем это так пахнет. Оказалось – пшеницей. Это было по дороге из Западной Украины, когда колонна наша стояла по какой-то причине в степи, на рассвете – еще солнце не показалось. Росный, чистый, медовый рассвет, когда еще пыль, густая, сизая пыль чернозема, похожая на каменноугольный дым из трубы, неохотно поднимается за колесами, как бы стесняясь ложиться на чистые, мокрые с ночи хлеба и травы. Это самый тот час, когда особенно сильно хлеб пахнет медом…

Еще была запись о Каневе, который был передним краем нашей обороны на правобережье Днепра. Тогда еще был цел каневский мост, железнодорожный, но по нему был сделан настил для автотранспорта. Помню тревожно-чистое, голубое, с легкой дымкой и золотистостью небо раннего полдня, нытье автомобильных моторов в пробке, образовавшейся у моста, невозможность податься взад или вперед или выскочить в сторону – к мосту подводила высокая железнодорожная насыпь, с которой не свернешь. И ожидание, ожидание чего-то, что обязательно должно вот-вот произойти. Небо, решетки и переплетения моста, и внизу широкая, густая, отчасти стальная синева Днепра.

– О! – сказал кто-то коротко и, пожалуй, даже раньше, чем белый столб возник из синей воды и послышался тяжелый чох разорвавшегося в воде снаряда.

Машины тронулись, как бы не замечая ничего на свете, кроме своей колеи, неторопливо нащупываемой колесами. Движение было изнурительно медленное, и уже совсем некуда было деться в случае чего с этого конвейера. Перейдя мост, машины пошли по правому срезу у насыпи, по узкому – как проехать одной машине – уступчику. Это была сторона насыпи, обращенная туда, откуда бил немец. Мы уже были совсем недалеко от места, где колонна заворачивала под котлован насыпи, чтобы выйти на другую ее сторону, когда снаряд разорвался у самого входа в этот котлован. Из наших товарищей тогда был легко ранен в ногу один. Но это была почти для всех нас первая настоящая близость к войне, если не считать уже пережитых бомбежек…

Еще запись. Люди прошли с боями, со всеми муками отступления чуть не тысячу верст, воевали уже не один месяц, оставили позади большую часть Украины. И расположившись теперь на одну из ночевок в уже холодающей к ночи степи, полной запахов поздней печальной страды – запахов картофельника, свежей яровой соломы, – запели. Запели простую русскую песню, из тех, что подтянуть может всякий. И в той песне не было даже ни слова про войну. Ни слова в песне не было о войне, зато были слова о жизни, любви, родной русской природе, давних деревенских радостях и печалях. И странно: показалось, что ничего этого нет – ни немцев, ни великого горя, – а есть и будет жизнь, любовь, родина и песня, в которой только и место горю, но горю уже пережитому, отошедшему, давнему. Все пройдет. Все еще будет. Мать обнимет сына. Воин подхватит на руки подросшего без него ребенка…

Надя Кутаева

Вот сидит она на санитарной подводе, девчонка в подростковой шинели, пытается заснуть на минутку и, несмотря на большую усталость, никак не может. Бой уже совсем недалеко. Ездовой Шерабурко почмокивает на лошадь, подергивает вожжами и как будто бы даже спешит до места, в батальон. Но всякий раз, как наискосок, через дорогу, свистя и пришепетывая, проносится снаряд, голова бойца уходит в плечи, и он всем корпусом подается вперед, кланяясь крупу лошади. Когда же слышится глухой, неблизкий разрыв, Шерабурко вновь выпрямляется и продолжает еще деловитее почмокивать и подергивать. И старается как можно развязнее

сказать, с улыбкой оглядываясь на медсестру:

– Подбрасывает…

– Ладно, ладно, подбрасывает! – неласково отзывается она, передразнивая его слово. – Давай смотри, куда лучше с подводой подъехать, чтобы мне не три версты раненого таскать.

Ездовой обиженно умолкает. Поле боя уже в виду. Дымные кусты разрывов встают внезапно, как из-под земли, то там, то здесь, то врозь, то парами. Надя всматривается в какой-то черный предмет справа от дороги – не то строение какое, не то автомашина, брошенная в снегу. Нет, комбайн, оставшийся здесь с лета. А место подходящее поставить повозку. И носить не так далеко.

– Шерабурко, подворачивай!

И вдруг отдельно от грохота боя, тоньше, тревожнее и тоскливее, чем снаряд либо мина, над самой головой свистят пули, и оттуда, от комбайна, доносится треск автомата. Шерабурко роняет вожжи и кулем валится под повозку.

– Шерабурко, что с тобой? («Не ранен ли?» – думает Надя, кидаясь к нему и ловя на снегу вожжи.) Шерабурко, миленький…

Нет, он не ранен, этот добрый, простецкий парень, не обвыкший еще на фронте. Но ему так стыдно подняться, что, удлиняя свой позор, он лежит, будто бы ничего не слыша.

– Садись, правь лошадью, – приказывает она в полную меру своего старшинства над ним. – Раненые ждут, а ты под повозкой прятаться? Садись, а то я тебе сейчас… – Она соображает, чем бы таким пригрозить. – А то я тебя сейчас гранатой подорву, Шерабурко. Сейчас!

Ездовой вскакивает и забирает у нее вожжи. Бедняге в голову не приходит, что и гранаты здесь нет никакой и что угроза эта, в сущности, неосуществимая. Он только чувствует властный тон этой девчонки, которая ничего сама не боится и другим бояться не позволяет. Комбайн остается в стороне, Шерабурко правит еще ближе к месту боя, но бой и справа, и слева, и, кажется, уже за спиной у него.

Через полчаса по этой же дороге боец благополучно отвозит двух раненых, уложенных на повозку Надей. А сама Надя остается в батальоне.

В дыму подожженной во время боя деревни она натолкнулась на тяжело раненного лейтенанта. Его уже уложили на сани, первая помощь была оказана, но он лежал на перемешанной со снегом соломе в одной гимнастерке – шинель, должно быть, сбросил в горячке боя. Надя быстро сняла свою шинельку-маломерку, укрыла лейтенанта, а сама осталась в одной стеганке.

Из этой деревни она, может, и не выбралась бы. Немцы оттеснили наших на самую окраину. Автоматчики подошли уже так близко, что нужно было убегать. А ноги ее уже не слушались – так она была измучена, – а тут еще остается боец с залитым кровью лицом, пуля прошла у него по надбровью, и он ничего не видел и был слаб от потери крови. Тогда их заметил другой лейтенант, подхватил обоих за руки и потащил обходным путем из деревни. На выходе из деревни по дороге уже бил немецкий станковый пулемет, и пришлось там долго лежать на снегу, а Надя была вся в поту, разгоряченная и в одной своей стеганке.

Потрясения и муки этого дня сломили ее. Она была отправлена в тыл дивизии, в госпиталь. Вернулась Надя на работу остриженная и оттого ставшая как будто еще меньше ростом.

И снова она встретила на поле боя своего спасителя – лейтенанта. Теперь он был ранен в голову. И он узнал ее.

– Уходи, уходи, Надя! Дела мои плохие, беги.

– Нет, уже теперь я над вами хозяйка, товарищ лейтенант.

Она перевязала и вынесла его, но остался ли он жив, слышать ей не случилось.

Она уже так надорвалась, изнурилась, что просто глядеть больно – худышка, бледненькая, с

наивно и как будто печально вздернутым носиком. И говорит о себе, осторожно покашливая, с грустью и жалостью не к себе, а к тому, что так ненадолго ее хватило:

– Перевязать я еще, конечно, перевяжу, но вынести уже не вынесу. Знаю, не вынесу.

Рассказ ее как-то сам собою связался у меня с одним воспоминанием.

Июль это был или уже август – не помню. Ехал я, сидя спиной к кабине, на открытом грузовике. Заходило солнце. Помню даже, что поразительно правильно был перерезан красный диск солнца пополам тоненьким, как ниточка, светло-синим облачком. Лежала огромная тень от леса, к которому мы подъезжали, обгоняя колонну бойцов, головой уже вошедшую в тень. Вне строя, по обочине, шла девушка в военном, с санитарной сумкой. И такая она была молоденькая, недавняя, серьезная и скромная.

Я залюбовался ею в те секунды, покамест позволяло расстояние, и успел невольно улыбнуться ей или даже кивнуть. И она улыбнулась чуть-чуть, но так хорошо, дружески и доверчиво, что и запомнилось это. Может быть, ее уже нет на свете. Может быть, она все еще в батальоне, на своей скромной и тяжкой должности санинструктора.

Во всяком случае, она уже на десять лет старше, чем была, когда входила в ту огромную тень от леса и смотрела прямо на красный закат разделенного облачком солнца.

Комбат Красников

Еще в дивизии слышал, что есть один комбат без командирского звания и даже с неснятой судимостью. Но когда приехал в этот батальон, как-то не придал значения тому, что у командира – пустые петлицы, – мало ли как сейчас ходят.

Сразу было видно, что человек это дельный, старательный и знающий. И любит показывать оборону своего участка, как иной добрый председатель колхоза спешит, бывало, повести тебя на скотный двор, на ток, туда, сюда…

Гостей было многовато, но основная их часть должна была скоро уехать в другой батальон. Эта группа и пошла первой смотреть боевое охранение.

– Я их быстренько проведу, – шепнул мне комбат, – а с вами мы потом все как следует. Все вам покажу, расскажу. – И в его добрых, серых, несколько воспаленных глазах и виноватой улыбке на немолодом уже и несвежем лице было такое доверительное выражение, как будто речь шла о том, что после общего формального обеда со всеми мы еще отдельно по-настоящему выпьем и закусим.

Гости проходили часа два или больше, уже свечерело, а прошел митинг, и вовсе время уже было уезжать. Стали все прощаться, в том числе и мы, хотя и не побывали в охранении.

– Как? А я думал, вы у нас поночуете, – обратился комбат ко мне, почему-то считая, что я имею к его батальону особый интерес, видимо, очень дорожа этим обстоятельством.

Прощаясь, извиняюсь, жму ему руку, а у него такая трогательная растерянность на лице.

– А я, знаете, хотел вам все по порядочку, как следует. К самым немцам хотел вас сводить, вот как до этих саней, сидят они там совсем близенько.

В полку я вдруг узнаю, что это и есть тот самый комбат Красников, о котором мне рассказывали в дивизии. Комбат без звания и с неснятой судимостью.

Утром я взял лошадь в полку и поехал опять в этот батальон. Как он обрадовался, Красников! Он, видно, решил, что люди перестают им интересоваться, узнав, что он судимый, сидел в тюрьме. Все равно, мол, о таком не напишешь в газете.

Поводил он меня всюду, где только можно было, по снежным ходам сообщения и просто полем, чуть не завязил меня в проволоке «малозаметных препятствий», рассказал, что к чему в системе его оборонного хозяйства, дал произвести очередь из пулемета, выстрелить из противотанковой пушчонки, – конечно, не в связи с появлением танков противника, – словом, занимал гостя чем мог.

Потом с группой его командиров обедали, и солдат носил жареное из другой избы через улицу. Под конец Красников наклонился ко мне за столом с доверительным, как давеча, словом на ухо:

– Пусть разойдутся, а мы еще потом с вами – по капельке.

Мы остались одни, и я попросил его рассказать мне свою историю. Забудьте, мол, что я человек, берущий все на карандаш. Расскажите, если можете, откровенно самую суть дела.

– Суть дела – вот она, – улыбнулся он, с робкой шуткой приподняв запотевший от холодной водки стаканчик. – Вот она, суть.

И он мне рассказал все так, что у меня не было оснований сколько-нибудь усомниться в правдивости его слов.

Он был уже майором, учился на третьем курсе в академии. И вышел из красноармейцев гражданской войны, из батраков, малограмотных. Слабость, на которую он указал, как на суть дела в его судьбе, помешала ему закончить академию. Большое военное лицо, вызвав его однажды к себе в кабинет, сказало:

– Я пьяниц не люблю и у себя не потерплю.

Робкий от своего порока, Красников оробел еще более, и последний испытательный срок, предоставленный ему тем лицом, как будто бы проходил безупречно. И вот он собрался впервые за всю жизнь на курорт с женой, получил отпускные деньги и встретил, конечно, в день сборов к отъезду старого товарища времен гражданской. «Рванули с грохотом», – как выразился он по поводу этой встречи. Дело было в 1937 году. И хотя он хорошо знал, что даже в пьяном виде не мог высказывать каких-либо дурных вещей, но так и пошел со своей виноватой улыбкой в тюрьму, имея скрытое сознание другой безусловной виновности – своей слабости, хотя не она ему вменялась теперь в вину.

В сорок первом году его выпустили. Жизнь была перевернута. Жена, похоже, покинула его. Где-то есть дочурка, о которой он упомянул с нежностью, опять же робкой и виноватой.

Он пошел рядовым в ополчение, но по своим военным знаниям и опыту скоро выделился и при расформировании ополченческой части был взят на пополнение регулярной дивизии. Последовательно замещая выбывавших из строя командиров взвода, роты и, наконец, батальона, он достиг нынешней своей должности. Воюет он хорошо, но томит его некоторая странность его положения рядового на таком посту, где ему подчинены старшие лейтенанты и даже капитаны.

Сказал я ему на прощанье какие-то слова, желая придать ему больше уверенности в себе. Только, мол, берегите хорошее настроение, бодрый дух – все будет хорошо.

– Спасибо, спасибо. Ничего. Как-нибудь, – говорил он, держась за сани и провожая меня до выезда на дорогу. И вдруг, когда я уже порядочно отъехал, крикнул мне вслед с озорной, но все же робкой шутливостью:

– А бодрый дух упадет – мы его приподымем – и все в порядке!

Я оглянулся: он стоял, склонив голову набок, в шинели с пустыми петлицами и правой рукой усиленно делал знак пощелкивания пальцем в шею. Я понял: он не это хотел сказать, но удержался от серьезных слов, отшутился…

Еще мне рассказывала о нем девушка из санитарной роты полка, видевшая Красникова в одном тяжелом бою.

– Ползу среди трупов, среди раненых – от одного к другому – и вдруг вижу, ползет Красников, все лицо в крови, улыбается, перевязываться отказался: и так, мол, доберусь. И еще меня подхваливает: молодец, дочка, цены тебе нет, умница моя. Это он, конечно, для бодрости духа мне сказал, – огонь действительно был очень сильный.

…Мне доставляет большую радость дополнить эту запись спустя восемнадцать лет тем, что в мае 1960 года я вдруг получил письмо от Александра Гавриловича Красникова, о котором со

дня нашей последней встречи ничего не знал и, по правде сказать, скорее всего мог бы предположить, что с войны он не вернулся.

«С августа 1942 года, – пишет он, – и до конца 1945-го я командовал полком на Дону, на Северном Донце, а дальше – Днепр и Днепропетровск, Восточная Пруссия, Кенигсберг. Много получил тяжелых ран и в 1945 году ушел в отставку со званием Подполковник».

Написание этого слова А. Г. Красниковым с большой буквы оставляю здесь без исправления: слишком дорого, как видно, оно этому простому и славному русскому человеку, чтобы писать его с маленькой.

Тетя Зоя

Тетя Зоя – владелица едва ли не единственной коровы в городе после немцев. Умная, веселая, продувная и, в сущности, добрая баба подмосковной провинции. Говорлива и остра на язык, как редко может быть говорлива и остра простая деревенская баба. Это свойство именно городской, порядочно обеспеченной и достаточно досужливой женщины, которая полжизни проводит на рынке, в шумном вагоне пригородного поезда, на лавочке у своих или соседних ворот, за самоваром, хотя бы чай был без сахара. Хлопотлива, оборотиста и неунывна в любые тяжкие времена.

Корова – основное и главное в жизни тети Зои и ее близких. Даже появление наше с капитаном, ранее освоившим этот приют на фронтовой дороге, определялось наличием дойной коровы: дочь тети Зои сама по себе вряд ли могла помешать капитану выбрать другой из знакомых ему домов в этом городе.

Корова! Ее прятали от немцев в каком-то сарайчике. Во время бомбежек и обстрелов тетя Зоя переводила ее с места на место, учитывая преимущественное направление огня и степень угрожаемости того или иного уголка. Ради коровы она покидала щель, где остальные домашние, как и все вообще в городе, сидели по суткам, не вылезая. И не то чтоб она не боялась. Боялась, тряслась, бранилась и плакала, укоряя мужа, который, понятно, ничем не мог тут помочь, отчаивалась уже видеть свою кормилицу и любимицу целой после очередного налета – и все-таки вылезала подоить поскорей, покормить или напоить ее. Так и спасла. Мужеству и выдержке тети Зои обязаны все ее домашние тем относительным достатком, который процветал в нынешнее тяжелое время в этом доме. А мы с капитаном обязаны той почти немыслимой благодатью, что сменила вдруг долгие часы под дождем, в грязи, унылые пересадки с одной попутной машины на другую.

Это был дом, где угощают и задабривают не только того, в ком непосредственно заинтересованы – предполагаемого жениха, – но и любого товарища его, кого бы он ни привел в этот дом. Пусть в этом было желание обеспечить благоприятный отзыв о доме, одобрение выбору капитана, – словом, полусознательная корыстность. Таких ночлегов не много случалось за всю войну.

Не только была приготовлена по всем домашним правилам наша солдатская сухопайковая селедка, поставлен самовар, подогреты и заправлены сметаной сладкие ленивые щи и «быстренько разжарена» картошка на сливочном масле, но, когда мы достали свою военторговскую водку, хозяйка была как будто бы даже несколько огорчена.

– А я, Коленька, – так она называла моего товарища, – а я, Коленька, берегла-берегла, на черной смородине. Мой-то уж к ней подбирал ключи, и так и так подбирал, а я – нет и нет. Нет, думаю, а вдруг завернет Коленька, захочет выпить – где ее достанешь, как не будет…

Капитан, сознавая всю великую силу своего влияния в этом доме, вел себя с царственной учтивостью и скромностью: «Тетя Зоя, не беспокойтесь… Не затрудняйте себя, тетя Зоя… Тетя Зоя, прошу вас, пожалуйста…»

Тетя Зоя попробовала нашей, закрасив ее слегка своею, потом выпила одной своей по

второму и третьему кругу, и ее пухлое, несколько желтоватое, как булочка, лицо подернулось легкой краской, маленькие, любовно зоркие ко всему и ко всем глаза заблистали счастливой слезинкой.

Она угощала, даже лучше сказать – потчевала гостей и поощряла их собственным примером явной любительницы закусить, свободой поведения за столом, в чем опять же было ее отличие от простой деревенской женщины, от крестьянки, которая, угощая, сама ест мало и стеснительно. Она кушала и приговаривала, точно приправляла еду умелой и легкой, свободно и поворотливо льющейся речью:

– Я ото всех этих пережитков, от этой мороки окаянной аппетит совсем потеряла. Мне чтоб поесть, дай мне покой. А тут тебе бомбежки, тревожки, что ни минута, то, может, последняя твоя в жизни… Уж на что батюшка наш, отец Василий, какой человек, а нет, вижу, шепчет молитву, а сам с лица как вот эта скатерка. «Батюшка, говорю, я сама в бога верую, вы это знаете, – он-то, отец Василий, около меня только и питался, как сирота, – батюшка, говорю, помолились, и будет, полеземте в ямочку да пересидим страсть самую. Не ровен же час…» – «Бог не попустит», – говорит. А я: «Не попустит, не попустит, говорю, а зачем нам его испытывать, господа-то? Когда тут камни да стекла летят, за глупость можно погибнуть». – «А верно твое, говорит, за глупость не стоит. Пострадать – так, мол, с толком пострадать, а так что ж!»

Тетя Зоя быстренько крестилась и, закатив глаза, поводила головой с видом окончательной решимости.

– Нет, теперь уж, сохрани господь милостивый, начнет опять подходить немец, а уж тут не останусь. Хоть и жалко всех этих хурбурушек, а нет, не останусь. Корову на веревочку, дом с четырех сторон подпалю, постою, пока не проуглится весь – и пошла!

За столом был и муж тети Зои, какой-то служащий, державшийся молча и важно, но никого не угощавший, ничем не распоряжавшийся за столом. И, конечно, не видно было, чтобы тетя Зоя учитывала его мнение относительно того, оставаться или не оставаться в городе в случае возвращения немцев.

Дочь тети Зои, кажется Дуся по имени, тоже больше молчала и была малоповоротлива и толста. Тщетно старалась мать все время при гостях сообщить ей хоть частицу своей разговорчивости, оживления и свободы, то и дело втягивая ее в беседу, подсказывая ей слова и целые обороты, когда та пробовала вступить в разговор.

После ужина и чая нас уложили с дороги рано. Я спал на мягкой и чистой постели в очень приятном закоулочке – рукой за изголовьем можно было нащупать бревенчатую стену, а ноги касались гладких и теплых кафелей голландской печи. Проснулся чуть свет, пошел попить босиком по толстым чистым дерюжным половичкам на кухню. Там уже был зажжен ранний утренний свет; тетя Зоя отжимала горячий творог в холщовой сумке, сбив его в один угол, как это обычно делается. Тихонько запевал уже самовар на табуретке возле печи, а под табуреткой лежал, заворотив голову, черный петух с не обсохшей на шее кровью. Оставалось еще покурить и полежать до завтрака, прислушиваясь к огню в печке и домовитой, по-раннему сдержанной хлопотне хозяйки. И так славно пахло теплой, из печи, творожной сывороткой, так вдруг напомнилось детство, мир, уют дома, что не хотелось думать, какая за стеной холодная, погибельная погода, дождь со снегом, грязные и мокрые борта попутных машин фронтовой дороги.

– Заходите, заходите, не стесняйтесь, пожалуйста, всегда заходите. И вы тоже заходите, хоть и один, без Коленьки, будете, – рассыпалась вслед нам тетя Зоя, окончательно завоевывая меня этим последним разъяснением.

Я вышел первым, капитан еще задержался минуты на две в доме. Видно, у него были там

свои маленькие обязательства.

Дети и война

С младенческих лет осталось в душе чарующее и таинственное впечатление от стен родной хаты, оклеенных какими-либо картинками, газетами, оберточной бумагой. Помнится, например, какая-то рекламная картинка, как я это теперь могу назвать: женщина в длинной юбке с хвостом, держащая в руках какую-то большую букву – кажется, это был крендель. У нас, детей, это называлось: «Барыня букву съела». Потом шли годы и годы и ложились на стены той же избы другими газетными листами, книжными страницами, плакатами. По этим слоям на стенах иного дома можно было бы писать историю всех этих лет – от картинок 1915 года: русский солдат в шапке тех времен управляется с тремя немцами, – до фотоснимков нынешней войны. Занятно, странно и страшно видеть стены русской избы на Смоленщине в обоях из немецких газет, страниц иллюстрированных журналов, плакатов. Каким сложным впечатлениям подвержена душа ребенка, глядящего на эти картинки!

Дети и война – нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете.

Мальчик трех лет, по-немецки благодарящий нашего офицера за хлеб: «Данке шён».

Мальчик лет двенадцати, в больших, широких, как ведра, немецких сапогах, подбитых гвоздями-шурупами, с блестящими круглыми шляпками.

Мальчик, везущий на детских санках мать, тяжело раненную, когда шел бой за их деревню.

Девочка с ребенком на руках и с двумя меньшими оба́пол себя, у трупа матери. Меньшие плачут. Маленький на руках плачет, видя, что все плачут.

– Нельзя ли было гарнизонам блокированных деревень предлагать сдаваться?

– Можно, почему ж.

– Но трудно, что ли, по техническим условиям?

– А что трудного! Возьми белую тряпку на палку и иди с ординарцем, – всякий командир взвода мог.

– Ну, и ходили?

– Ходили, да некогда было ходить. Бой.

*** * ***

Старший лейтенант Костиков Митрофан Петрович, из донских казаков, рабочий, с очень мужественным лицом, когда не улыбается. А улыбка застенчивая, трогательная. Из любящих воевать. Ему бы еще коня, был бы вполне счастлив. Рассказывают, как двое суток лежал в снегу при штурме деревушки Старые Мельницы.

Подползает капитан:

– Замерз?

Неловко согласиться: маленький я, что ли? Однако говорю откровенно:

– Замерз.

– Связной, отдай ему все, что есть во фляге.

Было там граммов семьдесят. Выпил, закусил сухарем со снегом и еще лежал с полсуток.

*** * ***

Утро. Весенний и чистый и легкий морозец, подсушивший улицу, подворье с вытаявшим зимним навозом, сенцом, – как на дороге. Шофер, сидя на подножке машины, завтракает.

Поздоровались. Кивает головой, продолжая хлебать из котелка, на березку со скворечницей:

– Скворец прилетел, понимаете. С воробьями из-за квартиры ссорится. Думает, домой прилетел, а тут еще черт-те что! Ну, однако, освободили его территорию.

И действительно, не хочется верить, что скворцы сюда прилетали и в прошлую весну и прилетели бы нынче, хоть бы и не было нас здесь.

«Несчастная колонна»

Спас-Деменск. Одноэтажный деревянный дом на Советской улице, переименованной немцами в Гауптштрассе. В комнатах узкие нары в два яруса, с высокими дощатыми бортами, более всего похожие на гробы. Тесно, как в купе вагона.

«Здесь жила несчастная колонна, – написано на белой голландской печи, высоко вверху, на уровне второго яруса нар. – Дорогие бойцы, скорее освобождайте нас…»

Кажется, что это помещение пустует уже давно и неясные, кое-как в спешке нацарапанные записки как будто уже поистерлись от времени. Но обитательницы этой тюрьмы-казармы покинули ее только за день до вступления в город наших войск. Солома из матрацев, вытряхнутая на пол, мусор, убогие обрывки тряпья…

Здесь они жили, вернее сказать – спали положенные для отдыха часы тяжелым сном пленниц. Маленький деревянный городок на Смоленщине был для них дальней *чужбиной*, неметчиной, каторжным местом. Приткнутый высоко под потолком, над койкой-гробом, высохший пучок полевых цветов, собранных, может быть, украдкой по пути на работу или с работы, напоминал здесь о родных полях как о чем-то далеком, лежащем за тридевять земель. И оттого, что на самом деле эти поля лежали совсем неподалеку, было, пожалуй, еще горше.

На полу, в мусоре, я подобрал одно письмо в самодельном, непроштемпелеванном конверте. Пишет Мария Орлова к подруге, такой же пленнице, только другой колонны.

«Теперь нас гоняют на работу к самому фронту, и мы работаем совсем рядом со своими, и они, родненькие, нас видят. Как подъезжаем, так дух замирает: хоть издали посмотреть на родную сторонушку, где стоят наши герои. Только смотреть нам не позволяется… А трудно так, что пока норму выработаешь, так и в глазах потемнеет, не знаешь, как до койки дойти».

Другое письмо, подобранное там же нашими бойцами и попавшее в мои руки в политотделе дивизии:

«Дорогие бойцы и командиры Красной Армии! Это темкинские девушки пишут вам. Мы уверены, что вы освободите нас от этого ига. Мы очень плакали, когда уезжали отсюда…»

Одна из надписей на печке была адресом, по которому наши бойцы разыскали в саду этого дома письмо, спрятанное там Антониной Архиповой.

«Здравствуйте, дорогие, давно не виданные родители, тятенька и маменька, от любящей дочери Тони. Дорогие родители, пишу я вам письмо, но не знаю, попадет оно вам или нет. Дорогая мамочка, будет ли нам с тобой встреча? Шесть месяцев, как нас отняли от вас. Шурика от меня отогнали на второй день Пасхи, и не знаю куда, и с тех пор я его не видала. Дорогие родители, пока мы еще живы и живем вместе с грядецкими и овсянниковскими девками. Решили написать мы вам письмо и оставить в Спасе, как придут наши – может быть, пошлют. А нас немцы не бросают, ведут дальше с собой, и не знаем куда. Дорогая мамочка, если бы у меня крылышки были, прилетела бы к вам хоть на одну минуточку – и тогда бы согласна умереть. Прощайте, прощайте, дорогие родные. Мамочка, передай привет всем, кого я знаю. Дорогие соколы, братья, отцы и сестры, прошу я вас, передайте это письмо, сообщите, пожалуйста, родным о нашей судьбе…»

*** * ***

По сторонам фронтовых дорог большими вольными толпами идут темкинские, знаменские, всходские девушки и женщины из немецкого плена. Это люди отборного рабочего возраста, который так редок в деревнях и селах, разоренных немцами. Они еще не привыкли к тому, что идут без конвоя, что могут громко разговаривать, отдыхать по пути, где вздумается. Чувство этой свободы еще безраздельно владеет ими. Они еще не знают, что ждет их в родных местах, живы ли их отцы, матери, дети, с которыми их разлучили весной этого года. Они по-праздничному оживлены, разговорчивы, хотя ничего праздничного нет в их одежде с засохшими мазками глины, в их котомках и «хотулях» за плечами.

Их рассказы о том, как и где их застала свобода, схожи и уже приобретают веселый и отчасти залихватский тон. Чаще всего речь идет о бомбежке, от которой разболтался конвой, а конвоируемые пошли навстречу своим, «русским», как привыкли они говорить. А то и вовсе дело доходило до того, что колонна, чуя близость фронта, отказывалась идти дальше на запад. Обычно это происходило в лесу, где конвой чувствовал себя менее уверенным.

«Не пойдем и не пойдем», – говорим. Он и так и этак, а мы: «Не пойдем». Стрелять не решился. Махнул рукой, пошел сам со своим автоматом. Отошел подальше, оглянулся да как ударится в бег – животики надорвать…

Послевоенные рассказы и очерки

«Костя»

Рожь едва начинала наливать, когда мы вступили в Витебск, и у нее было еще неполное зерно, а фронт гремел западнее Вильнюса, в глубине Белоруссии и на литовских землях.

Светло-зеленая в низинах и более светлая на взгорках, рожь пахнет в такую пору и хлебом и сеном. Запах этот был особенно явствен там, где она, потоптанная, просыхала на горячей песчаной пыли объездов. Местами, у обочин, она была не просто потоптана или примята и даже не то чтобы обмолочена до срока, а смолота гусеницами и колесами, смолота вместе с мягкой остью еще подслеповатого колоса, молодой соломой и корнями. А местами по ней шли черные плеши от бомбовых разрывов, – веером лежит она далеко вокруг воронки и, живая, привалена тяжелым сбросом земли. И еще больнее видеть, как она, светло-зеленая во все поле, вблизи свежих пожарищ и дышащих жаром машинных остовов стоит бледно-желтая, перезрелая без поры, зряшная. Колос обгорел, молочно-нежное и мягкое, как муравьиное яйцо, зерно пересохло и сплющилось…

Но все это уже не вызывало гнетущего чувства, знакомого по сорок первому году. Все было по-иному. Жестокая стопа войны на этот раз задела кромку хлебов и трав только там, где дорога для нее оказалась слишком узка. Там и сям она проложила свой след, оставила отметины огня, и тотчас за ней, в тылу, смыкались поля и луга, леса и заросли в своем могучем спокойствии цветения и роста.

Под вечер длинного и жаркого июльского дня, особенно растянувшегося для меня из-за больших переездов по незнакомым местам, я искал свое фронтовое хозяйство на окраине живописного западнобелорусского городка.

Ни одной нашей машины здесь не оказалось: или они еще не прибыли, или уже снялись и следовали за фронтом, а я с ними разъехался.

Воинских частей поблизости не замечалось, даже движение на шоссе становилось слабее, – все подбиралось, подтягивалось к передовой. Словом, мне некуда было деваться. Так я набрел на девушку, сидевшую на ступеньках крылечка во дворе большого деревянного, не то школьного, не то больничного дома, обращенного забитой крест-накрест парадной дверью к дороге.

Девушка была в потертой, неформенной кожаной курточке, перепоясанной ремешком, и сидела она, держась обеими руками за ремень немецкой полуавтоматической винтовки, как бы повиснув на нем, и, припав щекой к стволу оружия, тихо покачивалась.

Она подняла голову, когда я к ней подошел, и с приветливой протяжностью в голосе пригласила садиться, чуть подвинувшись на ступеньке. Я сел, закурил и сразу почувствовал большую сладость хоть такого отдыха и приятную свежесть вечера, которая здесь, в этом дворике, заслоненном от жаркой и пыльной дороги, была гуще и ощутимее еще потому, что внизу, под огородом, слышалась речка. На всей земле вокруг, по которой только что отгрохотал валом катящийся вперед фронт, установилась мягкая, ровная тишина и прохлада вечера. Только шумела вода недалеко справа, в проломе подорванной плотины. Но главная вода, должно быть, уже сошла, и теперь в шуме ее было что-то дремотно-мягкое, успокоительное.

Лицо девушки, бледное, с матово-золотистыми песчинками веснушек, светлыми, будто зеленоватыми от глаз ресницами и неяркими губами, было не то чтобы знакомо мне как лицо, но знакомо по общему своему тону и выражению.

– Си-жу, – сказала она протяжно и как бы вызывающе, но, впрочем, вполне дружелюбно по отношению к собеседнику. – Сижу. Раненых охраняю. – Похоже было, что молоденькая, маленькая девушка привычно предполагает во взрослом человеке снисходительную

насмешливость к ней с ее полуавтоматом и гранатой-лимонкой, привязанной бечевкой к поясу. – А как же! Здесь наши раненые партизаны лежат. – Она кивнула на дверь, что была за нами, не оборачиваясь, а лишь вскинув головой и не выпуская из рук ремня винтовки.

Я не торопился уходить, отдыхая от дороги, от своих неудачных поисков и даже от мысли: где же я все-таки буду ночевать? И, может быть, связывая неуловимую, но чем-то приятную знакомость обличья девушки, ее протяжную, хотя вроде как не чисто русскую речь со всей скромностью и очень приветливой красой этого края, со светло-зеленой рожью, с говором женщин в освобожденных деревнях и с какими-то своими отдаленными воспоминаниями, я спросил ее, местная ли она.

– Белорусская? – переспросила и улыбнулась она. – А што? Што я на гетай мове говору? Нет, товарищ начальник. Это оттого, что я здесь два года, меж белорусов да с белорусами. Вот и все. Я заброшенная, – добавила она, помолчав, и вздохнула, как будто слово это означало именно покинутость ее, а не просто способ, каким она очутилась здесь, в недавнем глубоком тылу немцев.

В это время послышался слабый такой звук, как будто внутри помещения швырнули мячом в стену. Я бы не обратил внимания, но девушка сразу прислушалась и, с добродушной досадой покачав головой, сказала:

– Надо идти.

Она наклонилась, опустив винтовку к плечу, и обеими руками снизу вверх провела ниже колена по ноге, аккуратно и экономно перевязанной узким бинтом. Она была ранена и ступала этой ногой нетвердо.

Я решил посмотреть ее партизанский госпиталь. В коридоре и пустой проходной комнате было навалено сено, закиданное обрывками бумаг, какой-то разноцветной рванью, тряпьем, окурками. Сено было прошлогоднее, откуда-нибудь с чердака, и пахло не сеном, а смешанным стылым запахом, какой остается надолго в стенах любого помещения после немецких солдат.

В следующей комнате, кое-как прибранной, в углах, противоположных по диагонали, лежали двое раненых. Здесь было скучно, и меня сразу охватило то напряженное и неловкое чувство, которое приходит, когда осматриваешь такие места: стараешься удержаться от излишнего выражения участливости и в то же время хочешь, чтобы не очень заметны были твое здоровье, завидная свобода тела, не отягченного страданием.

Лежащий лицом к двери больной с повязкой на голове вежливо отозвался на приветствие и даже захотел привстать на постели, запахивая землисто-бледной рукой ворот нижней рубашки. Другой, остававшийся слева, когда я оглянулся на него, поспешно заговорил, указывая на своего товарища со злобой и торжеством:

– Вот он, пожалуйста! Я его знаю. Я его даже очень, слишком хорошо знаю, предателя. – Он вскинулся, быстро перебрав обеими руками вокруг, точно ища чего-то.

Он лежал в застиранной, совсем потерявшей цвет армейской гимнастерке с отложным воротничком, какие еще носили у нас в первый период войны.

– Убью! – шепотом сказал он, истратив все силы в первом порыве.

Я снова взглянул на того, к кому обращались эти угрозы. На лице раненого была улыбка, как бы призывающая не относиться всерьез к словам товарища, но были и страх и желание упредить неправильное заключение нового человека, объяснить что-то.

– Вот весь день так, – сказал он, не жалуясь, а скорее смягчая резкость выпада своего соседа.

Девушка в это время подняла на полу возле его койки солдатский ремень, берестовый портсигар, кружку из консервной банки, еще что-то, разбросанное, как будто здесь играли дети.

– Перестань, Прохоров, лежи смирно. Последний раз говорю.

– Костя! Дай мне винтовку. Я с ним лежать не буду, я его все равно чем-нибудь…

Я не понял, кто же здесь Костя, и подумал, что больной немножко бредит.

Мы вышли из нежилой, насыщенной пылью старого сена духоты на крыльцо.

Я спросил у девушки, что такое происходит между ее больными.

– Видите, я Прохорова знаю, а того почти не знаю. Может, он, правда, сперва был полицаем, а потом в отряд пришел, а может, он и в полицаях был по заданию. Этого я знать не могу, это все разберется. А раненый есть раненый.

Это был уголок того особого мира, о котором до нынешнего летнего наступления я знал только понаслышке да по описаниям, которые в большинстве делались понаслышке же. И мне все было дорого, что могла рассказать моя новая знакомая.

– Теперешнее мое ранение пустяковое, – начала она своим нарочито протяжным и будто усталым голосом. – А в правой ноге у меня осколок с прошлого года. В лесу было труднее заживлять рану. И вообще было трудное положение. А мы *их* до того довели, что *они* стали бросать против нас фронтовые части. А это, знаете, совсем другое дело, чем тыловые да всякие «белошивцы», полицейские. Они нас окружили, огромную территорию окружили, пустили в ход артиллерию и технику. Пошли цепью, прочесом по болотам, по лесам, ничего не пропуская. Тогда я была ранена в этих боях. Рана была тяжелая, но хуже всего, что я долго на снегу пролежала. Сколько я на снегу пролежала – можно умереть без всякого ранения.

Она неожиданно усмехнулась и как будто поежилась. От реки, снизу, шла вечерняя свежесть, хотя деревянные ступеньки крыльца еще были теплые на ощупь. В этой свежести, за которой уже начинается ночь, множество запахов раннеиюльской поры – красного и белого клевера, рябинника, медуницы, просто сена и ржи, пахнущей сеном и хлебом, – почти перебивало остывающий дух городских пожарищ за рекой, железной гари и тяжелый, всегда отдельный среди всех запахов запах трупов. Я слушал девушку, и все то, что она говорила о глухой зиме сорок третьего года, о своем первом ранении, представлялось давним, далеким, таким, каким здесь, в Западной Белоруссии, казалась зима подмосковной обороны или только что минувшая зима жестоких боев на линии Витебск – Орша. Я слушал и все отодвигал мысль о том, где мне сегодня ночевать.

– На войну я попала обманным путем. Я жила в Туле, училась. Мы с подругой для мамы подделали повестку, будто бы повестка из военкомата. А мама поверила, хотя слез было много. Первое время я была санитаркой, а потом мы с подругой расстались: я запросилась в спецшколу – захотела к партизанам. А то на фронте и убьют – не увидишь, кто в тебя стрелял…

И она опять засмеялась, словно желая отстранить всякое предположение об особых, высоких мотивах ее желания попасть к партизанам и свести все к причуде.

– Вы ничего не слышите?

Я прислушался, стараясь отвлечься от шума воды.

– Да, стреляют. Только это не фронт. Фронт вот где, – указал я по дневной памяти, – и слишком далеко, пулемет не услышишь.

– Ихний станкач бьет, – спокойно определила она. – Прорываются где-нибудь. Я не знаю, что теперь им, немцам, делать, которые в лесах остались. Мы в лесу были дома – и то тяжело. Я, конечно, имела специальность. Я в боях была, только когда они на нас шли. А так – я подрывник. У меня счет – шесть эшелонов. А как же, – протянула она опять в нарочито горделивом тоне, хотя и без всякой видимой заботы о том, верю я ей или не верю. – Я по установке рапиды. Что такое рапида? Она – вот такая, – показала мне девушка в темноте приблизительно размеры полевого телефона.

За шумом воды на подорванной плотине, все отчетливее различая стрельбу в тылу, мы услыхали вскоре новый, приближающийся от фронта звук.

– Костя! – послышался из окна знакомый и раздраженно-беспокойный голос. – Чего он там летает?

– Ну, летает, а тебе что? Лежи, не шуми, – громко и строго сказала девушка.

И, оборотясь ко мне, как бы отозвалась на мой подразумевавшийся вопрос:

– Костя? А это мое партизанское прозвище. Смешное? А я привыкла. Я под этим именем и в сводке Информбюро выступала. – И, прислушиваясь, поспешила объяснить беспокойство Прохорова: – Знаете, наши ребята ничего не боятся, но самолетов не любят. Я сама скажу – боюсь до смерти. – Звук самолета стал отдаляться, и она заговорила с оживлением и даже веселостью: – Меня один вокруг колодца гонял. Днем. С одной стороны сухо, колодец на скате, а с другой – лужа, грязь. Как мне с той стороны ложиться, так в грязь. Вывалялась вся, как чучело. И не могу догадаться платок спрятать, платок на мне красный. Ну, так вот… Рапида устанавливается так, чтобы произошло соединение, когда колесо паровоза в данной точке соприкасается с рельсом. Это дело несложное, но при установке нужна большая аккуратность и большое, – с наставительной серьезностью девочки-ученицы подчеркнула она, – большое присутствие духа. Да. Потому что такой участок дороги всегда охраняется. Тут и обход регулярный, и вышки с пулеметами, и гарнизоны, – вы видели, каких они тут крепостей понастроили, сколько одной проволоки накручено. А второе – что на полотне человек очень заметен, издалека даже. Я, первый раз когда влезла на полотно, думала, что я три часа там возилась, а это всего полторы минуты… Что это он? Опять?

Мы вместе прислушались. Самолет шел обратно на той же высоте, даже как будто ниже.

– Транспортный. – Она легонько тронула меня за руку. – Слушаем, слушаем, а это же транспортный. Это он своих окруженцев ищет. Почему только он их здесь ищет? Хотя здесь лесок порядочный!

– Страшно? – спросил я, чтобы обратить ее к рассказу.

– Да, нехорошо, конечно, если они здесь так близко. Главное, они оба лежачие, – она кивнула на дверь. – А вы про другое говорите – страшно? Я расскажу. Я расскажу, как первый раз была на задании.

Я очень хотел слушать, но меня отвлекал еще один запах, кроме запахов разных цветов и гари, запах знакомый и даже приятный, но как-то не идущий к окружающей нас обстановке.

– Запах? – Она подняла свое бледное личико, на котором теперь не видны были песчинки веснушек. – Это хлебом пахнет.

– Нет, хлебом, рожью – это отдельно, а вот еще чем-то.

– Я вам говорю: хлебом пахнет, а не рожью.

– Да, пожалуй, верно, горелым хлебом.

– Не горелым, а печеным хлебом. – Она усмехнулась: – Это вы в лесу без хлеба не сидели, а то бы не путали… Тут, наверно, недалеко походная хлебопекарня. Да слушайте вы, – с каким-то даже испугом она наклонилась ко мне, – вы просто есть хотите. А я тут болтаю. Это мы сейчас организуем.

Я поспешно отказался, очень довольный тем соображением, что неподалеку должна быть полевая хлебопекарня. Это как-никак воинская часть, а следовательно, мне уже нечего было задумываться о ночлеге и прочем.

– Было это зимой, в сорок третьем году, – продолжала девушка. – Мы тогда находились в распоряжении «Истребителя», но где этот «Истребитель» находится, я не знала, конечно. Мы получили задание от нашего командира. Со мной шли двое хлопцев. Они выпили, потому что очень волновались, а я – ничего. Если я иду на смерть, значит на смерть, – зачем же заранее изнуряться? – Это было сказано с той же беззаботностью относительно моего доверия или недоверия. – Страшнее всего знаете что? Ждать взрыва. Страшно, что вот он сейчас ухнет над

тобой, и страшно, что никакого взрыва не будет. А мы уползать далеко не могли, мы должны дождаться взрыва и, как положено, обстрелять подорвавшийся эшелон зажигательными, добавить паники. Но еще страшнее, что взрыва не будет, что что-нибудь не так. А пока его нет, как бы там все аккуратно ни было сделано, все равно как бы ничего еще не сделано. Словом, такое состояние, что лежишь и рубишь зубами – ждешь. А когда по звуку от земли слышишь, что поезд идет и рельсы еще за два километра начнут пощелкивать, так это все равно как на тебя бомба идет, и по звуку ждешь – вот сейчас, вот сейчас… Ну-ну!.. Дайте мне папироску, если еще есть. Я отнесу Прохорову, он спокойнее будет.

Я дал несколько папирос для раненых. Она наклонилась к спичке, держа папиросу в вытянутых с детской старательностью и еще более побелевших губах, и я опять увидел ее веснушки и слабо очерченные, светлые брови. Она легко поднялась, и, легонько опираясь на винтовку, ушла с прикуренной папиросой, и быстро воротилась.

– Ну вот. Слушайте. Как мы смотрели на всякий эшелон, что шел в ту сторону, к вам, к фронту! Мы имели радио, почти все сводки слушали, знали, что там делается, под Вязьмой или где. И вот, глядишь, несется туда составище – танки, пушки, ящики с боеприпасами, бомбы одна к одной, в сквозных футлярах. А ты глядишь и считаешь. Да если бы польза самому поперек рельсов броситься – с радостью! И это не то что я такая сознательная, а всякий наш человек так только мог думать, и вы сами так бы думали и так переживали.

Она достала откуда-то из рукава курточки платочек – как-то странно и трогательно было видеть это – и, заслонясь рукой, вытерла глаза, стараясь заслониться и этим жестом, и своей беззащитной улыбкой из-под руки.

– Да. Эти двое хлопцев, что со мной были, они действительно волновались, а одного, по кличке Олег, кашель разобрал. Не может остановить кашель. Тогда я велела этому вот, Прохорову, – кивнула она на дверь, – полушубок расстегнуть и чтоб Олег ему в за пазуху кашлял. Но все равно мне кажется, что слышно за версту – бьет, как из бочки. И они просят: «Разреши нам еще из фляги потянуть», – как дети, право. А я – нет и нет. «Нет, вы лучше после выпьете». И это все шепотом. А тут поезд – слава тебе господи, как по расписанию! А то уже минут десять оставалось до очередного обхода охраны. Н-ну!

Она глубоко вздохнула и выдохнула воздух. Воспоминания эти, по-видимому, были ей самой в новинку. Она как будто вернулась в свою Тулу, стала опять девчонкой, дочкой своей мамы, и рассказывает о том чудесном и страшном, что она испытала за эти два с лишним года в далеком партизанском краю, уже сама немало дивясь тому, что ей пришлось испытывать.

– Взрыв был такой, что, правду сказать, я думала, что ни земли, ни неба не осталось на свете. Это и был первый мой эшелон и, может, самый серьезный из всех шести эшелонов. Двадцать восемь «пульманов», как один, к черту, и дорога на сутки из строя вон! Об этом и в сводке Информбюро сообщали. Ну, ладно. А что было потом, после взрыва! Конечно, если б мы не были в мертвом пространстве, под насыпью, где взрывная волна прошла над нами, то нас бы сдуло, как пыль, хотя бы мы находились за тысячу метров. На хуторе, где нас ждали сани, обе двери – входную с улицы и ту, что во двор, – снесло с петель… Дали мы, правду сказать, не глядя куда, несколько очередей по всей этой громозде на насыпи и под насыпью – и бежать. Хлопцы меня подхватили за рукава. Я и ноги не успевала переставлять – волокут. Но уже слышим – с наблюдательной вышки ударил пулемет, а вся эта луговина у них пристреляна. Соображаем, что напрямик нам не добежать до хутора, – уже пули стали посвистывать близко. Мы – к речке и бежать по речке, по льду. Речка петляет, это нам куда дальше, но зато мы как в траншее – за берегами, за кустами нас не видно… Правда, бежать еще труднее, чем по полю: где лед, а где снегом перемело так, что по грудь, а где вода под снегом. Добежали. Плюхнулась я в сани, только могла сказать, что, мол, хлопцы, погоняйте. Привалили они меня шубами, сами

сверху – и по тройке… Н-ну?! – Она опять вскинула голову с небогатой гривкой русых прямых волос, и я, уже присмотревшись к ее лицу в темноте, увидел, что на нем словно бы заиграла краска, а в голосе слышалась взволнованность как бы вновь переживаемого счастья первой боевой удачи в самом ее разгаре. – Н-ну!.. Кони застоялись, намерзлись, с места взяли – только вожжи держи. Случись что-нибудь – завертка раскрутись или попадись что-нибудь на дороге, – дух вон и нам и коням. Знаете, сани не всё по дороге, а моментом от дороги полозья отрываются и опять об дорогу – тых-тых-тых! Летим. Один вожжи держит – Прохоров. Олег его обхватил за пояс, за него держится. Лежу – слышу, кричат чего-то. Просунулась из-под шубы – поют, поют, и не разберешь что: «Эй, гей, гей! Дай!» Одним словом, мчится тройка удалая. Я за руку одного ухватила, дергаю: «Не сходите с ума». Правда, перестали, но езда все та же. Рвем, рвем! Вся задача – подальше угнать, пока по свежему следу не бросились. А когда едешь один в поле зимней ночью, это всегда так – чудится, что и еще кто-то едет впереди либо сзади, и треск такой же идет от саней, и кони храпят. И нам, понятно, казалось, что за нами гонятся, – вся окрестность гремит и стонет. Давай, го-ни! Н-ну!..

Восемнадцать километров так! Теперь можете вы это представить: ночь, снег, лес поваленный и неубранный по сторонам дороги – это немцы так вырубали. Ночь, снег, иней, глушь невозможная, ни огонька в деревнях, ничего, тыща верст от фронта, вражий тыл, и вот мчится наша тройка удалая, а позади – я раза два поглядела, – позади, над лесом, над таким белым лесом, – он аж синий, – над лесом уже зарево, зарево…

Я хорошо представлял себе эту зимнюю картину, хотя был глубокий летний вечер с дымными звездами – предвестием жары – и этим успокоительным, все более затихавшим бормотанием воды в проломе плотины.

– Потом я точно сознание потеряла от всех этих переживаний или укачалась, угрелась, может, даже задремала, а только слышу – мы стоим и меня зовут: «Костя, Костя, вылезай, Костя…» Вижу, кони не выпряжены, стоят во дворе, и коровником пахнет, а за стеной бу-бу-бу – говор густой мужской, разный. Меня позвали-позвали и ушли. Там двери хлопают, слышится даже, что печка топится, жарится что-нибудь, а мне неохота-неохота из саней вылезать: угрелась, лежу. Потом вышел кто-то: «Ах, вот где она! Где ты тут?» Раскопал шубу, взял меня за плечи, приподнял и, знаете, ка-ак меня поцелует. Пра-авда!

Она засмеялась, но как-то неуверенно, и опустила голову, вытягивая и словно поглаживая ремень винтовки.

– Ну и что же?

– Ну и все. Все уже рассказала вам, что надо и что не надо. Первый раз, когда идешь на задание, то, конечно, все это переживаешь, запоминаешь. Потом легче. Сколько уже? – Она поднесла левую руку к глазам, подсунув этим движением рукав своей курточки к локтю. – Дело к часу.

– Кто же это был, если можно спросить?

– Кто? А кто же его знает, – протянула она с нарочитой своей интонацией. – Правда, поцеловал, положил обратно, – она так и сказала: «Положил обратно», – накрыл шубой и вернулся в избу. А я лежу, думаю: кто ж бы это такой был? Я догадалась, что мы приехали в штаб «Истребителя», но я там никого не знала. Подумать, что Олег или этот, Прохоров, – нет. Во-первых, от них бы самогоном пахло, а во-вторых, я бы не позволила. То есть я бы и этому не позволила, но он это сам и так внезапно, что я даже предположить ничего не могла. Приподнял за плечи, наклонился, смотрит в лицо, близко так посмотрел, – глаза добрые, даже задумчивые немного, – поцеловал – и все. И еще то, – голос девушки, как мне показалось, дрогнул и замедлился, – и еще то: никакой грубости он не позволил, ничего такого. А ведь я тогда была совсем еще девчонка, девятнадцать неполных. То есть, как вам это сказать, – она опять

осторожно достала свой платочек, – я была не среди чужих людей, люди были все свои, но ведь меня все это время никто и по имени не знал, всё «Костя, Костя», а какой же я Костя? Пустяки в общем. Не знаю я, куда мне вас девать, вы же очень устали. С больными положить – вы сами не захотите, а еще негде.

Я сказал, что отлично устроюсь у хлебопеков.

– Ладно, идите. – Она поднялась вместе со мной. – Я с вами попрощаюсь, только зайду погляжу на ребят.

И, чуть-чуть волоча ногу, опять прошла в дверь своего госпиталя. Я подождал ее на дороге, под слабой тенью тополевой аллейки. Она вскоре вышла.

– Вы знаете, этот Прохоров, он ранен был еще в первый день войны, в Бресте. И в плену был. И бежал раненый. И в партизанах был много раз ранен. Конечно, ему обидно лежать с тем, кто, может, позже начал воевать. Но он, знаете, какой, он душу отдаст. Он меня подобрал, когда я в первый раз была ранена. Он, знаете, – она торопилась сказать все самое лучшее об этом человеке, – он *кадровый*…

Стали прощаться, и я еще раз решился спросить у нее, неужели она так и не узнала, кто ее поцеловал, когда лежала в санях. Она вздохнула и тихо, с грустной насмешливостью к своей будто бы проявленной слабости сказала:

– Я, конечно, тогда вскоре вылезла из саней и пошла в хату. Почему пошла – думайте как хотите. Пошла. Захожу – сидят разные люди, кто закусывает, кто курит, и самогонка на столе, но особого шуму нет. За столом сидит один, видимо прибывший «сверху», как говорят, сидит в гимнастерке без знаков различия, но с депутатским значком Белорусского Верховного Совета. Я это все рассмотрела потом подробно. Сидит, курит, записывает что-то в блокнот. А напротив него молодой парень, даже сказать – красавец, но с одной рукой. Это был знаменитый человек, его все очень уважали, я только не могу вам теперь сказать его фамилию. Но я же хорошо помню, что приподняли меня за плечи двумя руками. А подумать на депутата – нет. Не то чтоб уже так стар, но, знаете, солидный уже, – не то. Нет. Я всех там смотрела, засмеется кто-нибудь – на зубы гляжу, точно по зубам хочу угадать. И потом должен был этот, кто выходил к саням, посмотреть на меня как-нибудь, я так понимаю. Но меня встретили все хорошо, даже приподнялись, потеснились, усадили и стали угощать как героиню дня, что ли, но никто не сказался… Ну, все-таки до свидания…

Больше мы не видались. Я переночевал в полевой хлебопекарне, где меня угощали чудесным хлебным квасом, и утром в кабине «студебеккера», груженного хлебом, поехал опять по дороге к фронту. Опять пошла рожь, местами потоптанная, местами хваченная огнем разрывов, рожь бледно-зеленая, но все более светлая по песчаным взгорьям.

1944–1946

На хуторе в Тюре-фиорде

Не помню, что я такое прочел в детстве о Норвегии, но с давних лет своеобразное очарование этой страны оживало в душе всякий раз, когда случалось что-нибудь читать или слышать о ней. И всегда она почему-то представлялась воображению либо зимней, обдуваемой снежными бурями в горах, либо осенней, в дымке мягкого, бессолнечного дня или под мелким серым дождем. А увидеть Норвегию воочию, с ее лесами, горами, фиордами и озерами, – хотя и в небольшой части, и на короткое время, – мне случилось ранней весной, всю в молодой, набирающей силу зелени, в свете майского солнца.

На другой день по прибытии нашей маленькой делегации в Осло один из наших норвежских друзей предложил нам поехать в Тюре-фиорд посмотреть норвежскую деревню. Мы уже успели посмотреть норвежскую деревню, расположенную на территории Народного музея в Осло: десятки изб из овально окантованных, в метр толщиной, черных от времени, точно вываренных в

смоле бревен; с лестничками на чердак или второй этаж, вырубленными в цельной колоде; с кровлями из дерна, густо прошитого молодой травкой, должно быть, поливаемой музейной прислугой. Эту деревню свезли сюда из разных районов страны, и представлены здесь постройки не моложе века, в том числе деревянная церковь, примечательная своей вертикальной, а не горизонтальной, как, например, у нас в деревянном зодчестве, вырубкой. Жилые строения обставлены амбарами на высоких, причудливо обтесанных столбах с утолщениями кверху – чтобы не взобраться грызунам, – разными сарайчиками, навесами и обтянуты деревянными изгородями из черных же, натуральных жердей. В стране с трехмиллионным населением, принимающей до шестисот тысяч туристов ежегодно, не удивительна такая забота об иностранных гостях. Норвегию всех веков и всех районов, от севера до юга, нужно представить им компактно, в удобообозреваемом расположении, переписанной в каталогах, справочниках и запечатленной на фотографиях в альбомах, которые можно приобрести тут же, возле этих старинных изб с очагами без дымоходов.

В этой деревне, как почти во всяком музее, было скучновато, уставали ноги, и хотелось, чтоб всех этих построек было поменьше. Может быть, увидев какую-нибудь одну из этих изб где-нибудь на месте, в горах, стоял бы час и другой как зачарованный, рассматривая ее всю, бревнышко за бревнышком, а здесь что-то было не то: попадались на глаза знаки разметки бревен по номерам, что делают при перевозке, раздражала искусственная зелень дерновых крыш, похожих на газоны. Помехой натуральности впечатления было уже одно то, что избы стояли по необходимости тесно, именно как в деревне, тогда как известно, что в Норвегии деревень в нашем смысле нет – одинокие хутора или маленькие группы хуторских усадеб, трех-, пятидворки в отдалении от других хуторов…

И вот мы едем. Профессор В. Н. Столетов, директор Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, искусствовед Н. И. Соколова и я – на заднем сиденье, а впереди, рядом с шофером машины советского посольства, – норвежский художник, предложивший нам эту поездку в Тюре-фиорд. Там, сказал он, живет его родственник – не то свояк, не то шурин.

Едем мы по узкой горной дороге, выдолбленной в каменистых откосах скал, над глубокими, темными расселинами с шумящими на дне их весенними потоками. Слева у нас почти все время в виду синий фиорд, похожий на широкую недвижную реку; он только изредка скрывается за каким-нибудь поворотом или темной стеной туннеля. Слева и справа впереди под облаками белые поля – снежные вершины гор. Это – Норвегия.

Но нестарые еловые леса по горам, белоствольные березки, одетые нежной и трепетной неполной зеленью, рябинки с матово-серебристыми, только-только распускающимися листочками, ветлы с золотистыми шишечками их предшествующего листве цветения, молодая игольчатая травка на угретых солнцем местинках – все это такое знакомое, самое что ни на есть среднерусское, подмосковное, только вчера оставленное на родине. И хотя всегда, когда расстаешься с привычным представлением о местах, которых прежде не видел, бывает ощущение какой-то потери; эта потеря вознаграждалась тут трогательной и приветливой знакомостью в облике страны, которую знал лишь по книгам и еще вчера представлял себе совсем иной.

Еще вчера… Но воздушная трасса Внуково – Ленинград – Хельсинки – Стокгольм, ночная дорога в поезде Стокгольм – Осло, заботы и хлопоты первых часов на новом месте, новизна и обилие впечатлений уже очень отдалили это вчера, – казалось, уже прошло невесть сколько времени.

Живя на даче во Внукове, забываешь, что, в сущности, живешь на берегу бескрайнего воздушного океана, в мировой гавани, откуда ежедневно отправляются скоростные пассажирские корабли в ближние и дальние рейсы, конечные пункты которых разбросаны по всему свету.

Всего лишь за три дня до того, как отправиться в Тюре-фиорд, ранним утром 2 мая, мы поднялись на самолете с площадки Внуковского аэропорта. Это было праздничное утро, которому предшествовал праздничный день, прихвативший и добрую половину ночи: внизу, на земле, было малолюдно, длился отдых рабочего и служащего человека в отрадном предчувствии еще целого праздничного дня впереди. Видно было, что и пригородные поезда, и платформы станций еще пустуют по-праздничному. Только по берегам темной вихлястой речушки, перекрытой узкими, как дощечки, мостиками, можно было заметить фигурки рыболовов, да какой-то любитель своих садово-огородных затей по праздничному делу копался в реденьких светло-зеленых кустиках возле желтого домика стандартной конструкции. Все еще спало, все отдыхало на нашей родной, освещенной добрым утренним солнцем, нежно зеленеющей земле. Местами на ней были видны ломаные линии полуобвалившихся окопов минувшей войны, темные от стоящей в них воды воронки, подобные тем круглым, с выпуклыми краями впадинам на теле Луны, которые называют кратерами.

Праздничное безлюдье на утренней земле торжественно подчеркивали и как бы поясняли большие и малые флаги, свисавшие на фасадах станций, школ, сельских клубов и просто жилых домов, – флаги, украшавшие вчерашний день и с полным правом осенявшие нынешний, что еще весь, до ночи, был в запасе у наших соотечественников, родных и близких, друзей и знакомых. Еще им предстояло неторопливо, по доброму, сложившемуся порядку советских годовых праздников, вступить в этот день: отправиться за город или в веселую толчею парка, принять гостей у себя или отправиться в гости, погулять, послушать музыку и самим попеть в охоту, позасидеться, попровожаться под вечер – и все с таким освобождающим чувством полной законности, чуть ли даже не обязательности всех этих милых праздничных дел.

Настроение незавершенного праздника, от которого мы должны были оторваться через какие-нибудь два-три часа полета, простившись на время с родной землей, – это задумчивое и грустное настроение охватило всех нас понемногу. Даже самая короткая разлука с тобой, родная земля, заставляет в полной мере почувствовать, с чем расстаешься и что теряешь на этот короткий срок!

За Ленинградом пошли знакомые еще с финской войны очертания побережья Карельского перешейка, но вскоре замглились – сказывалось влияние моря; самолет набирал высоту, и вот уже внизу бесшумно заворошилось дымное, седое сено облаков, скрывающих землю. Когда она кончилась, своя земля, и ее сменила чужая, мы не заметили, не ощутили, находясь на борту своей, советской машины. Но вот в Хельсинках пришлось пересесть в самолет шведской компании с экипажем, не знающим ни слова по-русски, и все стало по-другому, кончился ранний праздничный полдень Родины, уступив место будничному полудню заграницы.

Когда самолет приземлился в Стокгольме, показалось удивительным, как он мог это сделать: кругом вблизи выступали приземистые гранитные, скупо поросшие елочками взгорья, гребни, откосы. Аэродром представлялся расположенным в скалах, и как будто все убранные с расчищенного места каменистые груды громоздились неподалеку, стесняя площадку.

И город, который мы бегло осмотрели до отхода ночного поезда на Осло, показался нам врубившимся в скалы, которые то высовываются где-нибудь в глубине обнесенного тяжелой гранитной оградой садика, то подпирают собою тесно сдвинувшиеся опрятные серые здания, выглядевшие от этого более многоэтажными, чем на самом деле, то загораживают конец какого-нибудь переулка, образуя тупик. Улицы лежат как бы в разных горизонтах: одна – пониже, другая – террасой выше, а третья пересекает их на высоте трехэтажного дома, и поток транспорта и пешеходов движется над вашей головой по каменному виадуку. На главной улице под колесами машин гремят и хлопают доски временного настила над каменистым котлованом – строится метрополитен. Строительство это выглядит по своему размаху игрушечным, но

торосистые пласты скал, в которые врубаются проходчики, свидетельствуют о суровом трудовом упорстве людей, строящих эту первую в стране подземную железную дорогу, о терпении и созидательной энергии людей, чьи ближние и дальние предки камень за камнем воздвигли этот красивый, благоустроенный город в скалах.

Движение транспорта по левой стороне, вопреки порядку, принятому в большинстве стран мира, на первых порах очень смущает и затрудняет, когда идешь пешком: не в ту сторону смотришь, переходя улицу; и когда едешь на машине, то и дело охватывает ощущение неминуемой аварии.

Дующий с моря неласковый, сырой ветер прорывался в улицы, обволакивал какой-то суровой, неприветливой мглой громоздкие каменные стены королевского дворца, окаймленного глубоководными заливами. Жирные, разъевшиеся на городских отбросах чайки тяжело кувыркались перед окнами угрюмого дворца, где живет, говорят, сейчас только шестидесятивосьмилетний кронпринц – девяностотрехлетний король отдыхает где-то во Франции.

Прогуливаясь, мы обошли дворец с тыльной стороны и попали в ворота просторного круглого двора, вымощенного крупным булыжником и заставленного старинными пушками, ровесницами, по крайней мере, тех, что Карл XII оставил у нас под Полтавой.

Был час развода дворцового караула. Эта церемония заняла несколько минут и представила для нас не лишенное занятности зрелище. По команде державшего руки за спиной офицера с брюшком, свисающим через ремень, около взвода немолодых, тяжеловатых мужчин в современной шведской военной форме с необычной, истовой напряженностью исполняли несколько причудливых артикулов с ружьями и строго рассчитанных переходов с места на место. Потом половина солдат, размахивая ружьями с примкнутыми штыками в правой руке, строем направилась в сторону дворцовых входов, а другая вдруг бегом, в беспорядке, бросилась в противоположном направлении, к низким, угрюмым помещениям внутри двора, должно быть казармам. А эхо короткой заунывной команды, казалось, еще громыхало, перекатывалось в огражденном старинными каменными стенами дворе. Говорят, что эта церемония в особо торжественные дни проводится в старинном воинском снаряжении, чуть ли не в железных шлемах и панцирях, и ружья тогда заменяются тяжеленными алебардами. И говорят, что стоимость этих, поистине невинных забав, содержание дворцовой стражи и многочисленной королевской челяди составляет серьезную сумму расходов в бюджете такой маленькой страны, как Швеция.

Вечер второго дня майских праздников застал нас в поезде, который к утру должен был прибыть в Осло. Оставалось залечь спать, и спать крепким доверчивым к чужестранной подушке сном, без особой тревоги от обычной в путешествии мысли, что вот спишь, проезжая места, которых никогда не видел и скорее всего никогда уже не увидишь в жизни…

За окном в утреннем свете проходили леса, вспаханные делянки полей, станционные домики, миниатюрные, в одну улицу, городишки, примыкавшие к станциям и носившие названия станций, городишки, где главным зданием в ряду маленьких, тесно прижимающихся друг к другу, опрятных домиков всегда выступает аптека.

Все чаще и чаще стали поблескивать небольшие лесные озера и под колесами коротко погрохатывать мосты над озерными протоками или речками. Это была Норвегия, та самая, которую мы сегодня видели уже не из окна вагона, а из автомашины.

Но все знакомое в обличье страны – ельники вперемежку с белоствольными березками, зеленеющие подлески из осинника, рябинок, изредка липок, – все это, казалось бы внушавшее ощущение недальности родной земли, как раз почему-то внушало противоположное ощущение.

Я вспомнил свою прошлогоднюю поездку в Забайкалье и на Дальний Восток – расстояние

от Москвы раз в десять дальше, чем до Норвегии. Но отсюда Москва, Чита, Хабаровск и Комсомольск уже не представлялись такими удаленными друг от друга – они все были там вместе и все одинаково далеки, страшно далеки от нас, заехавших, казалось бы, не бог весть в какие заграницы.

…Проехав километров шестьдесят, мы спустились к фиорду. Это и был Тюре-фиорд с маленьким островком посредине, на котором располагался отель, один из множества подобных отелей в стране, где значительная часть населения разного достатка живет на заработок от иностранных туристов. Дорога свернула на дамбу, которая связывала островок с нашим и противоположным берегом.

Художник прошел в ресторан отеля, чтобы заказать на нашу компанию обед к тому часу, когда мы будем ехать обратно с хутора, что был уже невдалеке отсюда. Грешным делом, нам показалось несколько странным, что человек, отправляясь в гости к родственнику, заказывает обед в ресторане, но у каждой страны свои обычаи, свои понятия гостеприимства. К тому же мы не знали, в каком достатке живет родственник художника.

Вода фиорда подходила к самому фундаменту отеля, построенного на манер старинного замка, с цокольным этажом из могучих, необтесанных гранитных глыб. Задний дворик был выстлан плитками природного шифера до самой воды. Из таких же плит были сооружены столики и скамьи возле них. По кромке берега росли высаженные здесь ирисы. Как везде, где нам пришлось побывать, в этой опрятной, трудолюбивой стране, озабоченной удовлетворением вкусов праздных приезжих, здесь во всем обнаруживалось стремление сочетать экзотическую, суровую дикость природы с удобствами и комфортом современного города. Суровую дикость скал над узким ущельем, наполненным морской синей водой, можно было созерцать, сидя в шезлонге на солнышке или под тентом в этом дворике, а в случае непогоды – из окна ресторана или сверху из уютной глубины жилых комнат отеля.

Когда машина выехала с дамбы на берег фиорда, вскоре справа от дороги загрохотала белая от пены горная речка, впадающая в фиорд. Она несла весенние воды с гор, где весна еще была в периоде таяния снегов, и со страшной силой билась в берега, в бетонные дамбы, защищавшие их на иных поворотах, обрушивалась на волнорезы с гребнем из рельсовых балок. По реке шел лесосплав, какой называется у нас молевым: бревна неслись не связанными в плоты, а врозь, врассыпную, «молью». Их било, вертело, ставило на попа, сталкивало одно с другим, притирало к глыбистым каменным берегам, швыряло так и сяк, – казалось, до места назначения могут дойти одни щепки да переломанные, избитые, измочаленные чурки вместо этих гладких, окоренных в лесу, золотистых сосновых и еловых бревен. Однако наш спутник разъяснил, что бревна отлично доходят этой своей дорогой до места и там по отметке, которую ставит лесоруб на каждом бревне особым инструментом, их разбирают, подсчитывают и определяют выработку того или иного рабочего.

Река ревела, пела, шумела весенним шумом, в нее сбегали по-весеннему поющие мелкие ручьи и потоки с гор, и вся эта музыка так живо напомнила мне такую далекую от Москвы, а отсюда далекую одинаково с Москвой бурную Ингоду в Забайкалье, которую я видел золотой осенью прошлого года. Было солнечно и свежо, мы с товарищем, уроженцем тех мест, сидели на берегу Ингоды, прибивавшей к противоположному, правому, скалистому берегу свои невысокие, но сильные, светлые воды, и, закрыв глаза, можно было по звукам журчанья, курлыканья и шума воды представить себе весну, которой я никогда не видел на этой реке. Это особенность горных рек: их многоголосость от ледохода до ледостава несет в себе влекущее и трогательное весеннее звучание. И как за музыкой музыку я вспомнил теперь, по дороге к норвежскому хутору, что тогда, у Ингоды, под ее пение, я вспоминал гулкие в ущельях и раскатистые в долинах, обжигающе холодные реки далекой южной страны Албании, где побывал за год перед тем, в

августе – месяце жестоких боев в соседней Греции, в районе горы Граммос. Там, на берегу одной из рек, берущих начало в Греции, о которых албанцы говорили, что их воды окрашены человеческой кровью, я слышал на расстоянии десяти-двенадцати километров грохот боев – горькое и гнетущее напоминание отгремевшей войны…

И еще подумалось: где бы ты ни побывал, какие бы страны и земли ни повидал – разве что за исключением тропических, – везде ты отметишь, что все это мог бы повидать и у себя на родине: так она велика, разнообразна и богата всем тем, чем может быть прекрасна земля на радость человеку.

Бесшумно прошел под колесами машины старинный, монолитный, точно вырубленный в скале, мост, из-под которого рвалась вода притока реки, гремевшей справа, и машина свернула с асфальтового шоссе через железнодорожный переезд на узкий проселок, мощенный кремнистой щебенкой. У переезда, на крошечной деревянной платформе, стояла открытая со стороны путей будка, вроде тех, что когда-то у нас стояли в провинциальных городах на трамвайных остановках: трамваев было мало, спешить особенно некуда было – посиди на скамеечке под односкатной крышей, подожди. Здесь пассажиры в количестве хотя бы одного человека ожидают поезда, который останавливается у таких платформочек по требованию. Поезда в Норвегии игрушечные, составом в три-четыре вагона; некоторые железные дороги находятся в частном владении. Все мелкие путевые наблюдения на первых порах очень занимают: видишь совсем иной, чем наш, мир – мир маленькой буржуазной страны с чертами чего-то отжившего, провинциального, о чем наше поколение имеет представление главным образом по книгам да понаслышке от старых людей.

Показалась белая каменная стена большого сарая с подъездным каменным мостом-эстакадой к воротам в одном из фронтонов, где полагается быть сеновалу, и белые наличники окон небольшого домика, обшитого тесом и окрашенного в темно-брусничный цвет. Это была усадьба хутора, куда мы держали путь и где я впервые услышал некую часть одной истории, очень взволновавшей меня на все время пребывания в Норвегии.

Летней ночью к этому хутору в районе Тюре-фиорда спустился с гор бежавший из немецкого концлагеря русский военнопленный.

Это было давно, семь-восемь лет назад, и хозяин хутора крупный, свежий пятидесяти-шестидесятилетний мужчина, рассказывая об этом нам, русским людям, обращается то к жене, то к своему племяннику, молодому человеку, за уточнением частностей. Даже похоже, что он нарочно подчеркивает давность этого случая, который не может быть памятен во всех мелочах ему, хозяину, занятому многими серьезными делами и хлопотами.

А нам, соотечественникам человека, что в ту ночь приходил на хутор, кажется, что это дело совсем не такой уже давности. Мы захвачены рассказом, нам дороги в нем все детали, каждое слово и оттенок. Нам с живостью представляется все, как было, точно это случилось за день до нашего приезда на хутор.

Он спустился к хутору, наш русский, советский товарищ, бежавший из фашистского плена, вот с этой невысокой гранитной горы, видной нам из окна столовой, где мы сидим за кофе, – изнуренный голодом, ежеминутной смертельной опасностью, всеми тяжкими испытаниями отчаянного пути по безвестным горам и лесам вдали от Родины.

Собаки сразу учуяли в нем что-то необычное и тревожное для такого позднего часа и, дружно подступив, прижали его к каменной стене скотного двора.

Фигура человека с руками по швам, обозначившаяся на белой стене, выражала собою крайнюю беззащитность и вместе крайнюю, отчаянную решимость. Он стал неподвижно, прижимаясь к стене спиной, локтями, запрокинутой головой, и только часто, порывисто дышал. Хозяин, встав из-за стола и отойдя к стене комнаты, наглядно представил нам позу, в какой он

застал тогда человека, приблизившись к нему с электрическим фонариком.

Человек был одет в ветошь, давным-давно не брит и страшно худ. На оклик он отозвался на неизвестном хозяину языке, – это не был ни английский, очень распространенный в Норвегии, ни французский, из которого хозяин, человек бывалый и многому обученный, знал несколько фраз. Это не был и язык тогдашних оккупантов Норвегии. Хозяин угадал, на каком языке обращался к нему пришелец, унял собак, знаком пригласил человека следовать за собой и погасил фонарик. Проведя ночного гостя на кухню, он дал ему поесть и дал сигарету – редкостную в те времена вещь. Это был поступок, связанный с нешуточной опасностью для дома, для самой жизни хозяина – по следам беглеца каждую минуту могли нагрянуть гестаповцы. Хозяин и сам, может быть, не предполагал в себе способности на такое решение, но его ненависть к оккупантам оказалась в ту минуту сильнее его страха перед ними. В лице этого голодного, измученного скитаниями в чужих горах русского он отдавал дань признательности и уважения единственной в мире могучей и справедливой силе, в жестоком единоборстве противостоящей силе фашизма. В своем великом целом эта сила где-то там, в глубине русских земель, один на один, гордо и самоотверженно сражалась с несметными армиями гитлеровцев, причиняя им тяжкий, все более ощутимый урон. В своей малой частности она была способна на дерзкое, немыслимое дело побега из плена противника, из-за многих рядов колючей проволоки на бетонных столбах, загнутых вверху внутрь ограды, из-под стражи с ее ручными и станковыми пулеметами, прожекторами, собаками, системой сигнализации, – из тех мест, которые одним своим наименованием внушали ужас окрестным жителям, в том числе хозяину этого хутора.

Русский не все съел из того скромного угощения, что было перед ним на столе. Он спросил, делая соответствующие знаки руками, может ли он остальное взять с собой – две-три холодных вареных картофелины в мундире, несколько листиков норвежского пресного хлеба, маленький кусочек сыру. Конечно, хозяин позволил, но больше он предложить не мог. В Норвегии едят мало, почти без хлеба, и даже не очень бедные люди экономят на еде. Это привычка, это бытовой уклад, естественный для страны, ввозящей девять десятых потребного ей хлеба.

Русский что-то горячо говорил, прикладывая руку к сердцу, но из всего, что он говорил, хозяин запомнил и усвоил одно слово – «спасибо». И чтобы что-то ответить на речь русского, он вслед за ним повторял это слово – «спасибо». И этот диалог теперь представлялся нам в своем истинном значении, хотя люди не понимали языка друг друга. «Спасибо, спасибо, спасибо тебе», – говорил русский. «Нет, это тебе спасибо», – отвечал норвежец. «Спасибо тебе, что ты не выдал меня, а накормил и приютил, как брата». – «Нет, это тебе спасибо, что ты воевал с фашистами, и спасибо, что ты убежал от них, и спасибо всем русским, что сражаются с нашим общим врагом».

Хозяин рассказывал по-норвежски, а его родственник, художник, привезший нас в этот дом, переводил все это на английский, а с английского на русский переводила Н. И. Соколова. И на всех этих языках как непереводимое звучало слово «спасибо». И еще одно – Иван. Так звали русского, а может, он только назвался, чтобы хозяину легче было понять: всем известно, что Иван – русское имя.

– Я заучил эти два слова, – говорил хозяин, – и когда русские у нас на севере перешли в наступление, очищая Норвегию от оккупантов, я всюду стал говорить: «Спасибо, Иван, Иван, спасибо!» Я надеялся встретить того Ивана, но русские не дошли до наших мест. Сюда приезжали только отдельные офицеры, представители русской армии. Их встречали с цветами и музыкой, но по-русски к ним обращался только я. Я говорил им: «Спасибо, Иван! Спасибо, спасибо, Иван!»

И мы все трое были взволнованы, распознавая на слух в самой норвежской речи хозяина родные русские слова, произносимые, правда, на иной манер – «Иван» с ударением на первом

слоге, а «спасибо» раздельно и с пропуском одного слога:

– Иван, спа-сбо.

Я вспомнил, что именно этими словами хозяин приветствовал нас у входа в свой дом, но мы тогда не поняли, что это по-русски.

Но почему он теперь всей манерой рассказа, странным похохатыванием старается придать той давней встрече с нашим соотечественником характер какой-то забавности? Неужели он не понимает, что *спасибо* – это именно то слово, которое он и должен был говорить нашим воинам, освободившим его родину от фашистов! Пусть он не знал значения этого русского слова, но разве он по-норвежски хотел им сказать что-нибудь иное? Вся Норвегия вместе с другими странами говорила нашей армии и стране спасибо за избавление от ига оккупантов, от мук национального унижения, от всего, что приносит война всем людям, кроме тех, которые наживаются на ней. Это слово звучало на обоих языках Норвегии[В Норвегии существуют две разновидности языка – риксмол и лансмол. *(Прим. автора.)*] в речах политических и военных деятелей, писателей, священников, короля и министров. Оно было на устах у всего народа Норвегии. Оно запечатлено на страницах миллионов экземпляров печатных изданий. Оно вырублено на граните памятников, сооружением которых норвежский народ выразил свою признательность воинам Советской Армии, погибшим в боях за Норвегию. На одном из них, в Осло, так и написано: «Норвегия благодарит вас». В день нашего приезда мы принесли наш венок к подножию этого памятника и увидели там цветы, букетики скромного и трогательного подбора – фиалки вперемежку с веточками распускающейся березы. Нам сказали, что цветы здесь можно видеть всегда, их приносят простые небогатые люди, мужчины и женщины, рабочие и студенты, служащие и ремесленники – люди, для которых надпись на этом памятнике не одна только надпись, а выражение их подлинного чувства.

В разговор неожиданно вступил племянник хозяина, молодой человек лет тридцати пяти. По-норвежски это именно молодой человек, так как средний возраст у норвежцев, вообще отличающихся долголетием, относится к пятидесяти – семидесяти годам. Это был высокий и ширококостный мужчина с синими глазами, белыми, точно выгоревшими бровями, крупным прямым носом и нежно-белой кожей лица, какая бывает у рыжеватых, слегка обсеянной веснушками. Руки его, очень большие, как у большинства норвежцев, были такие же белые и в веснушках с тыльной стороны ладоней. Он что-то сказал, явно относя свои слова к нам, но с переводом вышла заминка. Тогда он, краснея и с видимым усилием над собой, сказал еще несколько слов, обращаясь к художнику, который, вопросительно взглянув на хозяина, перевел:

– Он говорит, что, к сожалению, не все в Норвегии помнят, чем они обязаны русским солдатам. Многие стали это забывать.

Понятно, речь не могла идти о присутствующих, но хозяин с явным недовольством и почти вызовом откинулся на спинку стула. Видно было, что молодой человек в его глазах переступал некую грань родственной субординации и позволял себе слишком много, вмешиваясь в разговор. Видно было, как всегда все бывает видно гостям в отношениях хозяев, что хозяйка, маленькая безмолвная женщина с худощавым, чопорным и вместе испуганным лицом, встревожена недовольством мужа. Может быть, она хотела как-то поправить маленькую неловкость за столом и сказала, кивнув нам на племянника:

– Он тоже одного русского подобрал в лесу и нес его на себе несколько километров. Русский был ранен в ногу и очень-очень слаб. – Так перевел нам художник, и мы поняли, что она хотела поставить этот поступок в один ряд с поступком мужа, накормившего русского солдата у себя на кухне, и тем исключить возможность какого бы то ни было разногласия между ними.

И действительно, хозяин улыбнулся, закивал головой:

– Да, да, это тоже интересный случай. Расскажи.

Молодой человек начал рассказывать, и фраза за фразой нам было переведено следующее:

– Я работаю в лесу, лесоучетчиком. Я бóльшую часть времени провожу в лесу. А в те годы вообще не хотелось выходить из леса. Этого русского я подобрал в лесу, километрах в тридцати отсюда и километрах в десяти от дома, где я живу. Нет, я не нес его на себе, но поддерживал его за талию, и он держался одной рукой за мою шею, а другой опирался на палку. Мы шли долго, потому что ему было очень трудно и, кроме того, мы не могли идти по дороге, шли все время лесом. Дома я его уложил на постель, промыл и перевязал ему рану – я это немножко умею делать, в лесу все нужно уметь делать. Он прожил у меня пять дней и в ночь на шестой ушел, ни за что не хотел остаться. Он говорил: «Войну нужно кончать, нужно кончать с фашизмом».

Я вывел его опять в лес, дал ему на дорогу что мог – хлеба, спичек, соли, немножко табаку. Я спросил его, куда он идет теперь, куда он так спешит. Мне было страшно подумать, что еще с ним может случиться в пути. «На Берлин», – ответил он. Мы стали прощаться. Он обнял меня, и мы поцеловались, как братья. На Берлин – это я хорошо понял. Он и еще что-то говорил и много раз говорил мне спасибо. Это был большой, благородный человек. Его тоже звали Иваном.

Это было рассказано гораздо короче, но рассказано было все это, а может быть, и больше в подробностях, но я не могу это изложить иначе – многое нам было понятно из его скупых жестов, взволнованной и грустной интонации голоса, по блеску его больших синих глаз, в которых стояли слезы.

– Два Ивана, – сказал хозяин и засмеялся этому будто бы крайне занятному совпадению.

Я спросил, когда это было, и по времени вышло, что оба случая были в июле 1943 года. Какая же связь между ними? Не об одном ли лице идет речь?

– Ну что ж, вы, наверное, хотите посмотреть мое имение, – сказал хозяин, давая понять, что кофе окончен, и вместе с тем возвращая нас к той роли, какую он заранее определил нам: люди из-за границы – они должны что-нибудь осматривать, будь то музей, водопад, старинная церковь или скотный двор на его хуторе и самый хутор, который, было очевидно, он таки считает достойными обозрения.

На подворье возле маленького, пестро раскрашенного трактора возились двое мужчин в шерстяных безрукавках поверх рубашек с засученными по локоть рукавами, тоже «молодые люди» лет от тридцати пяти до сорока. Хозяин что-то сказал им, и они, оставив на траве инструмент и детали полуразобранной машины, отошли, с неловкой готовностью ответив на наше приветствие. Это были работники. Они вдвоем, как мы потом узнали от хозяина, обслуживали все его полеводство и животноводство – двенадцать гектаров обрабатываемой земли, семнадцать коров и пять лошадей. Кто-то из нас сказал, что уж больно мал трактор.

– Он достаточно велик для меня, – возразил хозяин с той заведомо мнимой скромностью, которую нельзя было воспринять иначе, как неприступное самодовольство собственника. – Он достаточно велик для меня, потому что он – мой…

Да, трактор был его собственный, и его собственный был каменный двор, к стене которого когда-то был прижат хозяйскими собаками человек, научивший его русскому слову «спасибо», – двор с бетонными полами, семнадцатью грузными коровами, стоявшими и лежавшими на нем, пятью упитанными рабочими лошадями, с кормушками, автопоилками, электрическим освещением, люками в потолке для подачи сена с сеновала. Все это было его собственное, этого обыкновенного пятидесяти– или шестидесятилетнего человека в темном костюме, белом воротничке, с румяным лицом пожилого здоровяка, заметно просвечивающими на темени русыми волосами, зачесанными назад, который по внешности у нас сошел бы и за преподавателя средней школы, и за бухгалтера крупного колхоза, и за районного врача, и за прораба строительства, и за редактора толстого журнала.

И с непривычки это было не то что занятно, а странно – в натуре увидеть человека, чьей собственностью, источником личного благосостояния являются эти коровы, лошади, трактор, хутор, надворные постройки, запасы кормов и накопленные за зиму груды навоза. А вот у его работников, которых он тоже числит своими, ему принадлежащими, с их двумя парами рук, умеющих доить коров, водить трактор, запрягать лошадей, чистить конюшню и коровник, пахать, сеять, косить – у этих двух человек, мало чем отличающихся от него по внешности, у них в этом мире собственности, освященной авторитетом высшей добродетели, ничего нет. Они у него получают жалованье, из которого он делает вычет за питание и помещение – отдельный домик наподобие сторожки, с двумя однокоечными опрятными комнатками и общей кухней-прихожей. В любое время этот один человек может лишить их обоих крова и заработка, потому что у них ничего нет, кроме их способности работать для выгоды хозяина. Они уже в серьезном возрасте, но оба холосты, потому что хозяин не станет держать семейных.

Кстати сказать, в числе трех миллионов населения Норвегии очень значителен процент людей, доживающих до глубокой старости холостыми и незамужними. Одинокие старцы-холостяки и девяностолетние фрекен – девушки – это как бы целый слой народонаселения. И единственная причина этого – материальная недостаточность, страх перед нищетой, бесприютностью, которые особенно горьки, когда отвечаешь не за одного себя. Знать бы об одном этом во всей реальности нашей рабочей и колхозной молодежи, которая влюбляется и женится, когда к тому есть основное условие – молодость, – и думать не думает о том, как потом прокормиться, одеться, где жить.

Ах, как это все обычно и привычно у нас и как оно предстает тебе во всем своем великом значении, когда осматриваешь хозяйскую квартирку двух работников-холостяков на норвежском хуторе! Опрятные, чистенькие комнатки с аккуратно заправленными постелями, с тумбочками, застланными одинаковыми салфеточками, и на каждой тумбочке по иллюстрированному журнальчику! «Скажите, что плохо, скажите, что все ваши колхозные трактористы имеют такие комнаты, и постели, и тумбочки?» – как бы вопрошает хозяин, раскрывая перед нами двери комнаток, отворачивая на кухоньке кран над раковиной, чтобы показать, что из него течет вода, включая и выключая свет без нужды. Да нет, мы не говорим, что плохо. Нет, хорошо, и хозяин вправе гордиться, услышав эту нашу оценку: ведь это все равно, что его похвалить, поскольку и это помещение – его собственность. Нет не все еще наши трактористы живут в таких комнатках, но поди заставь их жить у тебя, доить твоих коров и подчищать из-под них ради твоей выгоды, в постоянном сознании, что ты по своему усмотрению можешь их выгнать или оставить у себя. Жить в сознании, что впереди ничего – ни повышения заработка, ни радости жить, как положено людям с подругой, детьми, а только убыль сил, одинокая старость и смерть в неизвестном чужом углу, потому что не станешь же ты держать у себя бесполезных тебе стариков, тебе нужны работники.

Но хозяин был очень доволен, что гости не сделали никаких критических замечаний относительно помещения для рабочих. Он был несколько обескуражен, когда, желая нас удивить своими автопоилками в коровнике, увидел, что для нас это не диковинка и что мы считаем недостатком отсутствие подачи теплой воды в коровнике – это так важно для зимнего содержания скота. И когда он похвастался рекордным у него удоем в пять тысяч литров от коровы в год, профессор В. Н. Столетов заметил, что в подсобном хозяйстве при Тимирязевской академии такой удой считается средним, а вообще у нас не такая уж редкость в колхозных стадах удои в семь и восемь тысяч литров. Процент жира в молоке норвежских коров профессор также нашел недостаточным, намного перекрываемым показателями в нашем колхозном и совхозном животноводстве.

После осмотра усадьбы хозяин повел нас по границе своих владений – пашни, лугов и леса,

растущего на высокой, валунообразной горе, висящей над усадьбой хутора, той, с которой в решимости отчаяния спустился когда-то измученный голодом и холодом советский военнопленный.

Мы шли за хозяином по луговой дорожке, между посевами не пробившегося еще картофеля и уже набиравшей рост озими, и как это было похоже на то, как когда-то в нашей хуторской смоленской стороне водил иной хозяин гостей по своим полям с овчинку в весеннее либо летнее праздничное послеобедье, выхвалялся, важничал, учил жить на земле…

Мы обошли лес с пологой стороны горы – лес как лес: ели, сосны, березы, понизу, ближе к опушке, подлесок из осинника или орешника. Но вот, загибая к усадьбе, мы вышли на край горы и увидели внизу черепичные крыши построек, темный задворок с аккуратно выложенными серыми поленницами дров и дальше – до линии железной дороги с одной стороны, и не то речки или притоки с другой – весь как на ладошке земельный участок хутора. Тут его владелец встал на камень, приходившийся нам по пояс, картинно взмахнул шляпой и с горделивым вызовом произнес два слова:

– Мое! Все!

Я попросил перевести ему, что когда-то давно, еще до нашей Великой революции, один русский мужик-хуторянин, говоря о размерах своего земельного участка, исходил из трех измерений. Он говорил: «В длину и ширину участок мой невелик, но зато, если взять его в глубину, он идет до самой Америки». Мужик, понятно, шутил и этой горькой шуткой показывал, что он видит всю убогость своего землевладения. Но на норвежца эта шутка произвела впечатление вдруг услышанной им простой и великой истины.

– Да, да, – закивал он головой, тыча указательным пальцем себе под ноги, – до самой Америки. Мое! Все!

И он засмеялся от радости этого открытия, которое внушало ему еще больше уважения к себе, землевладельцу, чьи угодья только на поверхности ограничены двенадцатью гектарами.

Хозяин свел нас с горы по хорошо изученной им тропинке, сбегающей с уступчика на уступчик. Он шел впереди и не хватался, как мы в иных местах, за ветки елочек или обнажившиеся корни сосен, там, где считал это необходимым, предупредительно протягивал руку Н. И. Соколовой, единственной даме в компании. Оставалось осмотреть луг, выходящий к неширокой и сравнительно спокойной для этих мест реке. Профессор Столетов сказал:

– Этот луг нужно улучшать, он уже замшел, и хорошей травы с него уже не получить.

– Я просто пускаю его под пастбище на лето.

– Это не решение проблемы. Луг нужно подсеять, внести удобрения. А сколько вы сеете клевера?

Хозяину этот разговор не пришелся по душе. Он сказал, что со своего участка он обеспечивает стадо кормами лишь в самой малой степени. Он корма покупает. Их привозят из-за океана. Концентрированные корма. Правда, в последнее время, в связи с общим повышением цен, привозные концентраты сильно вздорожали, и что самое скверное, ожидается еще большее вздорожание…

В продолжение всей нашей беседы, касавшейся разнообразных вопросов, хозяин решительно, всем своим видом, своим самодовольным хохотком выражал лениво-презрительное отношение к делам политики, убежденное безразличие к несовершенству мироустройства, к возможности новой войны, ко всему на свете, кроме своих коров.

Но тут мировая политика непосредственно смыкалась с удойностью его собственных коров, с доходностью его хутора. Ему было очень неприятно сознаться в этом и видеть, что мы, приезжие советские люди, как-то незаметно заставили его сделать признание, которого он не хотел делать. И теперь уже не он рассказывал нам о своем хуторе, а советский ученый-агроном,

наш товарищ по делегации, путем примерных, но неопровержимых по сути расчетов выводил заключение о нерентабельности этого хозяйства. Если хутор не в состоянии кормить стадо, значит, это хозяйство нельзя назвать продуктивным. Его стадо – это просто мастерская по выделке молока из привозных, покупаемых за деньги кормов. Но если эти корма дорожают настолько, что выручка от молока едва сможет покрыть расходы на корма, ведение хозяйства становится бессмысленным. Не нужно было разъяснять хозяину, что экономика не одного этого хутора, но всей страны регламентируется внешней своекорыстной опекой вовсе не в интересах этой страны, которая обязана, например, покупать не нужное ей оружие устаревающих образцов и терпеть недостаток в жизненно необходимых товарах.

– Все это не нашего ума дело, – досадливо отмахнулся хозяин. – Пусть правительство думает обо всех этих планах и пактах. Я – маленький человек, – заключил он, как бы очерчивая некий магический круг: не впутывайте, мол, меня в большую политику, не отнимайте у меня моих иллюзий, не хочу, не желаю…

Но это уже не был убедительный тон человека, который говорил, что его трактор достаточно велик для него, а идея третьего измерения его угодий неожиданно приобретала печально символическое значение: действительно, этот хутор, если брать его в глубину, упирался в Америку.

Хозяин обрадовался, что разговор напоследок обратился к более отвлеченным темам.

Речь зашла о литературе.

– О, я люблю русскую литературу, – сказал хозяин. – Толстой, Достоевский…

Правда, в дальнейшем обнаружилось, что Льва Толстого он путает с Алексеем Николаевичем Толстым. Достоевского он читал в молодости – это была книга о том, как бедный студент убивает богатую старуху…

– Почему у вас запрещен Достоевский? Ведь, казалось бы, он касается таких социальных мотивов…

Это была одна из басен, которые в таком ходу за границей, и этому любителю русской литературы она давала право в упор задавать свой вопрос. Пришлось ответить, что это неверно и что Достоевский после революции издан у нас в неизмеримо большем количестве экземпляров, чем за все прежнее время, и что это все же не мешает нам в своем большом литературном наследстве по-хозяйски критически подходить к воззрениям или утверждениям того или иного из великих писателей. Я спросил, есть ли в доме что-нибудь из русских книг на норвежском или другом языке.

– Нет, я не настолько богат, чтобы покупать много книг. Впрочем, одна книга у меня есть.

Мы сидели на крыльце дома, хозяин встал и ушел за книгой.

Я сказал, что норвежскую литературу у нас издавна читают и любят.

– Да, у нас была хорошая литература, – серьезно и грустно сказал племянник хозяина, – а теперь нам за нес стыдно.

Я понял, что он имеет в виду Кнута Гамсуна и Сигрид Унсет. У нас известна история о том, как в дни оккупации Норвегии Гамсун, перешедший на сторону фашистов, стал по утрам находить в своем саду свои книги, заброшенные туда через забор с улицы. Их с каждым днем находилось в саду все больше и больше, несмотря на принятые квислинговскими властями меры для охраны покоя престарелого ренегата. Народ Норвегии возвращал прославленному писателю, изменившему родине, его книги, он не желал их читать и даже держать у себя. Подтверждение этой истории я увидел в том, как все, к кому из наших друзей в Норвегии мне случалось обратиться с вопросом о Гамсуне, отвечали односложно:

– Не знаю, что он пишет. Не читал. Не интересуюсь.

Когда Гамсуну исполнилось девяносто лет, реакционеры затеяли кампанию сбора подписей

деятелей культуры и искусства, признающих нужным устройство юбилея. Кампания провалилась, – юбилей был частным делом юбиляра и тех, кто разделял его фашистские взгляды.

Изданную у нас в тридцатых годах Сигрид Унсет критики называли когда-то «норвежским Львом Толстым». Сопоставление, конечно, наивное, хотя нельзя отрицать талантливости этой писательницы, чьи идейные устремления и приверженности задолго до войны определили ее профашистскую позицию в годы тяжелых испытаний, выпавших на долю родины. Ее крупнейший роман «Кристин – дочь Лавранса» – это стилизованные, безжизненно натуралистические до этнографичности картины норвежского средневековья, песнь любви к ушедшему прошлому. Роман этот вспоминался мне, когда мы осматривали «норвежскую деревню» в Народном музее в Осло.

Хозяин вернулся с книгой в руках, похохатывая и лопоча что-то, что наш художник не стал нам переводить. Это была поганая книжка, состряпанная в недрах американской разведки и приобретшая одно время незавидную известность в результате судебного процесса в Париже. Факсимилированная подпись мнимого автора книжки была сделана латинскими буквами, и в сочетании с русским звучанием фамилии это было лучшим свидетельством ее «подлинности». Такой «литературой» американцы наводняют книжный рынок европейских стран, в частности Норвегии. Я уже знал, что не только многих лучших произведений советской литературы, известных в Норвегии по английским переводам, но и многих книг наших классиков нет на норвежском языке. А грубая, клеветническая фальшивка, подписанная именем уголовного типа с русской фамилией, переведена и издана в Бергене объемистым томом ценою в двенадцать крон и нашла своего покупателя и читателя в лице нашего хозяина.

Взглянув на книгу, мы возвратили ее владельцу. Он был разочарован – он, видимо, надеялся произвести гораздо большее впечатление на нас. Он точно собирался поймать нас на чем-то. Я долго не мог забыть его смеха, его развязной улыбки, обнажающей добротный протез челюсти, в котором для натуральности блестел даже один золотой, будто бы единственный мертвый зуб.

Судьба двух Иванов, двух моих соотечественников, может быть даже земляков, конечно, теперь уже не может проясниться: добрались ли они до своих, живы ли они, довелось ли кому из них дойти до Берлина вместо со своими братьями по оружию? Но кое-что о них, а может быть, и не о них, но таких же, как они, людях суровой и жестокой судьбы, замечательной силы духа, отваги и воли, кое-что мне еще удалось услышать в Норвегии.

В дни нашего пребывания в качестве гостей на конгрессе общества «Норвегия – СССР» в небольшом городке Хаслемуене, в ста шестидесяти километрах от Осло, состоялось открытие нового памятника советским воинам, погибшим на норвежской земле. Памятник был сооружен на братской могиле тридцати семи наших солдат и офицеров, замученных и расстрелянных гитлеровцами.

В 1943 году, в июле, двадцать советских военнопленных бежали из концлагеря, расположенного вблизи Хаслемуена. Это было неслыханно дерзкое, немыслимое дело, приведшее фашистов в неистовство. Двадцать человек в течение неизвестного срока провели подземный лаз длиной около ста метров, который и вывел их за проволоку, в лес.

Этот лаз был вырыт ложками, земля была вынесена в карманах и рассыпана на площадке лагеря. Местами он теперь обвалился, и можно видеть, что вели его на большой глубине, обходя скалу. Работать там можно было только по одному, – это нора, в которой нельзя было даже развернуться; человек дополз до конца норы, набивал грунтом карманы или насыпал его за рубаху и задом выбирался обратно. Нужно еще учесть, в каком физическом состоянии были люди, отважившиеся на это дело и выполнившие его. Подкоп шел из барака лагерного «госпиталя», где содержались люди, дошедшие до самой крайности истощения, обессиленные незаживающими ранами. В день побега в лагере умерло семнадцать человек от голода и

ранений, с которыми они прибыли в лагерь. Можно полагать, что это число не является исключительным для лагеря смерти. Лагерное начальство, взбешенное фактом побега, при котором все двадцать человек скрылись бесследно в лесу, к концу дня отобрало двадцать человек заключенных, и они были расстреляны. Так как семнадцать человек, умерших в этот день, еще не были зарыты, их зарыли заодно с расстрелянными, и на том месте теперь воздвигнут памятник.

Тысячи людей сошлись и съехались в этот день к могиле тридцати семи замученных советских военнопленных. Женщины поднимали детей на руки и держали их над головами людской толпы, чтобы показать им скромный гранитный обелиск, засыпанный весенними полевыми и садовыми цветами, под которыми спят вечным сном люди, принявшие на себя безмерную тяжесть воинского труда, страданий и смерти во имя своей далекой родины, во имя мира, во имя жизни и этих норвежских детей, и всего рода человеческого.

А те двадцать, что бежали из лагеря? Известно, по рассказам жителей, что их не настигли, ни одного не поймали, хотя за поимку их были обещаны награды, а за помощь, за приют, который был бы им оказан, была объявлена смертная кара.

Может быть, о двух из этих двадцати мы и слышали на хуторе в Тюре-фиорде?

<1950>

Печники

О печниках, об их своеобычном мастерстве, исстари носившем оттенок таинственности, сближавшей это дело чуть ли не со знахарством, – обо всем этом я знал с детства, правда, не столько по живой личной памяти, сколько по всевозможным историям, легендам и анекдотам.

В местности, где я родился и рос, пользовался большой известностью печник Мишечка, как звали его, несмотря на почтенные годы, может быть за малый рост, хотя у нас вообще были в ходу эти уменьшительные в отношении взрослых и даже стариков: Мишечка, Гришечка, Юрочка…

Мишечка, между прочим, был знаменит тем, что он ел глину. Это я видел собственными глазами, когда он перекладывал прогоревший под нашей печи. Тщательно замесив ногами глину на теплой воде до того, что она заблестела как масло, он поддевал добрый кусок пальцем, запроваживал за щеку, прожевывал и глотал, улыбаясь, как артист, желающий показать, что исполнение номера не составляет для него никакого труда. Это я помню так же отчетливо, как и тот момент, когда Мишечка влезал в нашу печь и, сидя под низкими ее сводами, выкалывал особым молотком у себя между ног, раскинутых вилкой, старый кирпичный настил. Как он там помещался, хоть и малорослый, но все же не ребенок, я не мог понять: когда меня, простудившегося как-то зимой, бабка попыталась отпарить в печке, мне там показалось так тесно, жарко и жутко, что я закричал криком и рванулся наружу, чуть не скатившись с загнетки на пол.

Мне сейчас понятно, что невинный прием Мишечки с поеданием глины на глазах зрителей имел в основе стремление так или иначе подчеркнуть свою профессиональную исключительность: смотрите, мол, не каждый это может, не каждому дано и печи класть.

Но Мишечка, подобно доброму духу старинных вымыслов, был добр, безобиден и никогда не употреблял во зло людям присущие его мастерству возможности. А были печники, причинявшие хозяевам, чем-нибудь не угодившим им, большие тревоги и неудобства. Вмазывалось, например, где-нибудь в дымоходе бутылочное горлышко – и печь поет на всякие унывные голоса, предвещая дому беды и несчастья. Или подвешивался на тонкой бечевке в известном месте кирпич, и, по расчету, бечевка выдерживала первую, пробную топку печи, все было хорошо, а на второй или третий день она перегорает, обрывается, кирпич закрывает дымоход, печь не растопишь, и понять ничего нельзя, надо ломать и класть заново.

Были и другие фокусы подобного рода. Кроме того, одинаковые по конструкции печи всегда разнились в смысле нагрева, теплоотдачи и долговечности. Поэтому печников у нас, по традиции, уважали, побаивались и задабривали. Надо еще учесть, какое большое место в прямом и переносном смысле занимала печь в старом крестьянском быту. Это был не только источник тепла, не только кухня, но и хлебопекарня, и универсальная сушилка, и баня, и прачечная, и, наконец, излюбленное место сладостного отдыха после дня работы на холоде, с дороги или просто когда что-нибудь болит, ломит, знобит. Словом, без хорошей печи нет дома. И мне это досталось почувствовать в полной мере на себе, и я так много и углубленно думал до недавней поры о печках и печниках, что, кажется, мог бы написать специальное исследование на эту тему.

Мне отвели квартиру через дорогу от школы. Это крестьянская изба, подведенная под одну связь с двумя такими же избами, где жили другие преподаватели. Изба разгорожена на две комнаты, и перегородка приходится как раз посредине большой, комбинированной печи, выступающей в передней в виде кухонной плиты, а на другой половине в виде мощной голландки. Эта печь и была долгое время причиной моего крайне угнетенного настроения, тоски и порой почти что отчаяния. Стоило мне в классе на уроке или в любом ином месте, на людях или в одиночку, за любым делом вспомнить о доме, об этой печи, как я чувствовал, что мысли мои путаются, я не могу ни на чем ином сосредоточиться и становлюсь злым и несчастным.

Эту печь очень трудно, почти невозможно было затопить. Еще плита так-сяк топилась, но плита не имела для меня, живущего покамест без семьи, большого значения. Но как только отваживались затопить голландку, чтобы согреть вторую комнату, где я работал и спал, нужно было открывать форточки и двери от дыма, наполнявшего всю квартиру, как в черной бане. Поначалу, видя растерянность сторожихи, я брался топить печку сам, но и у меня то же самое получалось. Дым валил из-за дверцы, из поддувала, сочился из незаметных щелей вверху печи и даже пробивался через конфорки плиты в передней. Всякий раз со стороны можно было подумать, что люди забывали открыть трубу.

Для растапливания этой печи было применено множество приемов и все богатство опыта и сноровки людей, имевших по должности своей дело с десятком, по крайней мере, действующих школьных печей.

Сторожиха Ивановна и ее муж, одноногий Федор Матвеев, помогавший ей, были настоящими мастерами этого дела. Притом у каждого была своя система или способ, прямо противоположные один другому, но одинаково приводившие к хорошим результатам. Коротко можно сказать, что Ивановна начинала с огня, а Матвеев – с дров. Я хорошо изучил эти два способа. Ивановна, маленькая, поворотливая, ухватистая женщина, зажигала в пустой печи трубочку бересты, горсточку стружек, обрывок газеты или несколько тонких лучинок и, добавляя по лучинке, по щепочке – что больше, то крупней, – выращивала живучий, сильный огонь, куда оставалось только подбрасывать полешко за полешком, пока дрова, изнутри прохватываемые пламенем, не подопрут под своды так, что уже и сунуть полено некуда.

Матвеев, наоборот, со свойственной ему, отчасти из-за инвалидности, медлительностью и основательностью сначала выкладывал в печи дрова, то в виде обычной клетки, то как-то крестообразно, то вертикально, шалашиком, выкладывал, пристраивал, перебирая поленья одно к одному, обдуманно, тщательно, всякий раз как бы решая некоторую конструктивную задачу. И только потом подводил под это сооружение огонь, используя ту же бересту, стружку или газетную бумагу. И получалось так же хорошо, как и у Ивановны. Печь вытапливалась быстро, дрова прогорали ровно, никогда не пахло угарным газом, и никогда печи не остывали раньше того, чем им полагалось. Но моя печь давала одинаково скверный результат при том и другом способе.

Я уже не шутя начинал думать, не устроена ли в этой печи какая-нибудь шутка, вроде тех,

что делали мастера в старину.

Столкнувшись с этой бедой, я постепенно вызнал всю историю злосчастной печи. Оказалось, что из-за нее никто не хотел жить в этой квартире. Помучилась, рассказывали, преподавательница истории Мария Федоровна – бежала. Летом жила математичка Ксения Аркадьевна, когда еще была не отделана соседняя квартира, но к осени перебралась туда, едва дождавшись окончания отделки.

Сложена печь была немцами-военнопленными, а потом дважды перекладывалась разными случайными печниками, но все неудачно. Мне было просто неловко поднимать перед директором вопрос о новой переделке печи. Но, так или иначе, ее нужно было переделать, только бы недаром, в четвертый раз.

Есть, говорили, на всю округу один человек – Егор Яковлевич, – он мог бы сложить печь с гарантией, но он последнее время редко и неохотно берется: живет на пенсии как старый железнодорожник, у него свой дом, сад, огород; «не хочу» – и все. Посылали с его внуком из четвертого класса записку – не удостоил ответом; ходил к нему сам Матвеев раз, а другой раз видел его где-то на поселке – все то болен, то взялся уже работать в другом месте, а что дальше, там, мол, видно будет.

А дальше оттягивать уже было нельзя. Прошли Октябрьские праздники, дело пододвигалось к зиме – уже на своей квартире я мог только спать по фронтовой привычке, ребячьи диктанты и сочинения я правил в учительской, когда все расходились. Вдобавок ко всему я очень опасался, что жена моя Леля, несмотря на мои решительные предупреждения, могла нагрянуть сюда с пятимесячным сыном до приведения квартиры в порядок.

Все эти соображения, решения и оттяжки совершенно изнурили меня. Меня мучила не только сама печка, но и то, что она была предметом разговоров, забот, планов и предположений всех преподавателей, директора, сторожей и, я уверен, учеников: ребята всегда все знают о нашей внешкольной жизни. Да и сейчас, когда вся эта пустяковая история с печкой давно позади, я сам чувствую, что повествую об этом не с легкостью изложения забавного случая, а с волнением и серьезностью, каких это дело, конечно, недостойно. Но спросите у любого, особенно у женщины-хозяйки, пользующейся печным отоплением, что такое дурная печь в ежедневной жизни человека, как это влияет на настроение, как отражается на работоспособности, – вам скажут, что от плохой печки можно в короткий срок постареть. А я именно смотрел на все злоключения с этой печью глазами моей жены Лели, городской, неопытной в трудном быту молодой женщины-матери, которой предстояло жить со мной в этой квартире.

В то утро, когда я проснулся ранее обычного от света, который вступал в окна от снега, выпавшего ночью, мне пришла как бы вместе с этим светом ясная, простая и, казалось, надежнейшая мысль.

Я вспомнил райвоенкома, майора, с которым познакомился и разговорился, когда приходил к нему, чтобы встать на учет как офицер запаса. Пойду, дурак, к нему, он мне поможет: стоит посмотреть по картотеке, у кого из военнообязанных в графе «специальность» указано «печник», – вот и печник.

Майор принял меня в своем крошечном, как чулан, кабинетике с тремя бревенчатыми и четвертой тесовой стенкой, отделявшей его от общей большой комнаты с деревянным барьером.

Простецкое озабоченное лицо майора с морщинами на лбу, которые подкатывались от бровей к густым темным волосам, делали его лоб низким и придавали как бы свирепое выражение, лицо это участливо вытянулось.

– Как вам сказать… – заговорил он, закуривая сигаретку. – Печник – такая профессия, что ее не всегда указывают. Сапожник, кузнец – это другое дело. А печник, – вдруг улыбнулся он,

обнажая свои большие прокуренные зубы с широким краем верхних десен, – каждый солдат – сам себе печник. Сейчас посмотрим.

Оказалось, есть печники, но один из них инвалид, без руки, другой живет в самом далеком углу района, третий работает председателем большого колхоза – нечего и обращаться, четвертый – двадцать шестого года рождения; это и майор сказал, что печник должен быть постарше. Были и другие кандидатуры, отклоненные нами по тем или иным мотивам.

– Вы вот что, – посоветовал мне майор под конец, уже будучи в курсе всей моей истории, – вы сходите лично сами к этому магу и кудеснику, к Егору этому. Я тоже слышал, что мастер редкий. Сходите, поговорите. А не выйдет – давайте сюда, что-нибудь придумаем, – улыбнулся он опять своей большегубой улыбкой, исподволь прикрывая рот рукой, как это делают люди с потерянными спереди зубами, особенно женщины.

Это последнее его предложение при всей участливости майора прозвучало для меня как слово простой, ни к чему не обязывающей вежливости.

На другой день я направился к Егору Яковлевичу по грязной, скользкой обочине шоссе, вдоль которого располагается поселок. Снег, выпавший на незамерзшую землю, держался только в садиках и палисадничках, где не было ходьбы.

Было утро, на улицу еще мало кто выходил, и я этому радовался: я не хотел, чтобы все видели и знали, куда и зачем я иду. В то время у меня вообще было такое ощущение, как будто я хожу в тесных, мучающих меня сапогах, скрываю это, а все видят и знают мою беду, жалеют меня и немножко подсмеиваются надо мной. А я больше всего не терплю быть объектом жалости и насмешки. И эта чувствительность, мне кажется, особенно развилась во мне с тех пор, как я стал женатым человеком, главой семьи, – об одном самом себе такой речи не было.

А тут идешь, и тебе кажется, что все – и эта старуха в резиновых сапогах у колодца, и девочка, несущая хлеб под мышкой и жующая довесок, и два мальчика, поздоровавшиеся со мной на перекрестке, – все не только знают, что я недавно женатый, неопытный и неуверенный в устройстве домашних дел человек, а, пожалуй, даже знают, что моя теща, городской врач, красивая и совсем еще не старая женщина, с некоторой натянутостью признающая себя бабушкой, относится ко мне не очень уважительно и что я ее не то стесняюсь, не то побаиваюсь. И что у нее в квартире мы с Лелей и ребенком помещались в меньшой, проходной комнатке, а она – в большой, отдельной.

Я мало верил в успех, заранее составив себе представление об этом человеке как обремененном стариковскими недугами и не очень заинтересованном в заработке. Хуже нет просить кого-нибудь сделать что-то, чего он не хочет делать или просто может не делать.

Свернув с наклонно натоптанной вдоль штакетника тропинки, где то и дело нужно было держаться за штакетник, чтобы не упасть, я прошел через калитку к застекленной веранде домика Егора Яковлевича.

Дверь на веранду оказалась запертой: через стекло я увидел, что там все завалено кочанами капусты, бурачками и морковью со срезанной ботвой. В одном окне дома показалось длинное строгое лицо со слабой, прозрачной бородкой, и жестом руки мне было указано, что нужно обойти кругом.

Я обошел дом, поднялся по грязным ступенькам открытого крылечка в сени и постучал для порядка в тяжелую, обитую какими-то тряпками дверь.

– Ну, ну! – отозвался изнутри хриплый, но довольно сильный голос. – На себя!

Я вошел в кухню, очень просторную, в два окна. У окна справа сидел за столом старик не старик, но уже в порядочных годах человек с длинным, строгим, нездорового, желтоватого цвета лицом и редкой, когда-то рыжей, а теперь от седины палевой бородкой. На столе стоял самовар, остатки, видимо, вчерашней закуски и пустая поллитровка. Человек спокойно и, как мне

показалось, с подчеркнутым невниманием ко мне нарезал яблоко кружочками в стакан – чаевничал. Это и был Егор Яковлевич.

– Не могу, – коротко и с какой-то холодной грустью сказал он, едва я начал излагать свою просьбу.

Я стоял у порога и сесть мог бы либо у самого стола на свободном стуле, если бы меня пригласили, либо устроиться почти у самой двери на деревянном диване, заставленном какими-то ящиками, валенками, цветочными горшками, хламом. Здесь я мог сесть без приглашения, хотя разговаривать отсюда было неудобно, как через улицу.

Все же я сел и стал опять ему излагать дело, стараясь, конечно, ввернуть, что наслышан о его славе мастера. Всю свою канитель с печкой я старался представить в нарочито смешном виде, упирая на собственную беспомощность и наивность в этих делах.

Но все это он слушал как нечто само собой разумеющееся и ничуть не интересное ему, не прерывая меня: мол, говори себе что хочешь и сколько хочешь, мне все равно, и так и так чай пить. Он даже и не смотрел на меня, а смотрел больше в окно – на непогожую, слякотную улицу, на свои садовые кустики, на всю эту мокрядь и неприютность надворья, видеть какую даже приятно, когда сидишь за чайным столом, на привычном, излюбленном месте, в тепле, обеспеченном доброй, безотказной печкой. Да, он, видимо, знал цену этого утреннего стариковского часа с чайком и табачком, с неторопливым, небеспокойным и необременительным созерцанием и размышлением.

Я вскоре почувствовал, что в кухне очень жарко натоплено. «Реклама», – подумал я и присовокупил к своему изложению еще одно подобострастное замечание насчет того, как тепло и как хорошо с улицы прийти в такое помещение.

– Нет, не возьмусь, – опять прервал он меня, отодвигая стакан с блюдцем и приступая к перекуру.

– Егор Яковлевич!

– Да что Егор Яковлевич, Егор Яковлевич! – вяло передразнил он, явно пренебрегая моим усердным величанием его по имени-отчеству. – Сказал – не могу. Ясно?

Я мог бы утверждать, что с такой крайней недоступностью и ленивым высокомерием со мной не мог бы говорить не только заведующий районным или областным отделом народного образования, но и любой высокопоставленный начальник с секретарями, телефонами и записью на прием. «Не могу, не возьмусь», – и все. Самый суровый и недоступный начальник при этом все-таки должен был бы сказать мне, почему он не может удовлетворить ту или иную мою просьбу.

– Почему, Егор Яковлевич?

– А потому, – отвечал он, не повышая голоса и не меняя своей грустной и значительной интонации, – по тому самому, что Егор Яковлевич один, а людей много: тому надо и тому надо. У меня вот всего две руки, – развел он своими большими, костлявыми руками в коротких рукавах застиранной майки и коснулся высокого лба пальцами. – Две руки и одна голова, больше нету.

В этих жестах, как бы только упрощающих сущность дела применительно к уровню моего понимания, невольно виделось, что Егор Яковлевич далек от того, чтобы недооценивать свое значение.

– Но, Егор Яковлевич, – отважился я намекнуть, – вы, может быть, сомневаетесь относительно оплаты, так я хочу сказать, что я, со своей стороны…

– Да нет, что там оплата! – с небрежностью, слабо махнул он своей тяжелой, большой рукой. – Оплата моя известная, а говорю – не возьмусь. Сделаешь одному – другой придет. А лучше никому, и зато никому не обидно. Вот тоже вчера приходил человек, – указал он левой

рукой, в которой держал папиросу, на пустую поллитровку, – приходил человек, так и сяк просил…

– А все-таки, Егор Яковлевич?..

– Я же вам русским языком говорю, – он опять отнес свою тяжелую кисть руки к пустой поллитровке, уже почти касаясь мизинцем стекла, – вот же человек приходил…

Он с такой убежденностью указывал мне на эту пустую бутылку как на обозначение некоего человека-просителя, что я невольно стал смотреть на нее, как бы видя уже в ней натурального человека, который так же, как и я, нуждался в добром расположении Егора Яковлевича.

И тут меня оживила простая догадка, которая должна была, подумал я, явиться мне еще раньше, с самого начала беседы.

– А что, Егор Яковлевич, – сказал я решительно, подходя к столу, – может быть, по случаю выходного дня… – Я приподнял легонько за горлышко пустую бутылку для вящей предметности.

Егор Яковлевич поднял на меня светло-голубые со стариковской краснинкой глаза, его губы чуть заметно улыбнулись.

– С утра не употребляю. – И в тоне этого отказа была уже не только недоступность, но и осуждение и назидательность. – С утра не употребляю, – еще тверже повторил он и, опершись о край стола, приподнялся, желая, очевидно, дать понять, что аудиенция окончена. – Правда, вчера был вот человек…

И я решил для себя, что я для него просто «человек», как и тот, что в образе пустой бутылки стоял на столе: нас много, а он один.

Он проводил меня до сеней и, стоя в раскрытых дверях, зачем-то сказал мне вслед, может быть, все же тронутый моей огорченностью:

– Буду мимо идти – зайду, может, как-нибудь…

– Пожалуйста, – машинально отозвался я, недоумевая, для чего, собственно, ему заходить ко мне.

От Егора Яковлевича шел я в самом тягостном настроении. Как будто я пытался сделать что-то недостойное, но был упрежден и уличен. В самом деле, зачем мне было ходить к этому Егору, просить его, заискивать перед ним, роняя свое достоинство! Пусть этим занимается кто хочет, не мое это дело. А что же было делать! Ждать, покамест директор «лично займется этим вопросом», покамест освободятся какие-то печники на станции, покамест приедет жена, не поладив с матерью, решит, что хоть в сарае жить, только вместе, а тут ничего не готово!

Я совсем приуныл, начал представлять себе мое положение в самом наихудшем свете, и так как винить кого-нибудь одного я не мог в этом, то я начал сетовать на несовершенства нашего хозяйствования.

Строим уникальные домны, где укладываются сотни марок кирпича, возводим сооружения, назначенные увековечить наше пребывание, наш труд на земле, донести далеким потомкам образ величия наших дел и стремлений, а сложить печку, обыкновенную печку, какие, наверное, знала еще Киевская Русь, сложить это обогревательное устройство в доме работника интеллигентного труда, преподавателя родного языка и литературы, – задача неразрешимая!

Я шел и развивал все более неопровержимую аргументацию в направлении нетерпимости и ненормальности такого положения. Одна за другой складывались в моей голове фразы, то лирико-патетические, то едко-иронические, проникнутые убедительностью, пафосом правды, ясной, как день. Я уже не сам с собой разговаривал, а как бы слагал речь, которую я готовился напрямик сказать с некоей трибуны или в беседе с каким-нибудь большим, руководящим человеком. А может быть, это были строки и абзацы статьи, которая со страниц печати должна была со всей горячностью и прямотой поставить вопрос о внимании к нуждам сельской интеллигенции. Но этого мне уже было мало. Я уже затрагивал существующие формы и методы

преподавания и т. д. и т. п. Постепенно, незаметно я уже оторвался от своей печки…

Мне так захотелось поговорить с кем-нибудь обо всех этих вещах, поделиться своими достовернейшими наблюдениями и неопровержимыми выводами, повторять вслух наиболее удачные места и выражения моей внутренней речи, щегольнуть цитатой, приведенной как бы между прочим, по памяти.

Я пошел к майору, не имея уже в виду его обещание «что-нибудь придумать» относительно печки, а просто так. Он жил неподалеку от райвоенкомата, в одной половине деревянного двухквартирного домика с двумя одинаковыми крылечками.

Мне сказали, что он уже в райвоенкомате, и я нашел его там, где было еще по-утреннему пустынно и тихо, в том же маленьком кабинетике. Он встал мне навстречу, быстро закрыв и сунув в стол какую-то толстую тетрадь. По моему лицу, возбужденному ходьбой и этими рассуждениями, должно быть, он подумал, что дела мои удачны.

– Ну, как?

Я рассказал о своем визите, причем теперь мне все уже представлялось в юмористическом плане, я неожиданно для самого себя изобразил картинно, как важничал Егор Яковлевич, как он пил чай, как отказал мне. Я даже показал его жест, обращенный к бутылке: «Вот приходил человек…» Мы посмеялись вместе.

– Да. Ну что ж, – сказал майор, – придется мне самому вам печь сложить.

– То есть как!

– А так, из кирпича! – засмеялся он, показывая свои большие зубы и поднимая руку ко рту.

Я только теперь, между прочим, отметил про себя, что в этой его улыбке было что-то очень располагающее и отчасти трогательное. Она сразу преображала его озабоченное, невеселое лицо.

– Так вы лично, что ли, будете класть печку?

– Лично. Заместителю поручил бы, но он не сможет. – Майор не без удовольствия наблюдал мою растерянность. – Завтра суббота. Завтра и начнем с вечера.

Все получалось так просто и в то же время не совсем ловко: как это майору, моему в некотором смысле начальнику, подряжаться ко мне на печниковскую работу?

– Не доверяете? Вы же заходили ко мне на квартиру, видели печку? Моя. Хозяйка довольна.

– Нет, зачем же! Спасибо, конечно! Но тогда уж нужно относительно всего договориться.

– Насчет гонорара? – с веселой готовностью подсказал он. – Не беспокойтесь, сойдемся.

– А все-таки?

– А все-таки оставим этот разговор. Еще не хватало, чтоб райвоенком кладкой печей прирабатывал к основному окладу! Дойдись такое до начальства – хо-хо!

– А если дойдет, что вы печи кладете?

– Это пусть доходит. В этом мне никто не указ. Я, например, сам все это шью, – он обмахнул себя рукой по кителю и брюкам, – получаю отрезы и шью. И на детей все верхнее шью. И вам мог бы сшить…

На другой день под вечер он пришел ко мне со свертком под мышкой; там были старые летние солдатские штаны и гимнастерка, а также печниковский молоток, железный складной метр, моток проволоки, какие-то бечевки.

Он осмотрел, обошел печку и плиту, потом взял стул, сел лицом к голландке посреди комнаты и стал курить, глядя на нее.

– Да-а… – сказал он после некоторого размышления.

– Что?

– Ничего. Грязи тут у вас много будет.

– Это пожалуйста. Ивановна подмоет.

– А дрова у вас есть? – спросил он.

– Дрова? Есть. А зачем?

– А вот затопить.

– Это когда вы новую печку сложите?

– Нет, сперва эту попробуем затопить.

Мне показалось, что он шутит или ничего не помнит из того, как я ему расписывал эту печку.

– Да вы же только дыму наделаете. Неужели вы мне не верите?

– Верю, верю. А надо затопить. Где дрова?

Дрова нашлись в коридоре, среди них полуобгорелые поленья, побывавшие уже в этой печи.

Майор снял китель и с такой уверенностью приступил к делу, что я уже готов был предположить, что мы с Ивановной чего-то недоглядели и потому нас всякий раз постигала неудача. И вот он сейчас затопит печь, и она окажется нормальной. Это было бы очень хорошо, но тогда вся моя история с этой печью выглядела бы совершенно смешно и нелепо.

Я просто обрадовался, когда увидел, что печь у майора задымила так же, как она дымила у Ивановны, Федора и у меня.

– Нет, товарищ майор, – сказал я.

– Что нет?

– Не горит.

– Вот и хорошо! Это нам и надо! – засмеялся он. – Как не горит, почему не горит – вот что важно.

Подтопа прогорела; крупные дрова, не занявшись, только потемнели; дыму нашло, как обычно. Майор вышел на улицу посмотреть на трубу. Я тоже вышел. Было еще светло.

Сколько раз я, затопив печку, выбегал так на улицу, напряженно всматриваясь, не покажется ли дымок из трубы! Я еще с детства помню, что если очень всматриваться, хотя бы с целью узнать, ставят ли дома самовар, то над трубой начинается некоторое дрожание воздуха, вот-вот явится дымок, и так-таки нет его.

Майор вернулся в квартиру, захватил моток бечевки с навязанной на конце тяжелой гайкой и полез по приставной лестнице на крышу. Я следил, как он, встав у трубы, начал спускать гайку в трубу и водить ею там, то опуская глубоко, с рукой, то приподнимая. Это было точь-в-точь как таскают «кошкой» ведро, оставшееся в колодце.

В это время шедший по дороге высокий мужчина в куртке с рыжим меховым воротником и косыми карманами на груди остановился и, держась левой рукой за козырек фуражки, стал смотреть на крышу. В правой у него была легкая палочка. Когда майор, выбрав бечеву из трубы, спустился, человек подошел поближе, и я увидел, что это Егор Яковлевич. Он кивнул мне и, обращаясь к майору, спросил:

– Ну как?

– Черт ее знает! В трубе вроде ничего нет, а гореть не горит.

Можно было подумать, что они не только давно знают друг друга, но словно бы вместе были заняты этой незадачливой печкой. Мы вошли в квартиру, где еще было дымно, и майор с Егором Яковлевичем заговорили о печи. Они все время говорили *он*, имея в виду неизвестного мастера, клавшего печку.

– Морду ему набить, – с грустной убежденностью сказал майор.

Но старый печник примирительно возразил:

– Битьем тут не поможешь. Тут главное дело, что он не печник, а сапожник. Свести два дымохода – от плиты и от печки – это не его ума дело. – Говоря это, Егор Яковлевич водил по корпусу печи своей палочкой, как указкой, постукивая и точно ставя какие-то знаки. – Одно

слово – сапожник.

Это было сказано так же, как если бы мастерство сапожника сравнивалось с чем-нибудь неизмеримо более сложным, например, с искусством, как у Пушкина: «Картину раз высматривал сапожник…»

Печники закурили и еще долго обсуждали вопрос. Они вели себя как доктора после осмотра больного, не стесняясь присутствием близких его, понимающих лишь с пятого на десятое их терминологию, недомолвки, пожимания плечами и загадочные начертания в воздухе.

– Не знаешь дела – не берись, – заключил Егор Яковлевич, как мне показалось, не без намека на присутствующих.

Майор безобидчиво пояснил:

– Я что? Я по домашности и себе печку сложил, хотя какой же я мастер! А если человек в таком затруднении, – кивнул он на меня, – надо, думаю, как-нибудь помочь.

– Конечное дело, – сказал Егор Яковлевич, довольный скромностью майора. – Помочь тоже надо, только чтобы потом еще помощи не просить.

– Егор Яковлевич! – Я вдруг вновь почувствовал в себе прилив некоторой надежды. – Егор Яковлевич, право же! А?..

Майор как нельзя лучше поддержал меня:

– А я бы уж у вас, Егор Яковлевич, за глинотопа. Мне даже не без пользы при таком мастере поработать, ей-богу так! – Он ощерил свою крупнозубую улыбку, прикрывая ее рукой с дымящейся в ней папиросой.

Нет, все-таки простые, заурядные люди в конце концов безошибочно находят пути к сердцам людей необыкновенных с их, казалось бы, безнадежной неприступностью.

– Ну что мне с вами делать? Надо помочь, – сказал мастер, и это «надо помочь» в точности походило на слова обычных резолюций наших начальников из района и области: «Надо помочь в части» того-то и того-то.

Егор Яковлевич сел на стул, как до него садился майор, перед печкой и, всматриваясь опять в нее, забывчиво бормотал себе под нос:

– Надо помочь, надо будет помочь… – И, взмахнув палочкой сперва в сторону майора, потом к печи, заговорил с какой-то нарочитой напевностью: – Так вот, друг милый, к завтраму ты мне эту дыру разберешь до кирпичика, и чтобы бою никакого, кирпичик к кирпичику сложишь. Понял?

Я отметил, что он говорил майору «ты», уже считая его в своем подчинении, хотя не мог не усмотреть висевший на стуле китель с майорскими погонами, и в этом он тоже походил на всякое наше начальство.

Майор сказал, что он сейчас же полезет на крышу; я, конечно, выразил готовность ему помогать, но Егор Яковлевич заявил, что на крышу лезть незачем.

– Труба ни при чем, нам и эта годится, только ее надо подвесить.

Этого не знал не только я, но и майор, как подвешивать трубы. Тогда Егор Яковлевич взял свою палочку за оба конца и разъяснил задачу с примерной популярностью, обращаясь опять-таки к одному майору:

– Возьмешь два таких брусочка, конечно, понадежнее, не меньше двух вершков. С чердака у трубы подобьешь плечики и вот так под плечики подведешь… Не только трубу, а и всю тебе печку вывесить можно. Как же ты разобрал бы печку в нижнем этаже, если во втором на ней другая? Все ломать из-за одной? Не-ет, брат…

И уже по этому первому практическому указанию я увидел, что старик не без оснований усвоил себе начальническую роль. Я так и не успел завести речь об оплате, как он одним кивком простился с нами и вышел, порядочно наследив на полу своими валенками в самодельных

галошах из автомобильной камеры.

К раннему вечеру мы с майором разобрали печку, оставив нетронутой плиту и подвесив трубу указанным способом. Я лично опасался, как бы с этим подвешиванием не случилось беды, но майор справился с задачей так уверенно, как будто ему это было уже не впервые. Вообще он, как я увидел, был из тех хороших мужчин, чаще всего военных, что умеют все и ко всякому делу приступают безбоязненно, исходя из того общеизвестного положения, что не боги горшки обжигают. Бруски, которые нам были нужны, он сделал из обрезка доски-шестидесятимиллиметровки, удачно расколов ее и выровняв топором, как фуганком. Печные дверцы, вьюшки, задвижки он с привычной сноровкой освободил из-под кирпичей и выпутал из концов проволоки, крепившей их в гнездах. Работать с ним было легко и приятно: он не угнетал неумелого и неловкого помощника своим превосходством, не раздражался и не подсмеивался, а лишь пошучивал изредка весело и необидно. Мы заготовили ящик для глины, глину, песок, чтобы все было под рукой, и, покамест умывались и переодевались, на примусе у меня закипел чайник.

– Чайку хорошо, – просто согласился майор, и мы с ним посидели в моей кухне-передней, где было почище, покурили, разговорились.

Майор посмотрел мои книги, перенесенные сюда, чтобы им не так пылиться, и, показав на растрепанный однотомник Некрасова, заметил, что его нужно переплести. И когда я сказал, что переплетчика здесь уж наверняка не найти, он вызвался переплести книгу и даже меня обучить этому делу. Конечно, без настоящего обреза под прессом не то, но все же книга будет сохраннее. Книги он любил с той нежной уважительностью и бережливостью, какая бывает только у читателей из самых простых людей. Жалкую мою библиотеку он перебрал всю, разглядывая томик за томиком, задерживаясь больше на поэзии. Я сказал, что он, наверно, любитель стихов, а это не так часто встречается среди, так сказать, неспециалистов. Он улыбнулся застенчиво и в то же время с отвагой, подчеркнутой шутливой заносчивостью тона.

– Чего же вы хотите, сам пишу стихи. И даже печатаю. Да!

– Очень хорошо, – сказал я и, не зная, что еще сказать, спросил: – Простите, а вы под псевдонимом выступаете, наверно! Я вашей фамилии что-то не встречал в печати.

– Нет, печатаю под своей фамилией, только не так часто. И потом это окружная газета, ну, еще и журнал «Советский воин», их тут вы не увидите.

С этими словами он как-то погрустнел, что заставило меня проявить больший интерес к его стихам. Я попросил его как-нибудь показать их мне. Он тотчас согласился и стал читать по памяти.

Здесь я хочу сделать оговорку, что не называю фамилии майора именно потому, что он печатается и, значит, кем-нибудь может быть установлено, что он и герой моего рассказа – одно лицо. А этого я решительно не хотел бы допустить, так как описываю его во всех натуральных подробностях. Я пробовал назвать его в рассказе вымышленным именем, но это как-то претило и не шло к нему, и я оставляю его просто майором.

Майор прочел несколько стихотворений, я их не помню: они были очень похожи на многое множество появляющихся в газетах и журналах стихов о целинных землях, солдатской славе, борьбе за мир, гидростройках, плотинах, девушках и маленьких детях – будущих сверстниках коммунизма – и, конечно, стихов о стихах. И они были не просто похожи невольной похожестью подражания, которого автор хотел бы избежать, но казалось, что его усилия как бы к тому только и были направлены, чтобы все у него было как у людей, как полагается быть в стихах. Об этом я ему не мог сказать: уж очень он мне был по душе своей добротой, товарищеской участливостью, умелостью на все руки и не деланной, а подлинной скромностью. Я сказал что-то насчет какой-то неудачной рифмы, замечание было совсем пустяковым.

– Нет, – возразил он тихо, – рифма, что же… Рифма у меня есть… – И, поправляя стопку книг, выложенных на краю стола, повторил раздумчиво: – Рифма-то у меня есть… – В этом возражении была грустная недосказанность: он сам, может быть, что-то знал о своих стихах такое, чего я не коснулся и, как ему казалось, не понимаю. И вдруг он заговорил, точно оправдываясь и упреждая чью-то оценку и выводы относительно его стихов: – Вы знаете, я не настолько глуп, чтобы считать это уже вполне чем-то таким заслуживающим… Но я не боюсь труда, я упрям, как бык, я могу не спать, не есть и не пить, если мне нужно чего добиться… Я начал писать на войне, то есть не когда был в роте, а когда бывал ранен: как ранение, так и новая тетрадка стихов, как ранение, так и творческий отпуск. – Он засмеялся сам своей шутке и продолжал: – А мне везло: меня ранило четыре раза – и все не то чтобы легко, но и не так тяжело, как раз в меру, месяца на полтора в тыл. Попишешь, почитаешь вволю – и опять на фронт. Так и везло. Ну, и теперь у меня должность такая, что выходной день у меня всегда мой. А вечер? А ночь? Тоже мои. И, откровенно сказать, я без этого не могу, я за что взялся, должен постигнуть. Я не отступлюсь, покамест не постигну. Вроде этой печки, знаете. Вы думаете, я когда-нибудь учился на печника, курсы проходил? Но мне нужно было сложить печку, нанимать некого, да и нанимать мне, сказать откровенно, не по карману: семейка, славу богу, сам-семь. Так я что сделал? Я дважды складывал ее: первый раз сложил начерно, протопил, сообразил, в чем секрет, а потом разобрал, как вот мы с вами эту, – правда, та еще и не просохла, – и уже набело вывел. Топится. Может, Егор Яковлевич найдет что-нибудь, но топится, работает. – И он опять засмеялся, но как-то надвое: тут была и некоторая похвальба своей удалью, но и готовность признать, что все это только забавно.

В разговоре выяснилось, что были мы одно время на соседних фронтах, и этот весьма условный признак соседства в прошлом еще больше сблизил нас, вроде того, как сближает людей столь же условный признак отдаленного землячества. Я вышел проводить его немного, потом долго еще не мог уснуть в своей холодной и пыльной комнате с разобранной печкой. Мне приходило на мысль, что этот милый майор, занятый службой и обремененный семьей, пожалуй, не должен бы изнурять себя еще и стихами. Мне было ясно, что стихи эти не были, в сущности, выражением глубокой внутренней необходимости высказывания именно в этом роде речи. О войне он писал так, что для этого вовсе не нужно было провести четыре года на фронте и быть четырежды раненным; в стихах о некоем социалистическом ребенке полностью отсутствовал автор – отец пятерых детей; из стихов об освоении целины только и запомнилось мне, что «целина – потрясена»; наконец, и в стихах о стихах было только повторение той истины, что стихи нужны в бою и в труде.

Может быть, он и писал все это только потому, что знал за собой способность освоить всякое новое дело, не только без специальной подготовки, но и без особого к тому влечения души. Но нет, скорее всего позыв к авторству развился у него уже очень сильно; можно было не сомневаться, что на этом пути его ждет еще немало разочарований и горечи…

Проснулся я от стука в окно над моей головой.

Стучали палкой, негромко, но требовательно. Это был Егор Яковлевич, хотя еще стояла настоящая темень. Я включил свет и открыл ему. Он был в той же куртке с воротником и с той же палочкой-указкой. Никакого инструмента и спецодежды с ним не было. Покамест я одевался и прибирался, он курил, кашляя, прочищал нос и плевался, разглядывая все, что было приготовлено для работы.

– Так, значит. Отдыхаем! Так, – говорил он в перерывах кашля и сморкания.

Было очевидно, что он очень доволен, застав меня в постели и придя раньше майора, за которым я уже хотел отправиться. Но майор опоздал против старика не более как минут на десять.

– Выходной же, – с улыбкой оправдывался он, развертывая свой сверток с рабочим костюмом.

– У кого выходной, а у нас с вами рабочий день, – холодно отозвался старик, назвав майора на этот раз на «вы», покамест он был еще в кителе с погонами. Но, может быть, эти слова относились и ко мне заодно с майором. – А вот что глину не замочили с вечера – это напрасно: больше месить придется. Ну, и теплой водички не мешало бы. Не из нежности рук, а чтобы раствор был вязче. – Раствор – так он и называл все время глину, размешанную с песком, приравнивая ее к цементу. Кряхтя, он присел на корточках перед фундаментом разрушенной печи, прикинул своей палочкой и сказал: – Четыре на четыре, больше не надо.

– Егор Яковлевич. – Майор протягивал ему свой складной метр.

Старик взмахнул палочкой.

– У меня вот тут все меры, какие нам нужно. А не веришь – можешь перемерить.

Но перемеривать не стали. Речь шла просто о том, что основание печи будет четыре на четыре кирпича. Егор Яковлевич переложил трость в левую руку, а правой быстро, один за одним, выложил кирпичи насухую, без глины, по намеченному квадрату, встал и показал на них палочкой:

– Вот так будешь вести. – Потом взял из ящика комок замешенной нами с майором глины, размял в руке, поморщился и бросил обратно. – Надо еще чуть песочку. Куда, куда столько! Сказано – чуть. Вот и довольно. Размешай хорошенько.

Мы приступили к работе, и с самого начала для каждого определилось его место. Я замешивал глину, подносил и подавал кирпичи, майор вел кладку, а Егор Яковлевич, – я не могу подыскать более точных слов, – возглавлял все дело и руководил им, по-прежнему действуя палочкой, как указкой, присаживаясь, вставая, покуривая и покашливая. Порой он как бы и отвлекался от печи, высказываясь подробно и назидательно о пользе раннего вставания, о необходимости строжайшего воздержания от вина перед работой, о своем кашле, который у него особенно зол бывает с ночи, о качествах кирпича различного обжига и многих других материях. Но я видел, что за работой он при этом следит так, что ни один кирпич не лег на место без его зоркого, контролирующего глаза, а порой и палочки, как бы невзначай легонько стукнувшей по нему. Егор Яковлевич был в своей теплой куртке, а мы с майором одеты по-рабочему, в одних стареньких гимнастерках, уже разогрелись и вытирали лбы и носы об рукав у предплечья – руки у нас были перемазаны; Егор Яковлевич видел это и не преминул использовать для профессионального назидания.

– Вздохни, друг, закури. – Он с коварным радушием протянул майору свою пачку «Севера». Тот выпрямился и беспомощно развел руки. – Ага! Нечем взять? Должен руки сперва помыть? Так? А это значит, что ты еще не печник, а верно, что глинотоп. – Он сунул майору в рот папироску, дал прикурить и продолжал: – Зачем у меня должны быть обе руки в растворе? Нет, только одна, правая, а левая у меня должна быть всухе́. Смотри. – Он отстранил палочкой майора, положил ее в сторону и только слегка, движением рук вверх, осадив рукава куртки, взял левой рукой очередной кирпич, а правую обмакнул в ведро с водой и захватил ею небольшой шлепок глины. – Вот! Левой кладу, правой подмазываю и зачищаю. Понял? – Он быстро положил ряд кирпичей, и хотя немного запыхался, но очевидно было, что на это дело он затрачивал гораздо меньше усилий, чем майор. – Левая всегда всухе́! И тут не только то, что я свободно могу закурить, и утереться, и нос оправить, но и в работе больше чистоты. Нужен тебе, например, гвоздь – берешь гвоздь, очки или что другое. Ну, расстегнуть что-нибудь, застегнуть – пожалуйста. – Он показал, как он может все это сделать левой рукой. – А ты стой, как чучело в огороде.

Мастер наконец улыбнулся, очень довольный своим уроком и потому позволяя свои

последние слова считать шуткой. Я очень был рад за майора: он не только не обиделся, но с восхищенной улыбкой следил за ходом изложения и показа, заслоняя рот рукой издали, чтобы не замазаться.

Он попробовал было действовать, как Егор Яковлевич, но вскоре же ему почему-то понадобилось переложить кирпич из левой руки в правую, и он сдался.

– Нет, Егор Яковлевич, разрешите уж мне так, как могу.

– Давай, давай, – согласился старик. – Это не вдруг. А другой и мастер ничего вроде, а всю жизнь так вот, не хуже тебя…

Я уверен, что он был бы огорчен и недоволен, если бы майору удалось сразу же перенять его стиль. Пожалуй, что и майор понимал это и не стал состязаться. Затем Егор Яковлевич, видимо разохотившись учить уму-разуму, поставил два кирпича на ребро, плотно, один к одному, и, занеся над ними руку, как бы собираясь их взять, предложил:

– Вот так, подними одной рукой.

Но майор рассмеялся и погрозил Егору Яковлевичу пальцем.

– Нет уж, это фокус старый, это я могу.

– Можешь? Ну, то-то же! А другой бьется-бьется – не может. Случалось, на пол-литра об заклад бились.

Фокус был в том, как мне показалось, что нужно было незаметно пропустить между кирпичами указательный палец, и тогда оба кирпича можно было легко поднять разом и переставить с места на место.

Упоминание о поллитровке заставило меня подумать об организации завтрака, тем более что уже совсем рассвело, было около девяти часов. Я сказал, что мне нужно ненадолго отлучиться, и отправился на станцию, где закупил в ларьке хлеба, колбасы, консервов и водки. На обратном пути я зашел еще к Ивановне и получил от нее целую миску соленых огурцов – от них на свежем воздухе шел резкий и вкусный запах чеснока и укропа. Я был рад пройтись, распрямиться: у меня уже болела спина от работы, и я предполагал, что и майор отдохнет в мое отсутствие. Но, когда возвратился, я увидел, что работа шла без передышки, кладка уже выросла в уровень с плитой, уже были ввязаны дверцы и Егор Яковлевич был без куртки, в вязаной фуфайке, выкладывал первый полукруг сводов, а майор был вместо меня на подаче. Они работали быстро и ладно, майор едва поспевал за стариком, и притом они спорили.

– Талант должен быть у человека один, – говорил Егор Яковлевич, управляясь с делом так, что левая рука у него было «всухе́».

Туловище его, обтянутое фуфайкой, казалось чуть ли не тщедушным при крупных и длинных, с тяжелыми кистями руках, похожих на рачьи клешни. Спор у них, должно быть, зашел с того, о чем речь была еще при мне, – с мастерства и стиля в работе, – но он уже выходил далеко за первоначальные рамки.

– Талант должен быть один. А на что нет таланта, за то не берись. Не порти. Вот что я всегда говорю, и ты это положи себе на память.

– Но почему же один? – возражал майор спокойно и с некоторым превосходством. – А Ренессанс – эпоха Возрождения? Леонардо да Винчи?

Егор Яковлевич, очевидно, слышал эти слова впервые в жизни и сердился, что не знает их, но уступить не хотел.

– Этого мы с тобой не знаем, это нам неизвестно, что там когда было.

– Как так неизвестно, Егор Яковлевич! – изумился майор, оглядываясь на меня. – Всем известно, что Леонардо да Винчи был художником, скульптором, изобретателем и писателем. Вот спросите.

Я вынужден был подтвердить, что действительно так оно и было.

– Ну, было, было, – озлился припертый к стене старик, – но было когда? До царя Гороха… Когда всяк сам себе и жнец, и швец, и в дуду игрец.

– Это вы уже в мой огород?

– Нет, я вообще. Другое развитие развивается, другая техника – все, брат, другое.

Я прямо-таки подивился историчности взглядов Егора Яковлевича и, высказав это вслух, прервал спор приглашением закусить.

За столом Егор Яковлевич наотрез отказался выпить.

– Это потом, когда затопим… Ты выпей, – обратился он к майору, – тебе ничего.

– Ну, а вы, может, все-таки?..

– А я все-таки не могу: на работе. За меня думать некому.

Майор не настаивал и не обиделся.

– Ну, так я и выпью стопочку. Ваше здоровье!

Мы выпили с майором. Разговор у нас с ним завязался опять о литературе. Коснулись Маяковского, о котором майор говорил с обожанием, то и дело вычитывал из него стихи наизусть с таким увлечением, что даже забывал заслонять рукой свою улыбку. А я думал о том, почему он при такой любви к Маяковскому сам пишет совсем по-другому – ровненько, опрятно, подражая всем на свете, но только не своему кумиру. Но я не спросил его об этом, а сказал только, что ознакомление школьников с поэзией Маяковского часто наталкивается на такие слова и обороты, которые идут вразрез с законами изучаемой ими родной речи. Майор возражал горячо и почти уже раздраженно, называя меня, хоть и в шутку, консерватором и догматиком.

Егор Яковлевич вяло ел, прихлебывая чай, курил и молчал отчужденно и горделиво, пережидая нашу беседу. «Если я этого ничего не слыхал и не знаю, – как бы говорил он всем своим видом, сопением и кряхтением, – так только потому, что все это мне без надобности и неинтересно, наверняка пустяки какие-нибудь». Но когда мы упомянули Пушкина, он сказал:

– Пушкин – великий русский поэт. – И сказал так, как будто это он один только знает, дошел до этого своим умом и говорит первым на всем белом свете. – Великий поэт! Эх! – Он прищурился и тоже прочел с подчеркнутым выражением умиления и растроганности:

– Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?

– Это же Лермонтов, – засмеялся майор.

Но старик только покосился в его сторону и продолжал:

Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!

– Это же Лермонтова «Бородино»! – с веселым возмущением перебивал его майор и толкал меня локтем.

Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

Последнее слово Егор Яковлевич произнес громко, раздельно и даже ткнул пальцем в сторону майора: я же, мол, про то самое и говорю. И решительно не давал перебить себя:

– Эх! А «Полтавский бой»? «Горит восток зарею новой…»

– Вот это Пушкин, верно, – не унимался майор. – Только это поэма целая – «Полтава». А

так это Пушкин.

– А я говорю, что не Пушкин? Кто же еще так мог написать? Может, Маяковский твой? Нет, брат!

– Маяковского тоже нет в живых. Что бы он еще написал, неизвестно.

– Хе! – Старик с величайшим недоверием махнул своей тяжелой рукой.

– Ну и корень вы, Егор Яковлевич! – Майор озабоченно покачал головой и сдвинул морщины на лбу под самые корни густого черного бобрика. – Ох, корень!

Старику, видимо, было даже приятно слышать, что он корень, но он тотчас дал понять, что и это ему не в новинку.

– Слава богу, восьмой десяток распечатал. Поживите с мое, тогда будете говорить. – Это уже относилось не к одному майору, но и ко мне, и ко всему нашему поколению.

Но майор и на этот раз не отказал себе хоть в малом торжестве своего превосходства:

– Корень, корень! А «Бородино»-то все-таки написал Лермонтов.

Егор Яковлевич ничего не сказал и, поблагодарив, встал из-за стола заметно подавленный. Я думаю, что он сам смекнул свой промах с «Бородином», но признать это было для него нож острый, как и то, что он не слыхал про Леонардо да Винчи. Мне было его жаль, как всегда жаль старого человека, если он вынужден терпеть поражение от тех, у кого преимущества молодости, знания и памяти.

После завтрака работа пошла еще веселее. Печники оба стали на кладку: Егор Яковлевич – со стороны кухни, майор – со стороны комнаты, а я – на свое место. Но работа шла молча, если не считать односложных замечаний, относящихся только к делу. Может быть, это было следствием их недавних разногласий, в которых верх явно был за майором, но, может быть, сама кладка печи все более усложнялась: пошли разные «обороты», душники, вьюшки, подключение плиты к общему дымоходу, и это требовало особой сосредоточенности.

Я не пытался вывести мастера из этого молчания, потому что мне теперь, на подаче для двоих, было впору только поворачиваться. А когда они делали перекур, я спешил заготовить, пододвинуть все, что нужно, так, чтобы легче управляться. Корпус новой печи уже поднимался к дыре в потолке, над которой была подвешена старая труба, и он, будучи меньше в объеме, чем прежний, выглядел как-то непривычно и даже щеголевато. Обогревательные стенки печи и зеркало были выложены в четверть кирпича, то есть в один кирпич, поставленный на ребро. Когда Егор Яковлевич начал делать из кирпичей выпуск под потолок наподобие карниза, печь стала еще красивее, я уже мысленно видел ее побеленной: она будет прямо-таки украшением комнаты, когда все приберется и с приездом Лели переставится по-новому. Только бы она топилась как следует.

Для работы вверху нужно было подмоститься, пошли в ход мои табуретки, а затем и стол, который мы кое-как накрыли газетами. Теперь там, вверху, работал уже одни Егор Яковлевич, и он был королем положения.

Когда ему понадобилось для карниза несколько кирпичей с выколотой четвертью, то есть с ровно выбитым углом, он велел это сделать майору. Майор испортил одну, другую кирпичину, за третью взялся, уже покраснев и надувшись, но и ту развалил на три части. Я ожидал нетерпения и язвительных замечаний со стороны Егора Яковлевича, но он, казалось, отнесся даже сочувственно к неудачам ассистента:

– Кирпич дермовый. Разве это кирпич? Дай-ка сюда…

Он ловко подхватил кирпич левой рукой, которая до сих пор у него так и была «всухе́», подбросил его, укладывая на ладони, и, легонько, точно яйцом об яйцо, тюкнув по нему молотком, выколол то, что надо. Так же у него получилось и с другим, и с третьим, и со всеми кирпичами, только иные он обкалывал не с одного, а с двух и больше осторожных ударов.

– Да-а! – сказал майор. – Вот это да! Ну, черт!

Но старый мастер желал еще быть и великодушным – он отнес завидную лихость своих ударов за счет неодинакового качества кирпичей.

– Попадается, что и ничего. – Однако не удержался от хитрой улыбки. – И, гляди, подряд сколько попалось…

Мы с майором расхохотались, посмеялся и сам Егор Яковлевич, и я увидел, что он был с лихвой удовлетворен за свое поражение в другой области. Мы вдвоем обслуживали его и просто любовались, как он кирпич в кирпич подводил кладку под края старой трубы, как потом были выбиты из-под ее плечиков бруски – и ничего ужасного не произошло, и все было как по шнуру, хотя Егор Яковлевич ни разу и за правило не взялся.

Сумерки уже притемнили комнату, когда Егор Яковлевич, кряхтя, слез со своих подмостков, и наступил торжественный момент опробования новой печи. Я хотел было включить свет, но Егор Яковлевич запротестовал:

– Ни к чему. Огня не увидим, что ли?..

Он опустился перед печью, но не на корточки, а на колени, и сел на задники своих огромных валенок, как сидят обыкновенно мужики в санях, возле костров или вокруг общего котла на земле. Выложив на сырой еще решетке щепочки и легкие чурочки, он вытер спичку, но не поднес тотчас к подтопе, а зажег клок газеты и сунул его в маленькую дверцу поддувала внизу и только потом сгоревшую до самых его ногтей и загнувшуюся крючком спичку ткнул под мелкие, курчавые стружки. Газета быстро сгорела в поддувале, а в печи костерок разгорался медленно, слабо, – я боялся дышать, глядя на него, – но разгорался. В полном молчании мы все трое смотрели на него. Вот он пошел и пошел веселее, охватывая уже и щепочки покрупнее, – да, поначалу это было так у меня и в старой печке, а вот что дальше будет? Егор Яковлевич подкладывал дровишки, располагая их по методу Ивановны, огонь цеплялся за них все увереннее и живее, и дальше – больше, печь запылала ярко и весело, и это было особенно красиво и приятно в сумерках, заполнявших комнату. Егор Яковлевич тяжело поднялся с колен.

– Ну, с новой печкой вас! – сказал он и стал в рабочем ведре мыть руки.

Так вот почему он не дал мне включить свет: так огонь в печи был виднее, красивее. Егор Яковлевич был поэт своего дела.

Когда мы с майором умылись и переоделись, я не без тревоги приступил наконец к вопросу о том, какую оплату Егор Яковлевич желал бы получить. «Моя оплата известная», – помнил я его слова и был готов на все, но меня тревожило то, что я не знал, хватит ли у меня наличных денег для расчета на месте. Печка горела отлично, уже были сунуты крупные дрова, и они занялись, и все было так хорошо, что я забыл выбежать и посмотреть, идет ли дым из трубы: идет, раз печка не дымит.

– Ну, что об этом толковать, – как-то отмахнулся Егор Яковлевич от вопроса, – что об этом толковать…

– Нет, а все же, Егор Яковлевич, я вас очень прошу сказать: сколько вы должны получить?

– Ну, сколько ему, столько и мне, – опять же не то всерьез, не то так просто сказал он, показывая на майора. – Вместе работали. Да и вас еще надо в долю: помогали.

– Егор Яковлевич, – вмешался майор, – тут у нас другие совсем отношения, другие счеты, мне ничего не полагается. Я сказал наперед, что ничего не возьму, поскольку не специалист…

– А я ничего не возьму, поскольку специалист. Понятно? Есть о чем толковать! Давайте-ка лучше по случаю запуска печи… Теперь уж и я не откажусь…

Я попытался соврать, что, мол, оплата эта, в сущности, для меня ничуть не обременительна, что бóльшую часть суммы заплатит школа, но тут Егор Яковлевич прервал меня строго и обидчиво:

– Вот это вы уже совсем зря говорите, чтобы я еще со своей школы деньги взял… Не настолько я бедный, слава богу, и этого никогда не позволю…

Может быть, эта обидчивость у него явилась из досады, что майор и в этом вопросе упредил его, отказавшись от денег заранее, но, так или иначе, разговор этот мне пришлось прекратить.

Майор все это слышал и, когда мы сели за стол, уставился на Егора Яковлевича каким-то странным – веселым и вместе смущенным – взглядом, посмотрел-посмотрел и вдруг спросил:

– Егор Яковлевич, ты на меня не сердит за что-нибудь? – Вопрос был необычным уже по одному тому, что майор обратился к старику на «ты». – Ну, может быть, я как-нибудь обидел тебя или что?

– Нет, почему же так? – удивился тот и, точно впервые видя его, в свою очередь осмотрел майора в его кителе с погонами и трехэтажной колодкой орденов и медалей.

– Чем вы меня могли обидеть? Работали вместе, все хорошо, ссориться нам с вами незачем вроде…

Теперь Егор Яковлевич говорил майору «вы»: по-видимому, он считал, что тот уже не находится под его началом, как это было во время работы.

– Ну ладно. Хороший ты человек, Егор Яковлевич, не говоря уже, что мастер. Давай выпьем с тобой, будь здоров!

– Будьте здоровы!

Они чокнулись, точно между ними и впрямь что-то было и наступило примирение и взаимная радость.

Потом постучалась Ивановна – она усмотрела дым из моей трубы, – следом приволокся и сам Матвеев; они тоже выпили с нами, хвалили печку и хвалили в глаза Егора Яковлевича. Он выпил три стопки, раскраснелся, расхвастался, что он клал, бывало, и может сложить не только простую русскую печку или голландку, но и шведскую, и круглую – «бурак», – и камин, и печку с паровым отоплением, и что никто другой так, как он, не сделает, потому что у него талант, а талант – дело не частое. Пожалуй, он маленько стал нехорош, громок, но, когда я хотел налить ему еще, он решительно накрыл рукой стопку.

– Норма! – И стал прощаться.

Я вызвался было проводить его – не только из-за его заметного охмеления, но и надеясь все же сговориться с ним по дороге о какой ни есть оплате. Но он переменно поблагодарил за угощение, нашел свою палочку и раскланялся.

– Провожать меня? Я не девка…

– Корень все-таки! – сказал вслед ему майор.

И мы еще посидели, поговорили. Ивановна принесла новых дров для завтрашней топки и стала прибирать в комнате. Печка подсохла, даже немного обогрела комнату, и на душе у меня было так хорошо, как будто во всей дальнейшей жизни мне уже не предстояло никаких неприятностей и затруднений.

1953–1958

Librs.net

Данная книга была скачана с сайта Librs.net.